ИСТОРИЯ ОДНОГО НЕМЦА

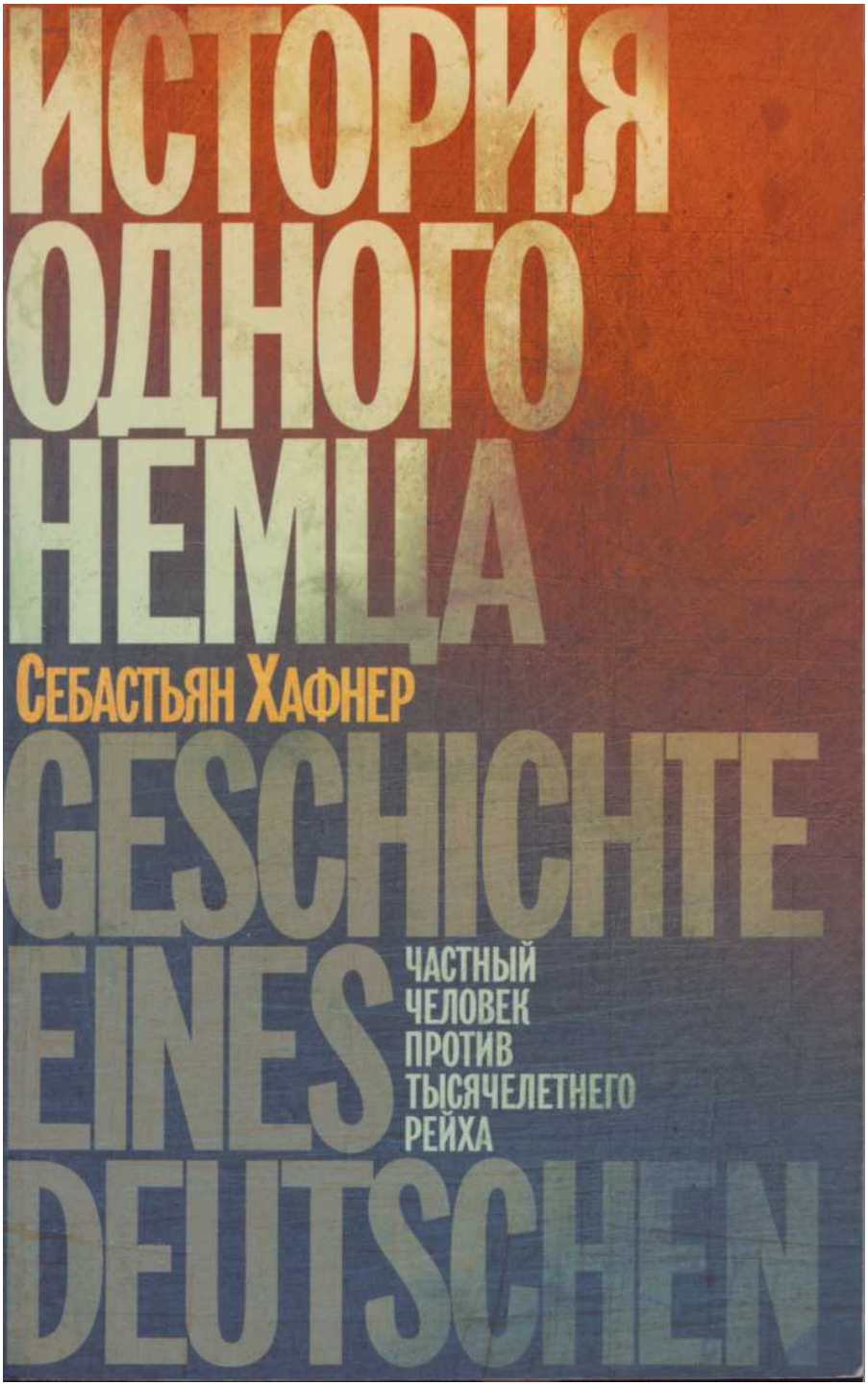
Себастьян Хафнер

GESCHICHTE EINES DEUTSCHEN

Частный человек против тысячелетнего рейха

SHOUT
SHARE
IT

-
- ПРОЛОГ
- РЕВОЛЮЦИЯ
- ПРОЩАНИЕ
- Хафнер и его книга
- ИСТОРИЯ ОДНОГО НЕМЦА
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25



Себастьян Хафнер
Sebastian haffner
GESCHICHTE

EINES
DEUTSCHEN
Deutsche Verlags-Anstalt
Stuttgart & Mflnchen 2000
СЕБАСТЬЯН ХАФНЕР
ИСТОРИЯ
одного
НЕМЦА
ЧАСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ Tˆ1СЯЧЕЛЕТНЕГО РЕЙХА
Перевод с немецкого Никиты Елисеева под редакцией Галины Снежинской
Комментарии и послесловие Никиты Елисеева
Издательство Ивана Лимбаха
Санкт-Петербург
УДК 821.112.2 «19»-94 + 94 (430) «1914/1933» = 161.1 = 03.112.2 ББК 63.3 (4Гем) 53 + 63.3 (4Гем) 61-49-021*83.3
X 26

GOETHE
INSTITUT
Перевод этой книги осуществлен при поддержке Гёте-Института, основанного Министерством иностранных дел Германии

The translation of this work was supported by a grant from the Goethe-Institut which is funded by the German Ministry of Foreign Affairs

Хафнер Себастьян. История одного немца: Частный X 26 человек против тысячелетнего рейха / Пер. с нем. Никиты Елисеева под редакцией Галины Снежинской. —

СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2016. — 448 с. ISBN 978-5-89059-256-9

Воспоминания немецкого журналиста и историка Себастьяна Хафнера (1907-1999), написанные в эмиграции в 1939 году, охватывают период с 1914 по 1933 год. Автор пытается ответить на вопрос, как события этого десятилетия подготовили немцев к принятию власти нацистов, как создавалась и удобрялась многослойная социально-политическая почва, на которой был возведен третий рейх.

Перевод выполнен по изданию:

Haffher S. Geschichte eines Deutschen. Die Erinnerungen

1914-1933. Stuttgart/Munchen: Deutsche Verlags-Anstalt, 2000

© 2000 by Sarah Haffner und Oliver Pretzel © 2000 by Deutsche Verlags-Anstalt

Stuttgart/Miuichen, a division of Verlagsgruppe Random House GmbH, Miinchen, Germany

© Н. Л. Елисеев, перевод, комментарии, послесловие, 2016

© Н. А. Теплов, дизайн обложки, 2016 © Издательство Ивана Лимбаха, 2016

Deutschland ist nichts, aber jeder einzelne Deutsche ist viel[1] \

Гёте (1808)

Zunachst das Wichtigste: was tun und treiben Sie eigentlich in dieser groBen Zeit?

Ich sage: groB: denn alle Zeiten scheinen mir groB, wo sich der Einzelne zuletzt, auf gar nichts stehend als auf seinen Beinen, dazu vom Zehengeist halbtotgehetzt, besinnen muB, ob nolens oder volens, auf nichts Geringeres als eben SICH!

Die Pause eines bloBen Atemholens genugt bisweilen — Sie verstehen mich[2]2.

Петер Ган (1935)

ПРОЛОГ

1

История, которую я собираюсь рассказать здесь, — история своеобразной дуэли.

Это дуэль между двумя совсем не равными противниками: невероятно мощным, безжалостным государством и маленьким, безымянным, неизвестным частным человеком. Она разыгрывается не на поле брани, каким принято считать политику; частный человек отнюдь не политик, тем более не заговорщик и не «враг государства». Частный человек все время в обороне. Он ничего не хочет, кроме как сберечь то, что он считает своей личностью, своей собственной личной жизнью и своей личной честью. Все это постоянно подвергается невообразимо брутальным, хотя и довольно неуклюжим атакам со стороны государства, в котором частного человека угораздило жить и с которым ему поэтому приходится иметь дело.

Жесточайшими угрозами государство добивается от частного человека, чтобы он предал своих друзей, покинул свою любимую, отказался от своих убеждений и принял бы другие, предписанные сверху; чтобы здоровался не так, как он привык, ел бы и пил не то, что ему нравится; посвящал бы свой досуг занятиям, которые ему отвратительны; позволял бы использовать себя, свою личность в авантюрах, которые он не приемлет; наконец, чтобы он отринул свое прошлое и свое «Я» и при всем этом выказывал бы неуемный восторг и бесконечную благодарность.

Ничего этого частный человек не хочет. Он совсем не готов к нападению, жертвой которого он оказался. Он вовсе не прирожденный герой и уж тем более не прирожденный мученик. Он обыкновенный человек со многими слабостями, да к тому ж еще продукт опасной эпохи — но всего того, что навязывает ему государство, он не хочет. Вот поэтому он решается на дуэль — без какого бы то ни было воодушевления, скорее уж недоуменно пожимая плечами, но с тайной решимостью не сдаваться. Само собой, он много слабее своего противника, зато увертливей. Мы увидим, как он совершает отвлекающие маневры, уклоняется, внезапно делает выпад, как он увиливает и, в шаге от гибели, избегает тяжелых ударов. Надо заметить: самого себя он держит именно что за обычного человека без каких-либо героических или мученических черт. И все же в конце концов он бросает борьбу или, если угодно, переносит ее в другую плоскость.

Государство — это германский рейх, частный человек—я. Схватка между нами, наверное, заинтересует зрителей, ведь

любое состязание интересно. (Я надеюсь, что заинтересует.) Но я рассказываю все это не только для развлечения. Другое, более важное намерение лежит у меня на сердце.

Моя личная дуэль с третьим рейхом далеко не единичное явление. Тысячи и сотни тысяч таких дуэлей, в которых частный человек пытается защитить свое «Я» и личную честь от атак сверхмощного, враждебного человеку государства, вот уже шесть лет разыгрываются в Германии — каждая в абсолютной изоляции, в полной безвестности. Некоторые из дуэлянтов — они героичнее, жертвеннее меня — не отступили и оказались в концлагерях:, в пыточных подвалах; им в будущем, несомненно, поставят памятники. Прочие, те, кто слабее меня, сдались много раньше, чем я уехал; сейчас они или недовольно ворчащие резервисты штурмовых отрядов, или уполномоченные нацистской партии в жилых кварталах. Мой случай как раз усредненный вариант между двумя этими крайностями. На нем хорошо видно, каковы шансы у человека и человечности в нынешней Германии.

Следует признать, что они довольно безнадежны. Но они не были бы так безнадежны, если бы этого захотел окружающий Германию мир. Я верю, что окружающий мир заинтересован в том, чтобы они были менее безнадежны. Будь у человека и человечности в Германии хоть сколько-нибудь шансов, удалось бы если не избежать войны (время уже упущено), то хотя бы задержать ее начало на несколько лет. Ибо немцы доброй воли, пытающиеся защитить свою личную свободу и свой частный, приватный мир, защищают, не подозревая о том, еще и нечто большее: мир и свободу всего мира.

Потому-то, мне кажется, следует привлечь внимание мира к этим событиям в не известной никому Германии.

В этой книге я хочу только рассказывать, а не проповедовать какую бы то ни было мораль. Однако здесь все же есть мораль, она — нема, словно «еще одна, более значительная тема», пронизывающая все «Энигма-вариации» Элгара[3]. Я не имел бы ничего против, если бы все мои приключения были забыты спустя некоторое время после чтения моей книги. Главное, чего я добиваюсь, — это чтобы не была забыта мораль моего рассказа.

2

Прежде чем тотальное государство, угрожая и требуя, подступило ко мне и показало, каково это — испытать на собственной шкуре большую историю, я уже пережил, прямо скажем, немало того, что называют «историческими событиями». Это могут сказать о себе все европейцы моего поколения, и, конечно, никто в большей мере, чем немцы.

Все эти исторические события, само собой, оставили следы:

во мне столь же основательные, как и во всех моих соотечественниках: если не понять этого, то не удастся понять, как могло случиться все то, что за этими событиями последовало.

Однако между тем, что происходило до 1933 года, и тем, что произошло позже, есть серьезное различие: все бывшее до 1933 года проходило мимо нас или проносилось над нами; оно занимало и волновало нас всерьез, кому-то оно стоило жизни, кого-то разоряло, но никого не ставило перед последним выбором совести. Наша внутренняя жизнь оставалась нетронутой в своей глубине. Наращивался жизненный опыт, приобретались те или иные убеждения: но человек оставался таким, каким был. Никто из тех, кто по своей воле или вопреки своему желанию попал в машину третьего рейха, не может сказать того же о самом себе.

Раумеется, разные исторические события имеют разную степень интенсивности. Иное «историческое событие» может остаться совершенно незамеченным в подлинной действительности, то есть в личной, приватнейшей жизни простых людей, — тогда как другое не оставит от нее камня на камне. В нормальном описании исторического процесса различие между, скажем, двумя такими событиями едва ли ощутимо: 1890 год, Вильгельм 1П отправляет в отставку Бисмарка[3]. Само собой, огромная, жирно пропечатанная в немецкой истории дата. Но вряд ли это такая уж значимая дата в жизни любого немца, за исключением узкого круга людей, причастных к большой политике. Жизнь рядового человека шла так же, как она шла и прежде. Ничья семья не была разрушена, никакая дружба не распалась, никто не покинул свою родину. Ничего подобного не произошло. Не было отменено ни одно свидание, ни одно оперное представление. Кто был несчастливо влюблен, тот и остался несчастливо влюбленным, бедные остались бедными, богатые— богатыми... Сравните с этим другую дату: 1933 год, Гивденбург[6] назначает Гитлера рейхсканцлером. Землетрясение, разразившееся в шестидесяти шести миллионах человеческих жизней!

Как уже было сказано, научно-прагматическая историография ничего не говорит о различии в интенсивности исторических событий. Кто хочет о нем узнать, должен читать биографии, причем не биографии государственных деятелей, но куда более редкие жизнеописания неизвестных, частных людей. И он увидит: одно историческое событие проплывает, как облако над озером, над приватной, частной, то есть по-настоящему реальной жизнью; ничегошеньки не колыхнется, разве что в неподвижной воде промелькнет отражение облака. Другое событие налетает грозой, поднимает страшную бурю, так что озера потом не узнать. Есть и

третий тип «исторических событий», они (если продолжать метафору), по всей вероятности, высушивают любые озера до последней капли.

Думаю, что историю воспринимают неверно, если забывают именно это измерение исторических событий (а его-то как раз чаще всего и забывают). Поэтому да будет мне позволено, с моей точки зрения, рассказать о двадцати годах немецкой истории, прежде чем я перейду к заявленной мною теме: история Германии как часть моей собственной, личной истории. Этот рассказ будет недолгим, но он облегчит понимание всего последующего. Кроме того, читатель лучше со мной познакомится.

Начало прошлой мировой войны, которое, подобно барабанному грохоту, разом пробудило мою сознательную жизнь, застало меня, как и большинство европейцев, на летних каникулах. А лучше прямо сказать: загубленные каникулы—это и было самое жестокое испытание, которое мне лично принесла война.

С какой милостивой внезапностью разразилась прошлая война, если сравнить с мучительно медленным приближением той, которая неотвратимо надвигается теперь! Первого августа 1914 года наша семья чуть было не решила не принимать все всерьез и продолжать летний отдых. Мы жили тогда в одном имении в Нижней Померании[7], весьма далеком от цивилизации, затерянном среди лесов, которые я, маленький школьник, знал и любил больше всего на свете. Возвращение в середине августа из этих лесов в город было для меня печальнейшим, не-переносимейшим событием года, сравнимым разве что с разоблачением и сожжением новогодней елки после праздника. Первого августа оставалось еще две недели до отъезда в город — целая вечность.

В предыдущие дни, конечно, приходили тревожные известия. В газетах появилось нечто новое, чего еще никогда не было: жирные заголовки через все полосы. Отец читал газеты дольше, чем обычно, делался весьма озабоченным, а дочитав, принимался бранить австрийцев. Однажды появился жирный заголовок на всю первую полосу: «ВОЙНА!» Я постоянно слышал незнакомые, новые слова, и взрослым приходилось объяснять мне, что такое «ультиматум», «мобилизация», «альянс», ««Антанта». Живший вместе с нами в имении майор, отец двух девочек, с которыми я то враждовал, то был на дружеской ноге, получил «повестку» (еще одно новое слово) и поспешно уехал в город. Еще был призван один из сыновей нашего трактирщика. Все мы бежали за его охотничьей коляской, когда он ехал на станцию, и кричали: «Не трусь!», «Возвращайся целым и невредимым!!». Кто-то крикнул:

«Задай там сербам!»—после чего я, вспомнив все, что говорил мой отец, читая газеты, заорал: «И австрийцам!»[8] — и очень удивился, когда мой возглас был встречен всеобщим смехом.

Но больше всего я был поражен, когда услышал, что из усадьбы заберут прекраснейших лошадей, Ганса и Вахгеля, потому что они, видите ли, — о какое количество объяснений, требующих своих объяснений! — были вписаны в «кгшаперийский резерв». Я очень любил всех лошадей в имении, и то, что уводили самых красивых, было для меня жестоким ударом в сердце.

Но самым печальным было то, что вновь и вновь раздавалось слово «отъезд». «Наверное, уже завтра нам придется уехать». Для меня это звучало так, словно мне говорили: «Наверное, уже завтра нам придется умереть». Завтра! — вместо целой вечности двух недель каникул.

Тогда, разумеется, еще не было радио, а газеты в наши леса приходили с опозданием на сутки. Информации в этих газетах было гораздо меньше, чем в нынешних. Тогдашние дипломаты были еще скрытнее современных... Потому-то и получилось, что именно 1 августа 1914 года мы заключили, что никакой войны не будет, а значит, мы можем спокойно оставаться в деревне.

Я никогда не забуду 1 августа 1914 года, и на всю жизнь воспоминания об этом дне у меня будут связаны с чувством глубокой успокоенности, исчезнувшего напряжения, с удивительным, сладостным ощущением: «Все будет хорошо!» Таким вот странным образом можно быть причастным к истории.

Это была суббота, со всем тем мирным очарованием, какое присуще субботнему вечеру за городом. Работы закончились, в воздухе разносились звуки возвращающегося домой стада; покой и тишина царили над поместьем, парни и девушки в деревне прихорашивались перед танцами. В хозяйском доме, внизу в холле с оленьими рогами на стенах, фаянсовыми тарелками и начищенной оловянной посудой в буфете, в этом холле я обнаружил своего отца и владельца имения. Они сидели в уютных, глубоких креслах и оживленно беседовали. Само собой, я многого не понял, да и позабыл, о чем они говорили. Но зато я не забыл, как спокойно и умиротворенно звучали их голоса, высокий тенор отца и мощный бас владельца имения. Я не забыл, как важно и солидно поднимался вверх сигарный дым; и главное свое впечатление я не забыл: чем больше они говорили, тем все становилось яснее и понятнее, лучше и утешительнее. У меня не осталось сомнений: война просто не может начаться, и, значит, мы не помчимся сломя голову в город, а до конца каникул останемся здесь, как обычно.

Послушав ровно столько, чтобы прийти к такой вот

уверенности, я вышел во двор, и сердце мое было переполнено освобожденностью, довольством и благодарностью. С почти набожным чувством я смотрел на солнце, садившееся за лесами, которые снова были моей собственностью. День был пасмурный, но к вечеру внезапно все снова просветлело, и -солнце плыло, золотое и красное, в чистейшей лазури, обещая назавтра новый безоблачный день. Так же безоблачна, я был в этом уверен, вся бесконечность 14 каникулярных дней, которая вновь лежала передо мной!

Когда меня разбудили на следующий день, подготовка к отъезду шла уже полным ходом. Поначалу я вообще не понял, что происходит; слово «мобилизация» не говорило мне ровно ничего, хотя пару дней тому назад мне и пытались объяснить его значение. Однако теперь у взрослых не было времени что-нибудь мне объяснять. К полудню мы уже должны были выехать со всем своим скарбом— было сомнительно, что позже мы сможем сесть на какой-нибудь поезд. ««Нынче на все про все ноль минут»,— изрекла наша чрезвычайно старательная служанка. Смысл этого афоризма и до сего дня остается для меня туманным, но тогда-то было ясно, что началась дикая спешка; все занялись неотложными делами, и мне, благодаря этому удалось незаметно удрать в лес—где меня все ж таки отыскали перед самым отъездом. Я сидел на пне, обхватив голову руками, плакал и не обращал никакого внимания на уговоры, мол, сейчас война и потому каждый должен идти на жертвы. Кое-как меня запихнули в коляску: пара буланых лошадок — отнюдь не Ганс и Вахтель, тех уже забрали,—натянули постромки, облако пыли заволокло пейзаж. Никогда больше я не видел лесов моего детства.

Это был первый и последний раз, когда я пережил некую часть войны в действительности, с естественной болью человека, у которого что-то отняли, что-то разрушили. Уже в дороге все стало по-другому, авантюрнее, интереснее — праздничнее. Поездка по железной дороге длилась не семь часов, как прежде, а двенадцать. Поезд часто останавливался; составы, переполненные солдатами, шли мимо нашего поезда, и каждый раз все мы с воинственными возгласами бросались к окнам и размахивали платками. У нас не было отдельного купе, как обычно, когда мы путешествовали. Всю дорогу мы или стояли в проходе, или сидели на своих чемоданах, зажатые в тесноте, среди людей, безостановочно болтавших и смеявшихся, как если бы они были не чужими друг другу, но старыми знакомыми. Больше всего говорили о шпионах. В ту поездку я впервые услышал об их опасной деятельности. Через все мосты мы ехали медленно-медленно, и каждый раз я испытывал приятный, возбуждающий

страх: а вдруг шпион подложил под мост бомбу! В Берлин мы добрались к полуночи. Никогда еще я не ложился так поздно! Наша квартира была совсем не готова к нашему приезду, мебель стояла в чехлах, кровати были не разобраны. Меня уложили на кушетке в пропахшем табаком кабинете отца. Никакого сомнения: война принесла и много радостного!

В ближайшие дни я за невероятно короткое время усвоил невероятно много нового. Семилетний мальчик, который недавно понятия не имел о том, что такое война, не говоря уж о таких вещах, как ультиматум и мобилизация, вскоре уже знал о войне (как если бы всегда знал) не только «что», «как» и «где», но даже и «почему»; знал, что в войне повинны французская жажда реванша, английская зависть и русское варварство,—теперь я с легкостью выговаривал все эти слова. В один прекрасный день я начал читать газеты и поразился тому, с какой легкостью все там понимаю. Мне дали карту Европы, и с первого взгляда на нее я понял, что «мы» запросто разделаемся с Францией и Англией, но испытал смутный ужас перед огромностью России, однако же позволил успокоить себя тем, что устрашающая многочисленность русских ничего не значит при их невероятной глупости, распущенности и беспробудном пьянстве. Я шпарил наизусть — причем, повторюсь, с такой скоростью, будто всегда их знал, имена военачальников, данные о численности и вооружении армий, водоизмещении флотов, я помнил расположение важнейших крепостей, линии фронтов — и очень скоро понял, что здесь разворачивается интереснейшая игра, что жизнь стала куда ярче, напряженнее, волнительнее, чем прежде. Мое воодушевление и мой интерес к этой игре не ослабли до горького ее завершения.

Здесь я хотел бы взять под защиту мою семью. Голову мне задурили отнюдь не там. Мой отец жестоко страдал с самого начала войны. Он весьма скептически смотрел на воодушевление первых недель; психоз ненависти, который за этим последовал, был ему глубоко отвратителен, притом что сам он, разумеется, был лоялен и патриотичен; и, конечно, желал победы Германии. Он принадлежал к тому немалому числу либералов в своем поколении, что в глубине души были уверены: войны между европейцами ушли в далекое прошлое. Он, если так можно выразиться, не мог ничего поделать с разразившейся войной и, подобно многим другим либералам, с презрением отвергал любую возможность самообмана на сей счет. Пару раз я слышал от него горькие, скептические слова, касавшиеся теперь не одних только австрийцев, — эти слова неприятно поражали меня, охваченного неподдельным военным воодушевлением. Нет, вовсе

не отец и не семья были повинны в том, что в течение нескольких дней я сделался фанатичным шовинистом и «диванным стратегом».

В этом был повинен—воздух; безымянное, ощутимое всеми порами всеобщее настроение; водоворот массового единства, одаривавший каждого, кто в него бросался (буде это даже семилетний мальчик), неслыханными эмоциями; того же, кто оставался вне этой стремнины, душил вакуум одиночества. Охваченный наивной страстью, без тени какого-либо сомнения или конфликта, тогда я впервые ощутил воздействие странного дара моего народа — впадать в массовые психозы. (Этот дар, наверное, является компенсацией малой одаренности немцев в том, что касается индивидуального, личного счастья.) Мне не приходило в голову что исключить себя из такого радостно-всеобщего беснования вообще возможно. Ни разу не мелькнула у меня мысль об опасности того, что делает тебя столь безоглядно счастливым и ежедневно дарит такое праздничное, блаженное состояние.

И впрямь для тогдашнего берлинского школьника война была чем-то глубоко нереальным: нереальным и, однако, существующим — будто игра. Ведь за все время войны не было ни одного авиационного налета, на Берлин не упало ни одной бомбы. На улицах появлялись раненые, но они были далеко и выглядели со своими белыми повязками прямо-таки шикарно. Конечно, у нас были на фронте близкие, конечно, то в одну семью, то в другую приходили похоронки, но ребенок на то и ребенок, чтобы легко привыкать к чьему-либо отсутствию; а то, что это отсутствие из временного становилось вечным, теперь уже не играло роли. Мало что значили и реальные неудобства, которые принесла война. Плохая еда—ну, понятное дело. Позднее — очень мало еды, грохочущие по школьному полу деревянные подошвы, перешитые костюмы, собирание обглоданных костей и вишневых косточек в школе, частые болезни. Но я должен признать, что все это не производило на меня такого уж сильного впечатления. Не в том дело, что я переносил тяготы как «маленький герой» Об этом и речи не было. О еде я думал так же мало, как футбольный болельщик во время финального, решающего матча. Сводки с фронтов интересовали меня значительно больше, чем какое бы то ни было меню.

Сравнение с футбольным болельщиком может быть развито. В самом деле, я, ребенок, был тогда болельщиком войны. Сказать, что я стал жертвой яростной пропаганды, которая должна была в 19151918 годах подстегнуть ослабшее воодушевление первых месяцев войны, означало бы погрешить против истины—нет,

настолько плохим я не был. Я столь же мало ненавидел французов, англичан и русских, сколь мало болельщик «Портсмута» «ненавидит» игроков «Вулверхэмптона». Естественно, я желал их проигрыша и поражения, но только потому, что их унижение и разгром стали бы оборотной стороной победы и триумфа моей команды.

Для меня имела значение лишь завораживающая привлекательность военной игры, той, в которой число пленных, захваченные территории, завоеванные крепости и потопленные суда—все равно что голы в футболе или очки в поединках боксеров. Я не уставал вести таблицу подобных «голов» или «очков». Я был прилежным читателем военных сводок, данные которых «пересчитывал» согласно собственным, опять-таки довольно иррациональным, таинственным правилам. По этим правилам, например, десять русских военнопленных равнялись одному французу или англичанину, а пятьдесят самолетов — одному броненосцу. Если бы печаталась статистика погибших, я, разумеется, не преминул бы подобным же образом «пересчитывать» павших, даже не догадываясь о том, как в действительности выглядит то, над чем я произвожу арифметические операции. То была темная, таинственная игра с нескончаемым порочным возбуждением, которое перечеркивало все, делало незначительной, попросту несуществующей действительную жизнь, одурманивало, наркотизировало, словно рулетка или курение опиума. Я и мои товарищи играли вот так всю войну, четыре долгих года, безнаказанно и беспрепятственно — и эта игра, а отнюдь не безобидная игра в «войнушку», которой мы баловались на улицах и во дворах, была тем, что оставило во всех нас свои опасные следы.

4

Наверное, если бы речь шла о единичном случае, не стоило бы подробно описывать, как, разумеется, неадекватно, реагировал на мировую войну ребенок. Однако то был вовсе не единичный случай. Так или примерно так в детстве или в ранней юности восприняло войну целое поколение немцев; и что особенно важно, именно это поколение готовит сейчас новую войну.

Оттого что эти люди были в ту пору детьми или подростками, их восприятие тогдашних событий не делается менее сильным и не перестает сказываться в дальнейшем—напротив! Душа масс и душа ребенка в своих реакциях очень похожи. Невозможно себе представить, насколько ребяческими по самой своей сути являются теории, которые способны поднять массы и повести их за собой. Для того чтобы стать движущей силой, большие, серьезные идеи должны опроститься буквально до детского

уровня. Сложившееся в детстве, а затем в течение четырех лет вколачивавшееся в мозги совершенно фантастическое представление о войне может спустя два десятилетия превратиться в смертельно опасное мировоззрение большой политики.

Война как великая, вдохновенно-волнующая игра народов, способная одарить боле глубокими переживаниями и более сильными эмоциями, чем все, что может предложить мирная жизнь, — таков был с 1914 по 1918 год ежедневный опыт целого поколения немецких школьников; это и стало основой позитивного образа нацизма. С этим связана неотразимая притягательность войны как игры: простота, активизация фантазии и желания действовать; отсюда же нетерпимость и жестокость по отношению к политическим противникам; впрочем, тех, кто не желает играть, считают даже не противниками — к ним относятся как к вредителям, срывающим интересное состязание. И наконец, из этого естественным образом вырастает враждебное отношение к любому соседнему государству: потому что любое из подобных государств воспринимается не как «сосед», но как враг volens nolens — ведь в противном случае игра вообще не состоится!

Очень многое позднее содействовало нацизму, а также модифицировало его сущность. Но здесь, в этом детском переживании, лежит его исток — именно не во фронтовом опыте немецкого солдата, а в переживании далекой войны немецким школьником. Фронтовое поколение в большинстве своем дало очень мало настоящих нацистов, да и сегодня плодит в основном ««нытиков и маловеров», что объяснимо: тот, кто пережил войну в реальности, оценивает ее совсем по-другому, нежели тот, кто видел войну издали. (Есть и исключения: вечные солдаты, для них война со всеми ее ужасами осталась единственно возможной формой жизни — и вечные, потерпевшие жизненный крах неудачники, с полным восторгом воспринимающие ужасы и разрушения войны; этим, считают они, отмщено жизни, для которой сами они оказались недостаточно сильными. К первому типу принадлежит, наверное, Геринг[9], ко второму наверняка Гитлер.) Поколение настоящих нацистов — люди, родившиеся в десятилетие между 1900 и 1910 годом, воспринимавшие войну вне ее реальности, как большую, захватывающую игру.

Вне ее реальности? Мне могут возразить: а голод? Это правда, но я уже рассказывал, сколь мало мешал голод нашей игре. Наверное, он даже ей в чем-то способствовал. Сытые и хорошо одетые мало склонны к фантазиям... В любом случае один только голод не мог разочаровать нас в войне. Он, если можно

так выразиться, нас закалял. В результате появилась привычка к недоеданию, неприхотливость, а также неизбалованность — одна из симпатичных черт моего поколения.

Мы рано научились обходиться минимумом жратвы. Большинство ныне живущих немцев трижды пережили нехватку продовольствия: первый раз в войну, второй раз во время гиперинфляции и в третий раз теперь под лозунгом «Пупки вместо масла»[10]. В этом отношении немцы тренированы и готовы держать удар.

Мне всегда казалось сомнительным широко распространенное суждение, будто немцы проиграли войну из-за голода. Они голодали до 1918-го уже три года, и 1917-й в продовольственном отношении был куда хуже 1918-го. На мой взгляд, немцы прекратили воевать не потому, что голодали, а потому, что увидели: война проиграна и положение страны безнадежно. Точно так же ту мировую войну, которая неотвратимо приближается, немцы вряд ли остановят и скинут нацистов от одного только голода. Сегодня они полагают, что голод — это, так сказать, их нравственный долг; во всяком случае, он не так уж страшен. Немцы стали народом, который чуть ли не стесняется столь естественной потребности в питании, а нацисты используют тот факт, что они недодают народу еды, в качестве косвенного средства своей пропаганды.

Нацисты публично обвинили всех, кто «ругается», — мол, это оттого, что у них нет масла и кофе. Правда, сейчас в Германии довольно много «ругающихся», но по большей части у «ругани» совершенно другие, как правило, куда более достойные причины. Эти «ругающиеся» стыдились бы высказывать недовольство скверным питанием. В Германии значительно меньше тех, кто недоволен продовольственным положением страны, чем можно заключить, читая нацистские газеты. Однако пишущие в этих газетах прекрасно понимают, что делают, утверждая обратное: ибо, если недовольному немцу сказать, что его недовольство вызвано низменным желанием набить брюхо, он тут же перестанет ворчать.

Но как было сказано выше, я считаю это одной из довольно симпатичных черт современных немцев.

В течение четырех военных лет я потерял ощущение мирной жизни, я забыл, какой может быть мирная жизнь. Мои тогдашние воспоминания о довоенном времени полностью поблекли. Я не представлял себе день без фронтовых сводок. Такой день лишил бы меня самого главного удовольствия. Что он мог предложить взамен? Мы шли в школу, нас учили писать и читать, позднее учили истории и латыни, мы играли с друзьями, гуляли со

своими родителями, но разве это было подлинным содержанием жизни? Жизни придавало остроту а каждому дню особую, свойственную только ему, краску то или иное событие на фронте; если шло мощное наступление и газеты помещали пятизначные цифры пленных солдат и список захваченных крепостей, с «огромным количеством стратегических материалов», это был праздник, дававший нескончаемую пищу фантазии; ты жил полной жизнью, как много позже, когда бывал счастливо влюблен. Е<сли же ««на Западном фронте» было «без перемен» или если начинался «планомерный, вызванный стратегическими соображениями отход на заранее подготовленные позиции», тогда вся жизнь блекла, игры со сверстниками теряли свою привлекательность, а уроки делались вдвойне скучными.

Каждый день я ходил к полицейскому участку за пару кварталов от нашего дома: там, на черной доске вывешивались фронтовые сводки на несколько часов раньше, чем они появлялись в газетах. Узкий белый листок, усеянный танцующими заглавными буквами. Листок был то короче, то длиннее, а буквы танцевали по милости давно отслужившей свой срок копировальной машины. Мне приходилось вставать на цыпочки и задирать голову, чтобы разобрать напечатанное. Чем я и занимался изо дня в день, самоотверженно и упорно.

Как уже было сказано, я совершенно не представлял себе, какой должна быть послевоенная мирная жизнь, но у меня было четкое представление о том, что такое «окоггаательная победа». Окончательная победа, великий итог, сумма, неизбежно складывающаяся из множества частных побед, о которых я читал во фронтовых сводках, была для меня приблизительно тем же, чем для набожных христиан является Страшный суд и воскрешение мертвых, а для верующих евреев — пришествие Мессии. Окончательная победа была суммой всех побед, огромной сводкой, в которой цифры, говорящие о захваченных пленных, трофеях и площади завоеванных территорий, стали бы совершенно немыслимыми. А дальше я ничего не мог себе представить. Я ожидал окончательной победы с диким и одновременно боязливым нетерпением: то, что она однажды придет, было неизбежно. Но оставалось загадкой, что может предложить мне жизнь после победы.

Я и в самом деле ждал окончательной победы с июля по октябрь 1918-го, хотя мне хватило ума заметить, что фронтовые сводки делаются все мрачнее и мрачнее и что в победу я продолжаю верить вопреки здравому смыслу И тем не менее... Разве Россия не разбита наголову? Разве ««мы» не оккупировали Украину, где есть все необходимое для продолжения войны до

победного конца? Разве «мы» всё еще не в самом сердце Франции, в нескольких переходах от Парижа?

В это время даже я не мог не заметить то, что очень многие, да почти все, смотрят на войну не так, как я, хотя первоначально мои взгляды совпадали с их взглядами — я и усвоил-то эти взгляды потому, что они были всеобщими! Куда как огорчительно было то, что как раз теперь пропал этот всеобщий интерес к войне, теперь, когда, казалось бы, достаточно сделать одно маленькое, но чрезвычайное усилие — и нынешние неутешительные фронтовые сводки, вроде «неудавшейся попытки прорыва» или ««планомерного отхода на заранее подготовленные позиции», превратятся в самые что ни на есть безоблачные: «Прорыв на 30 километров в глубь территории противника!», «Вражеская система укреплений полностью разрушена!», <«30 000 пленных!».

В лавке, где я стоял в очереди за искусственным медом и обезжиренным молоком—мама и служанка не могли везде поспеть, так что и мне приходилось стоять в очередях — женщины бросали грубые, отвратительные слова, полные непонимания великого смысла войны. Не всегда я слушал безмолвно. Иногда я бесстрашно поднимал свой еще довольно высокий детский голос, говоря о необходимости «терпения и выдержки». Чаще всего женщины хохотали, изумлялись, но порой смущались и становились неуверенными и робкими. Я покидал место своего словесного поединка, победоносно размахивая четвертьлитровой бутылкой обезжиренного молока. Однако сводки с фронтов лучше от этого не становились.

А потом, уже в октябре, приблизилась революция. Она готовилась так же, как и война, исподволь — в воздухе эпохи вдруг стали роиться новые слова и понятия — и разразилась она, так же как война, совершенно внезапно. На этом сходство кончается. Война, что бы о ней ни говорилось, была чем-то цельным, единым; она была неким общим делом, весьма успешным, во всяком случае, на первых порах. О революции этого не скажешь.

Для всей дальнейшей немецкой истории роковым оказалось то, что первые дни войны, несмотря на все ужасные несчастья, которые она принесла, почти для всех немцев были незабываемым временем величайшего подъема и напряженнейшей, радостной жизни, тогда как революция 1918 года, принесшая мир и свободу, почти для всех нас связана с мрачнейшими воспоминаниями. Уже то, что война разразилась в разгар роскошного, жаркого лета, а революция началась в промозглом ноябрьском тумане, сделалось козырем для войны.

Звучит забавно, но так оно и было. Очень скоро это почувствовали сами республиканцы; они не любили напоминаний о 9 ноября и даже не объявили этот день официальным праздником. Нацисты, противопоставив август четырнадцатого ноябрю восемнадцатого, разыграли партию с хорошими картами на руках. Ноябрь восемнадцатого: война закончилась, к женщинам вернулись мужья, мужчины остались живы, и тем не менее дата эта странным образом не оставила

в сердцах ничего радостного,, праздничного, а только воспоминания о поражении, страхе, бессмысленной стрельбе, позоре, да еще и о плохой погоде.

Лично я почти не заметил революции. В субботней газете было напечатано отречение императора[11]. Прежде всего меня удивило то, что отречение было напечатано таким мелким шрифтом. В войну я видел заголовки и покрупнее. На самом-то деле император еще не отрекся, когда мы прочитали об этом в газетах. Впрочем, он вскоре наверстал упущенное.

Поразительнее, чем заголовок ««Оречение императора» было то, что уже в воскресенье газета «Tag-liche Rundschau» («Ежедневное обозрение») стала называться «Rote Fahne» («Красное знамя»). Это учинили какие-то революционно настроенные печатники. В остальном содержание газеты мало изменилось, и пару дней спустя она снова стала называться по-старому. Маленькая деталь, но весьма символическая для всей революции 1918 года.

А на другой день, .в воскресенье, я впервые услышал выстрелы. За всю войну я не слышал ни одного выстрела. Но теперь, когда война подходила к концу, палить стали у нас в Берлине. Мы были в комнате с окнами, выходившими во двор, и услышали далекие, но четкие пулеметные очереди. У меня захватило дух. Кто-то из тогдашних знакомых разъяснил нам, чем отличаются очереди тяжелых пулеметов от очередей пулеметов легких. Стрельба доносилась со стороны дворца. Может быть, там оборонялся берлинский гарнизон? Может быть, у революции дела шли не так уж гладко?

зо

Если у меня и были на этот счет хоть какие-то надежды — ведь я, естественно, как явствует из всего вышеизложенного, всем сердцем был против революции,—то на следующий день эти надежды рухнули. Вчерашняя пальба была довольно бессмысленна —разные революционные группы не смогли договориться о том, кому должны достаться Королевские конюшни[12]. Сопротивления революции не было никакого. Победа ее была несомненна.

С другой стороны, что все это означало? Праздничный беспорядок, толкотню, суматоху, приключения, пеструю, веселую анархию? Ничего подобного! В понедельник самый страшный из наших гимназических учителей, холерик и тиран, злобно вращая зрачками, объявил нам, что «здесь», а именно в школе, никакой революции нет, здесь царит прежний жесткий порядок. В знак подтверждения своего тезиса он вкатил порцию розог тем из нас, кто на перемене вздумал поиграть в революцию. Все мы, присутствовавшие при экзекуции, смутно почувствовали: это предвестие какого-то большого зла, что-то не так с этой революцией, если на следующий день после ее победы учитель лупит школьников за революционные игры. Ни черта из этой революции не получится. Да из нее и не получилось ни черта.

Между тем из нее получился конец войны. То, что революция означала конец войны, мне было ясно, как и любому немцу, причем конец войны без окончательной победы, поскольку необходимое для этой победы чрезвычайное усилие так и не было предпринято по непонятным (для меня) причинам.

Я не имел ни малейшего представления о том, что такое конец войны без окончательной победы. Мне пришлось его пережить—лишь тогда я получил о нем представление.

Война ведь разыгрывалась где-то далеко во Франции, в нереальном мире, и только сводки приходили оттуда, будто послания из потустороннего мира, поэтому конец войны тоже не был для меня чем-то обладающим собственной реальностью. В моем непосредственном, реальном окружении ничего не менялось. Все события разыгрывались в том иллюзорном мире великой игры, в котором я прожил четыре года... Конечно, этот мир значил для меня гораздо больше, чем мир реальный, действительный.

9 и 10 ноября еще появлялись фронтовые сводки, выдержанные в прежнем стиле: «Врюкеские попытки прорыва отбиты», «Наши войска после мужественной обороны отошли на заранее подготовленные позиции». Но уже 11 ноября на черной доске моего полицейского участка не вывесили ни одной сводки. Доска зияла пустотой, и я с ужасом понял, что меня ждет—там, где я годами находил ежедневную пищу для ума и грез, вечно, всегда будет зиять черная пустота. Я двинулся дальше. Ведь должны же где-то найтись какие-то сообщения с театра военных действий.

В другом районе был свой полицейский участок. Наверное, там сейчас вывешивают сводки.

Но и там ничего не вывесили. Полиция тоже была заражена революцией, старый прядок оказался разрушен до основания. Я

вконец растерялся и не знал, что теперь делать. Я брел по улицам под моросящим, холодным, ноябрьским дождем в поисках хоть каких-нибудь сообщений. Наконец я пришел в совершенно незнакомый мне район.

Там-то я и набрел на небольшую кучку людей, собравшихся перед газетным киоском. Я подошел, протиснулся поближе и смог прочитать то, что все они читали молча, недоверчиво подняв брови. Это был утренний спецвыпуск газеты с заголовком «Перемирие подписано». Далее были перечислены условия перемирия, длиннющий список. Я читал их и буквально цепенел, понимая суть прочитанного.

С чем бы сравнить мои тогдашние впечатления, впечатления одиннадцатилетнего паренька, весь фантастический мир которого был разрушен? Сколько ищу, не могу подыскать этому чего-то равнозначного в нормальной, реальной жизни. Подобные сновидческие, кошмарные катастрофы возможны только в мире сна и кошмара. Допустим, некто в течение многих лет кладет большие суммы в банк, потом наконец требует выписку и узнает, что вместо огромного состояния у него неоплатный, гигантский долг. Наверное, этот человек испытал бы нечто подобное тому, что испытал я в то ноябрьское утро 1918 года. Но такое возможно только во сне.

Условия перемирия излагались не успокаивающим языком последних фронтовых сводок. В них звучал безжалостный голос разгрома; раньше таким беспощадным тоном сообщалось о вражеских неудачах. То, что теперь это относилось к ««гам» — и речь шла не о каком-то эпизоде, но об окончательном результате «наших» многочисленных побед, просто не укладывалось у меня в голове.

Я вновь и вновь читал условия перемирия, запрокидывая голову, поднимаясь на цыпочки, — так, как все эти четыре года читал фронтовые сводки. Наконец я выбрался из толпы и пошел по улицам, сам не зная куда. Район, где я очутился в поисках фронтовых новостей, был мне совершенно незнаком, а теперь я забрел в совсем неведомые места; я шел по улицам, которых прежде никогда не видел. С неба сеялся промозглый ноябрьский дождик.

Как и эти незнакомые улицы, весь мир вставал передо мной чужим и угрюмым. Оказывается, у великой игры с такими захватывающими правилами, которые я так хорошо знал, были свои, тайные правила, о которых я не подозревал. Очевидно, что-то в этой игре было обманчивым, опасно-фальшивым. Где же тогда обретаются уверенность, спокойствие, вера и доверие, если мировая история столь коварна и сплошные победы приводят к

бесповоротному поражению и если об истинных правилах происходящего умалчивают и они раскрываются лишь впоследствии в результате полного, всеобъемлющего разгрома. Я заглянул в бездну. Я почувствовал ужас жизни.

Сомневаюсь, что немецкое поражение повергло кого-нибудь в больший шок, чем одиннадцатилетнего подростка, который брел по незнакомым улицам под ноябрьским дождем, с горя не замечая куда. В особенности я не могу поверить в то, что скорбь ефрейтора Гитлера была глубже моей скорби. Приблизительно в эти же самые часы в Пасевал-ковском госпитале[13] он даже не дослушал до конца известие о конце войны. Да, он отреагировал еще драматичнее, чем я: «Мне сделалось невозможно более оставаться там,—пишет он,—в глазах у меня потемнело, я на ощупь добрался до своей койки, бросился ничком и ткнулся пылающей головой в подушку». После этого он и решил сделаться политиком.

Странным образом, реакция Риглера была даже более детски-упрямой, чем у меня, и не только во внешних проявлениях. Когда я сравниваю, какие выводы Гитлер и я сделали из общей боли: у одного — ярость, упрямая злость и решение стать политиком: у другого — сомнения в адекватности правил игры, в самой игре и зреющий ужас перед непредсказуемостью жизни, — когда я эти вещи сравниваю, то вывод, как ни крути, один: реакция одиннадцатилетнего подростка была куда более зрелой, чем реакция двадцатидевятилетнего мужчины.

Во всяком случае, с этого момента раз и навсегда стало ясно, что мне будет не по пути с гитлеровским рейхом.

6

Но прежде чем перейти к описанию этого «не по пути», я попытаюсь рассказать о периоде революции 1918 года и немецкой республики.

Революция подействовала на меня и моих товарищей совершенно противоположным (по сравнению с войной) образом: война оставила нашу реальную, ежедневную жизнь до скуки неизмененной, зато она дала нашей фантазии неисчерпаемый, богатейший материал. Революция же внесла очень много нового в повседневную действительность— и это новое было в достаточной мере пестрым и возбуждающим (о чем ниже),—но фантазия, воображение оказались революцией не задеты. Революция не смогла, в отличие от войны, предложить простой и вдохновляющий образ бытия, в котором можно было бы складно и понятно расположить все ее события. Все кризисы, стачки революции, все ее демонстрации, путчи, мятежи, вся ее беспомощная пальба по своим сбивали с толку, ибо были полны

противоречий. Ни в один из моментов революции не было до конца ясно, ради чего, собственно, все это творится. Было невозможно не то что вдохновляться происходящим, а даже просто это происходящее понять.

Как мы знаем, революция 1918 года не была заранее продуманной и спланированной операцией. Она явилась побочным продуктом военного поражения. Руководство революцией отсутствовало почти полностью: народ почувствовал себя заведенным в тупик своими политическими и военными вождями и прогнал их, а не сверг. Ведь при первом же угрожающем жесте они все, начиная с кайзера, исчезли бесследно и бесшумно. Приблизительно так же в 1932-1933 годах бесследно и бесшумно исчезли вожди и руководители Веймарской республики. Немецкие политики, от крайне правых до крайне левых, плохо владеют самым важным искусством в жизни и в политике — искусством достойно терпеть поражение.

Впасть валялась на улице. Среди тех, кто ее подобрал, было очень не много настоящих революционеров; да и те, что были, судя по дальнейшему развитию событий, имели весьма смутное представление о том, чего они, собственно говоря, хотят и как они собираются достичь своих смутно осознаваемых целей. (В конце концов, не только невезением, но и свидетельством полного отсутствия хоть какого-то политического дарования является то, что спустя полгода после революции их почти всех убили.)

Большинство новых властителей Ггрмании были растерянными обывателями, они состарились и размякли, пока находились в лояльной оппозиции, их тяготила свалившаяся им в руки власть, и они трусливо прикидывали, как бы по-хорошему да поскорее от нее избавиться.

Наконец, среди них было немало откровенных саботажников, решивших «придержать» революцию, попросту говоря, предать ее. Чудовищный Носке[14] стал самым из них известным.

Тут пошла новая игра: настоящие революционеры устроили целый ряд плохо организованных, дилетантских путчей, а саботажники призвали к себе на помощь контрреволюцию, так называемый фрайкор, добровольческие корпуса[15], который, натянув форму правительственных, республиканских войск, в течение нескольких месяцев топил в крови неумелых революционеров. В этом спектакле при всем желании трудно было обнаружить что-нибудь вдохновляющее. Мы были мальчиками из буржуазии, нас только что грубо отрезвили, покончив с четырехлетним военно-патриотическим дурманом; само собой мы могли быть только против красных

революционеров: против Карла Либкнехта[16], Розы Люксембург™ и их «Спартака»™, о которых мы смутно знали, что они собираются «отнять у нас все», убить наших состоятельных родителей и вообще завести у нас ужасные «русские» порядки. Стало быть, мы поневоле были «за» Эберта[19] и Носке, за добровольческие корпуса. Однако сколько-нибудь сочувствовать, симпатизировать им было совершенно невозможно. Слишком уж отвратительным был спектакль, который они устроили. Запах предательства, витавший над ними, был слишком силен. Эта вонь ощущалась даже носами десятилетних. (Еще раз подчеркну, что с точки зрения истории реакция детей на политические события очень важна: то, что «знает каждый ребенок», есть по большей части последняя, неопровержимая квинтэссенция политического события.) Было что-то чрезвычайно поганое в том, что брутальный и беспощадный фрайкор — мы не возражали бы, если б он вернул нам Гинденбурга и императора, — сражался за «правительство», то есть за Эберта и Шейде-мана[20], которые были совершенно откровенными предателями своего собственного дела.

Вдобавок события, которые теперь уже касались нас непосредственно, стали куда менее понятны, чем тогда, когда они разыгрывались в далекой Франции и сводки представляли их «в правильном свете». Теперь мы ежедневно слышали стрельбу, но не всегда понимали, что она означает.

То не было электричества, то не ходили трамваи, но быьло совершенно непонятно, ради кого, во имя чьих интересов — спартаковцев или правительства —мы жжем керосин или ходим пешком. Можно быьло подобрать листовку на улице с грозной надписью «Час возмездия близок!», долго-долго разбираться в длинных периодах, полных оскорблений и совершенно непонятных упреков, и, наконец, по промелькнувшим в конце словам «предатели», «убийцы рабочих» или «бессовестныье демагоги» понять, кто имеется в виду: Эберт и Шейдеман или Либкнехт и Эйхгорн[21]. Мы чуть ли не ежедневно видели демонстрации. У демонстрантов быьло тогда обыкновение орать в ответ на какой-нибудь выкрикнутый лозунг «Hoch» («Ура») или «Nieder» («Долой»). Издалека доносился только многоголосый хор, орущий «Hoch» или «Nieder»,—сольные партии, выыкрикивающие лозунги, быьли не слыьшны, так что чаще всего быьло совершенно непонятно, кого демонстранты славят, а кого проклинают.

Эти демонстрации продолжались около полугода: потом пошли на спад, так как давно уже сделались бессмысленными. Ведь судьба революции была решена еще 24 декабря 1918 года22

(естественно, тогда я этого не понимал)—в этот день рабочие и матросы после победоносный уличных боев перед Берлинским дворцом спокойно разошлись по домам праздновать Рождество. После праздников они, конечно, снова выышли на тропу войны, но за это время правительство успело ввести в Берлин фрайкор. Четырнадцать дней подряд в Берлине не выходило ни одной газеты, раздавались выстрелы то поблизости от нашего дома, то вдалеке — и множились слухи. Потом вновь начали выходить газеты, правительство победило, а несколько дней спустя было опубликовано сообщение: Карл Либкнехт и Роза Люксембург застрелены при попытке к бегству. Насколько мне известно, именно тогда родилась эта формулировка, ставшая затем нормой, когда речь шла об обращении с политическими противниками восточнее Рейна. Но тогда к подобным эвфемизмам еще не привыкли, это выражение воспринимали буквально и сообщениям верили: цивилизованные времена!

Итак, судьба революции была решена, но покоя и мира это не принесло — напротив! В марте начались кровопролитнейшие уличные бои в Берлине[23] (в Мюнхене — в апреле)[24], хотя речь-то теперь шла не о революции, а о погребении ее трупа. В Берлине уличные бои разразились, когда формально и, можно сказать, в два счета указом Носке была распущена народная морская дивизия[25], первый боевой отряд революции: дивизия не собиралась «распускаться», дивизия защищалась, к ней примкнули рабочие северо-восточных предместий Берлина, и восемь дней подряд «введенные в заблуждение народные массы» вели отчаянный, безнадежный, но тем более яростный бой. «Народные массы» не могли понять, почему их собственное революционное правительство вновь бросило против них врагов революции. Исход боев был предрешен, месть победителей была ужасна. Любопытно то, что тогда, весной 1919 года, левая революция совершенно безрезультатно пыталась обрести хоть какую-то форму между тем как будущая правая нацистская революция, пока еще без своего вождя, Гитлера, уже предстала перед Германией сильной и готовой к расправам. Добровольческие корпуса, спасшие Эберта и Носке, были прообразом нацистских штурмовых отрядов вплоть до личного состава, а уж тем более в том, что касалось взглядов, образа действия и боевого стиля. Именно «добровольцы» изобрели убийства «при попытке к бегству», далеко продвинулись в пыточной науке, нашли отличный способ борьбы с незначительными политическими противниками: без лишних слов — к стенке. (Правда, 30 июня 1934 года эти достижения были применены к самим первопроходцам[26].) В 1919-м их

практике недоставало теории. Теорию им предоставил Гитлер.,

7

Подумав, я вынужден признать, что и гитлерюгенд[27] тогда был почти сформирован. К примеру, в нашем классе мы создали спортивный клуб под названием «IˆeˆirirlˆTˆnd Altpreussen» союз Старая Прус

сия»), Его девизом стало: Анти-Спартак, спорт, политика! Политика заключалась в том, что мы подкарауливали несчастных одноклассников, имевших смелость не скрывать своей симпатии к революции, и жестоко их избивали. В остальном, главным нашим занятием был спорт: состязания на школьном дворе, в парках. При этом мы чувствовали, что действуем чрезвычайно «антиспартаковски». Считая себя патриотами, мы носились наперегонки во имя Родины. Что это, как не будущий гитлерюгенд? Конечно, нам недоставало нескольких черт и особенностей, которые позже были привнесены Гитлером, —к примеру антисемитизма. С той же антиспартаковской и патриотической резвостью вместе с нами соревновались в беге и наши еврейские однокашники; один еврейский подросток был даже нашим лучшим бегуном. И я могу поклясться, что они ничего не делали для того, чтобы подорвать национальное единство Германии.

Во время мартовских боев 1919 года нормальная деятельность нашего «Бегового союза Старая Пруссия» была прервана, поскольку спортивные площадки превратились в поля сражений. Квартал сделался эпицентром уличных боев. Наша гимназия стала штаб-квартирой правительственных войск, а расположенная рядом народная школа—как символично! — опорным пунктом «красных», так что ожесточенные бои за эти здания шли чуть ли не каждый день. Наш директор, оставшийся в своем кабинете, был застрелен, фасад гимназии был весь изрешечен пулями, а под моей партой долго не могли отмыть огромное кровавое пятно. У нас получились внеочередные каникулы, они продолжались неделю за неделей, и за это время мы получили свое, если так можно выразиться, боевое крещение: едва лишь нам удавалось выскользнуть из дома, мы тотчас бросались разыскивать места боев, чтобы увидеть хоть что-нибудь.

Многого увидеть мы не могли: даже уличные бои воочию демонстрировали «1густоту современного поля боя». Но тем больше мы слышали: мы стали совершенно равнодушны к пулеметным залпам, разрывам гранат или даже грохоту полевой артиллерии. Нам делалось несколько не по себе, только когда начинали ухать тяжелая артиллерия или минометы.

Для нас это было спортом — пробраться на забаррикадированную улицу, прокрасться через проходные дворы, парадные и подвалы и внезапно появиться позади баррикад далеко за щитами с грозной надписью: ««^той! Ни шагу! Будешь застрелен!» Никто в нас никогда не стрелял. Нам вообще никто ничего плохого не делал.

Посты охраны действовали не слишком строго, и обычная цивильная уличная жизнь часто перемешивалась с боевыми действиями самым нелепым, самым гротескным образом. Я вспоминаю прекрасное солнечное воскресенье, одно из первых теплых воскресений той весны, масса гуляющих по широкой аллее, все чрезвычайно мирно, никаких тебе выстрелов! И вдруг все бросаются врассыпную, забиваются в подъезды, парадные, во дворы, по аллее грохочут броневики, раздаются залпы, неподалеку бьет пулемет... Пять минут спустя ад был позади — броневики промчались вперед и скрылись из виду пулеметные очереди затихли. Мы, мальчишки, первыми рискнули высунуть нос из подворотен. Странная картина предстала нам: вся аллея была будто выметена от людей, у каждого дома лежали груды битого стекла — окна не выдержали силы близких взрывов. Затем из подворотен, дворов и парадных стали появляться, словно ничего особенного не произошло, первые смельчаки, спустя минуты две улица приобрела свой обычный воскресный весенний вид.

Все происходящее было странно нереальным. Никто не давал объяснений по поводу отдельных происшествий. Вот и я так и не узнал, что была за стрельба в центре города в то воскресенье. Газеты об этой стрельбе ничего не писали. Из тех же газет мы узнали, что в то воскресенье, как раз когда мы прогуливались под голубым весенним небом, в нескольких километрах от нас в предместье Лихтен-берг[28] были согнаны захваченные в плен рабочие (несколько сотен? или даже тысяч?—цифры колебались) и расстреляны из пулеметов. Это нас ужаснуло. Это было куда ближе и реальнее, чем все, что несколькими годами ранее происходило в далекой Франции.

Но поскольку вслед за этим ровным счетом ничего не последовало, поскольку никто из нас не знал ни одного из расстрелянных, поскольку на следующий день газеты сообщали уже о чем-то другом, ужас был забыт. Жизнь вернулась в свою колею. Началось прекрасное лето. Вновь открылась гимназия. И даже «Беговой союз Старая Пруссия» продолжил свою полезную патриотическую деятельность.

Странным образом республика устояла. Приходится говорить «странным образом», ибо с весны 1919 года защита республики

находилась в руках ее врагов; все революционные организации были разбиты, их руководители убиты, боевые отряды уничтожены, оружие было только у фрайкора, — а их бойцы уже были настоящими нацистами, которые разве что не назывались так. Почему они не свергли своих слабых хозяев и уже тогда не установили в Германии третий рейх? Это было бы совсем не трудно. -

Да, почему же они этого не сделали? Почему не оправдали надежд, которые на них возлагали многие, а не только наш «Беговой союз С'^^^ая Пруссия»?

Вероятно, по тем же иррациональным причинам, по которым чуть позже рейхсвер не оправдал надежд куда большего числа людей. В первые годы третьего рейха в воздухе витали мысли и надежды: в один прекрасный день военные положат конец гитлеровской дискредитации идеалов и целей рейхсвера. Увы, военным в Германии недостает гражданского мужества.

Гражданское мужество, то есть способность принять собственное решение и нести за него ответственность, — добродетель в Германии весьма редкая, как отметил Бисмарк в одном из известных своих высказываний. Но эта добродетель и вовсе покидает немца, стоит ему надеть военную форму. Немецкий солдат и немецкий офицер беспримерно храбрые на поле боя, почти всегда готовые, выполняя приказ начальства, открыть огонь по гражданским своим соотечественникам, становятся трусливыми, как зайцы, если им нужно ослушаться начальства. Мысль о каком бы то ни было возражении начальству повергает их в ужас: перед глазами у них сразу же возникает картина позорного расстрела, это лишает их последних моральных сил. Они боятся не смерти, но совершенно определенного рода смерти—и боятся... смертельно. Это обстоятельство делает любую попытку неповиновения, а тем более мятежа военных в Германии совершенно невозможной— пусть страной правит кто хочет.

Единственный контраргумент при ближайшем рассмотрении оказывается аргументом в пользу этого утверждения: Капповский путч в марте 1920 года[29], попытка государственного переворота, предпринятая несколькими антиреспубликански настроенными аутсайдерами. Несмотря на то, что одна часть республиканского военного руководства была на их стороне целиком и полностью, а другая была настроена скорее сочувственно, чем враждебно; несмотря на то, что республиканская администрация тотчас же проявила слабость и не отважилась на сколько-нибудь серьезное сопротивление; несмотря на то, что в мятеже приняли участие люди с таким военно-пропагандистским опытом, как Лю-

дендорф[30]; несмотря на все это, к мятежникам присоединилось одно-единственное военное соединение — бригада Эрхарда3[1]. Прочие добровольческие корпуса оставались «верны правительству» — и, разумеется, позаботились о том, чтобы и эта провалившаяся попытка правого путча завершилась усмирением левых.

Это мрачная история, зато короткая. Когда однажды утром в субботу бригада Эрхарда промаршировала через Бранденбургские ворота, правительство сбежало из Берлина в безопасное место, не забыв, впрочем, призвать рабочих к всеобщей забастовке.

Фюрер путча, чиновник Министерства финансов, Вольфганг Капп, провозгласил создание национальной республики под черно-бело-красным флагом, но рабочие забастовали, армия осталась «верна правительству», новая администрация так и не смогла приступить к работе, и пять дней спустя Капп подал в отставку.

Правительство вернулось и призвало рабочих прекратить забастовку. Но те потребовали свою долю в победе: вслед за Каппом должны были уйти в отставку окончательно скомпрометировавшие себя министры, прежде всего пресловутый Носке, — в ответ на это требование правительство бросило против рабочих войска; и те вновь принялись за свою кровавую работу На западе Германии дело дошло до настоящих боев[32].

Годы спустя я слышал рассказ о тогдашней расправе от одного бывшего «добровольца». Не без некоторого добродушного сочувствия говорил он о жертвах, которые сотнями пали на поле боя или были «застрелены при попытке к бегству». «Это был цвет рабочей молодежи, — молвил он задумчиво и меланхолично; очевидно, такова была формула, под знаком которой события отпечатались в его мозгу — Это быгл цвет рабочей молодежи, — повторил он,—прекрасные, храбрыге парни, не то что в Мюнхене в девятнадцатом: там быгли славяне, евреи и уличная шантрапа. К ним я не испыгтывал ни капли сочувствия. Но в двадцатом, в Руре, это быгл действительно цвет рабочей молодежи. Многих из них мне очень, очень жалко. Но они же уперлись, они не оставили нам выбора, мы просто вынуждены были их расстрелять. Мы хотели дать им шанс. На допросах им говорили: „Ладно, вас ведь обманули, ввели в заблуждение, правда?" Тогда они орали: „Нет! Мы сами пошли! Долой предателей народа и убийц пролетариата!" Ну, тут уж ничего не поделаешь. Так что расстреливали. Пачками, дюжинами. Вечером наш полковник сказал нам, мол, так тяжело на сердце у него никогда не быгло. Да, это быгл цвет рабочей молодежи, те, что пали тогда в Рурской области в 1920-м».

Когда происходили все эти события, я ничего о них не знал. Это же было далеко в Рузской области; в Берлине все было куда менее драматично, бескровно, можно сказать, будничо-цивильно. После яростной стрельбы 1919 года март 1920-го был тих и зловещ. И то, что ровно ничего не происходило, а просто вся жизнь замерла, остановилась, как раз и было особенно зловещим. Странная революция. Расскажу о ней.

Это случилось в субботу В полдень в булочной я услышал: «Ну, теперь вернется император!» После полудня в школе — тогда мы часто занимались во вторую смену, половина здания была закрыта, из-за нехватки угля было невозможно протопить все помещение, школа работала в две смены — так вот, после полудня в школе были отменены все занятия, и мы играли на школьном дворе в «красных и патриотов», причем сложность заключалась в том, что никто не хотел быть «красным». Мы радовались жизни, хотя кое-что в ней показалось нам в тот день невероятным; все случилось так внезапно, что никто не запомнил деталей и подробностей происшедшего.

Впрочем, и потом никто не узнал деталей и подробностей. Вечером не вышло ни одной газеты, погасло электричество. На следующее утро выяснилось, что отключили водопровод. Прекратила работу почта. Остановился транспорт. Закрылись все лавки и магазины. Словом, остановилось, закрылось, перестало работать все.

В нашем районе на перекрестках стояли старые колонки, не связанные с водопроводом. Колонки переживали теперь свой звездный час: к ним выстраивались километровые очереди. Люди с кувшинами и ведрами запасались здесь водой; несколько крепких молодых парней качали воду. Потом мы осторожно шли по улице с полными ведрами, стараясь не пролить ни капли драгоценной влаги.

Кроме этого, как уже было сказано, не произошло ровным счетом ничего. В каком-то смысле произошло меньше, чем ничего: а именно не случилось даже того, что, как правило, случалось в революционные дни. Ни стрельбы, ни демонстраций, ни митингов, ни уличных дискуссий. Ни-че-го.

В понедельник опять открылась школа. Там все еще царило радостное удовлетворение, соединенное, конечно, с некоторым недоумением: уж очень странно и нелепо было все происходящее. Наш учитель физкультуры, очень «национально» настроенный (вообще все наши учителя были очень «национальны», но никто из них не был более «национален», чем физкультурник),—так вот, физкультурник принялся с жаром втолковывать нам: «Теперь-то вы почувствовали, что на штурвал государственного корабля

легла совсем другая рука». По правде говоря, никто из нас ничего подобного не заметил, и даже физкультурник твердил это все с таким жаром, лишь бы не расстраиваться, ведь он и сам ничего не заметил.

Из школы мы двинулись на Унтер ден Линден, потому что смутно чувствовали: в такие великие, патриотические дни надо быть на Унгер ден Линден. Кроме того, мы надеялись хоть что-то увидеть, хоть что-то узнать на главной улице города. Но на Унтер ден Лицден узнавать было нечего и смотреть было не на что. У совершенно напрасно приведенных в боевую готовность, расчехленных пулеметов, скучая, стояли несколько солдат. Никто и не собирался на них нападать. Все было чрезвычайно мирно, воскрес-но, празднично. Так воевала всеобщая стачка.

В следующие дни сделалось просто скучно. Очереди за водой у колонки, которые поначалу имели прелесть новизны, очень скоро сделались таким же тоскливым неудобством, как неработающие сортиры, отсутствие новостей, писем, нехватка еды, ежевечерняя непроглядная, кромешная тьма, в об-so

щем, вечное воскресенье, сверхвоскресенье. Томительная скука, и ничто от нее не избавляло — не происходило ничего национально-возбуждающего, никаких военных парадов, митингов, не слышно было речей, обращений «К моему народу», ничего, ну совершенно ничего. (Эх, если бы тогда было радио!) Один-единсгвенный раз на стенах появились листовки «Интервенции не будет-!». И этого, значит, не будет...

И вдруг, как гром среди ясного неба, новость: Капп подал в отставку. Точнее ничего нельзя было узнать, но на следующий день началась стрельба, так что стало понятно: старое доброе правительство вернулось. Кое-где заурчали, засвистели водопроводные трубы. Вновь открылась школа; учителя выглядели слегка пристыженными. Потом даже стали выходить газеты.

После Капповского путча у нас, мальчишек, стал угасать интерес к текущей политике. Все политические направления опозорились одинаково, так что эта область потеряла всякую привлекательность. «Беговой союз Старая Пруссия» самораспустился. У многих из нас появились новые интересы: филателия, фортепиано или театр. Лишь некоторые остались верны политике, и с самого начала я обратил внимание на любопытное обстоятельство: это были тупые, грубые и несимпатичные ребята. Теперь они вступили в настоящие политические организации, к примеру в Немецкий национальный союз молодежи или в Бисмарк-бунд[33] (гитлерюген-да тогда еще не было), очень скоро они стали приносить в школу кастеты,

резиновые дубинки, кистени и хвастаться ночными опасными приключениями, связанными с наклеиванием или со срыванием плакатов. Они начали говорить на особом жаргоне, чтобы выделяться среди одноклассников. Кроме того, они стали вовсе не по-товарищески обращаться с евреями, учившимися вместе с нами.

Вскоре после Капповского путча я увидел, как один из них во время очень скучного урока чертит в своей тетради одну и ту же весьма странную фигуру: ломаные линии, которые удивительным, даже гармоничным образом соединялись в симметричный орнамент-квадрат. Мне захотелось повторить рисунок. «Что это?» — спросил я тихонько, поскольку дело происходило на уроке, пусть и скучном. «Знак антисемитов,— прошептал он в телеграфном стиле. — Солдаты Эрхарда носили на касках. Значит: евреи — вон! Нужно знать». И он продолжил свои графические экзерсисы[34].

Так я познакомился со свастикой. От Капповского путча только она и осталась. В дальнейшем мне пришлось видеть этот знак значительно чаще.

9

Два года спустя политика вновь стала интересна благодаря одному-единственному человеку: Вальтеру Ратенаузз.

Никогда, ни до, ни после, немецкая республика не выдвигала подобного политика, способного так воздействовать на фантазию масс и молодежи. У Штреземана[3]з и Брюнингаз[7] период политической активности был длительнее, благодаря их политике два небольших по времени исторических отрезка все же приобрели яркие характерные черты, однако ни Штреземан, ни Брюнинг не обладали такой магией личности, какой обладал Вальтер Ра-тенау В этом смысле с ним можно сравнить только врага немецкой республики, Адольфа Гитлера, с одной существенной оговоркой: вокруг Гитлера давно уже работает хорошо организованная клака, так что сегодня едва ли можно отделить подлинное влияние личности от пропагандистского шарлатанства.

Во времена Ратенау еще не было принято говорить о политических «звездах», да и сам он ничего не делал специально для того, чтобы блистать на политическом небосклоне. Для меня он стал самым сильным примером того таинственного явления, которое наблюдается, когда в «общественную сферу» приходит «большой человек»: внезапный контакт с массой поверх всех и всяческих барьеров, всеобщее волнение и внимание, неожиданное напряжение, интерес к тому, что недавно было совсем не интересно: неизбежная, яростная пристрастность, когда без него не обойтись, но и его не обойдешь. Вокруг него складывается легенда: даже культ личности. Он вызывает любовь и ненависть. Все это совершенно непроизвольно. Совершенно неодолимо, почти бессознательно. Точно так же иррационально, неотразимо, необъяснимо действует магнит на кучу железных опилок.

Ратенау стал министром восстановления народного хозяйства, потом министром иностранных дел — и все сразу почувствовали: у нас опять есть политика. Когда он отправлялся на международную конференцию, то появлялось давно забытое гордое ощущение: там будет представлена Германия. Он заключил соглашение о «торговых поставках» с Пушером[38], он подписал договор о мире и сотрудничестве[39] с Чичериным[40]—и хотя мало кто понимал, что такое «торговые поставки», а текст русского договора с его дипломатическим формальным языком осилили и вовсе единицы, оба события обсуждались в продовольственных лавках, перед газетными стендами, а мы, гимназисты выпускных классов, случалось, отвешивали друг другу пощечины, если один из нас превозносил «гениальные документы», а другой обзывал их «еврейским предательством»[41].

Однако тут была не одна только политика. В иллюстрированных журналах можно было увидеть лицо Ратенау точно так же, как и лица других политиков, но если лица других забывались, то это впечатывалось в сознание: человек с черными, умными и печальными глазами. В его речах, помимо содержания, слышалась удивительная, буквально невыразимая интонация, в них звучали пророческие обвинения, обращения, увещевания. Многие (я в том числе) бросились читать его книги: и вновь мы почувствовали все тот же неясный, но патетический призыв; что-то такое, в чем были одновременно сила и уговоры, разумная требовательность и едва ли не обольщение. Одновременно: в этом и заключалось глубочайшее обаяние Ратенау. Он был одновременно рационалистом и мечтателем, скептиком и едва ли не верующим. Он разоблачал и вдохновлял. Самые смелые слова он выговаривал тишайшим, с интеллигентными запинками голосом.

Странным образом, но у Ратенау до сих пор нет фундаментального жизнеописания, которое он заслужил. Без всякого сомнения, он один из пяти, шести по-настоящему великих личностей нашего столетия. Он был аристократическим революционером, идеалистическим коммерсантом; евреем и немецким патриотом; немецким патриотом и либеральным космополитом; либеральным космополитом и строгим служителем закона (то есть, в единственно возможном, строгом смысле этого слова, он был евреем). Он был достаточно образован, чтобы быть выше образования; и был достаточно богат, чтобы быть выше богатства; он был достаточно светским человеком, чтобы быть выше светского общества. Чувствовалось, что, не будь он немецким министром иностранных дел в 1922 году, он был бы немецким философом в 1800 году, международным финансовым королем в 1850-м, великим рабби или анахоретом в средневековье. Опасным, причем уникальным и пугающим образом он соединял в себе несоединимое. Синтез многих культур и идейных течений у него стал не мыслью, не делом, но воплотился в его личность.

Меня могут опросить: неужели народный вождь может быть таким? Представьте себе, да! Масса — причем я говорю не о пролетариате, но о том анонимном коллективном существе, в которое все мы, бедные и богатые, в определенный, очень важный момент сливаемся, — эта масса наиболее сильно реагирует на то, что меньше всего на нее похоже.

Заурядность в паре с добросовестным отношением к делу могут принести политику популярность; но последняя любовь и последняя ненависть, обожествление и демонизация достаются только незаурядной личности; тому кто недостижим для массы, а выше он или ниже среднего уровня — не так важно. Уж что-что, а этот вывод я уверенно делаю из своего немецкого опыта. Ратенау и Гитлер как раз и были аномальными явлениями, которые до крайности возбудили фантазию немецкой народной массы: один —своей необъятной культурой, другой — своей необъятной пошлостью. Оба, и это главное, происходят из недоступных средней массе областей, из каких-то потусторонних миров. Один —из той сферы высшей духовности, где симпосион, пир культур трех тысячелетий и двух частей света творится; другой—из джунглей, из грязи и тьмы бульварной философии и бульварного чтива; из подземного, подпочвенного мира, где в мутном вареве роятся бесы мещанских чуланов, ночлежек, казарменных сортиров и застенков. Благодаря своей «потусторонности», оба, и Ратенау, и Гитлер, обладали настоящей магической, волшебной силой, безразличной к тому, какую политику каждый из них вел.

Трудно сказать, куда бы привела политика Ратенау Германию и Европу, если бы у него было время для ее полноценного осуществления. Времени у него не оказалось. Спустя полгода после начала осуществления своего политического курса он был убит.

Я уже писал о том, что Ратенау возбуждал в массе настоящую любовь и настоящую ненависть. Причем ненависть была дикой, иррациональной, чуждой какой бы то ни было дискуссии, первобытная ненависть. Такой ненависти со времен Ратенау удостоился только один немецкий политик—Гитлер. Понятно, что ненавистники Гитлера отличаются от ненавистников Ратенау не меньше, чем два этих человека отличаются друг от друга. «Забить эту свинью!»—таков был язык противников Ратенау И все же всех ошарашил простой и будничный газетный заголовок: «Убит министр иностранных дел Вальтер Ратенау!» Возникло такое чувство, словно почва уходит из-под ног, и чувство это усилилось до чрезвычайности, когда стало известно, как легко, без усилий, просто и буднично было совершено преступление.

Каждое утро в определенное время Ратенау отъезжал в открытом автомобиле от своего дома в министерство на Вильгелъмштрассе. Итак, однажды утром на тихой улице его поджидало другое авто, которое поехало следом за машиной министра, обогнало спокойно едущего Ратенау и — в момент обгона, трое пассажиров, совсем еще юнцы, вынули револьверы и почти в упор, в голову и в грудь, расстреляли министра иностранных дел Германской республики. После чего газанули и скрылись из виду. (Тетерь на месте покушения стоит памятный знак.)

Вот так просто все получилось. В известном смысле — колумбово яйцо. И произошло это у нас в Берлин-Груневальде, а не в Каракасе и не в Монтевидео. Можно было осмотреть место происшествия: обычная улица берлинского предместья, ничем не отличающаяся от десятков других улиц. Преступники, как это скоро узнали, были очень молоды, вроде нас, один из них был гимназистом[42]. На его месте вполне мог оказаться тот или другой мой одноклассник, еще вчера говоривший: «Забить эту свинью!» При всем возмущении, ярости, боли было нечто едва ли не комичное в том, с какой легкостью было совершено преступление: естественно, ужасно просто, мы в себя не могли прийти от этой само собой разумеющейся простоты. Выходило, что делать историю жутко, именно что жутко легко. Получалось, что будущее принадлежит не тем, кто, как Ратенау, прилагает немалые усилия для того, чтобы стать незаурядной личностью, а молодчикам, вроде Техова и Фишера, которые просто научились

хорошо водить автомобиль и хорошо стрелять.

Однако поначалу на первый план вышли совсем другие чувства — печаль, смешанная с яростным негодованием. Нет, не расстрел тысяч рабочих в Лихтенберге в 1919 году взбудоражил и возмутил народные массы, но убийство одного-единственного человека, который к тому же был капиталистом. Спустя несколько дней после смерти Ратенау все еще действовало волшебное обаяние его личности: в течение нескольких дней в Берлине царило то, чего я не видел никогда: настоящее революционное настроение. Без какого-либо приказа или принуждения на похороны пришли сотни тысяч людей. После похорон они не разошлись по домам, но нескончаемыми потоками молча, мрачно, угрожающе потянулись по улицам Берлина. Если бы в тот день был брошен лозунг покончить с теми, кто тогда именовались «реакционерами», но уже были по сути дела нацистами, с ними было бы покончено быстро, решительно и навсегда.

Но этого никто не потребовал. Потребовали другого: сохранять спокойствие, дисциплину и порядок. В течение нескольких недель правительство готовило «Закон о защите республики», предусматривающий за оскорбление министров наказание в виде кратковременного ареста. Закон вызвал всеобщие насмешки. Спустя несколько месяцев правительство безмолвно и тускло рухнуло, уступив место правым.

Последнее, что оставила короткая эпоха Ратенау в качестве послевкусия, было повторение урока, полученного в 1918 и 1919 году: все, за что берутся левые, с треском проваливается.

10

А потом настал 1923 год. Наверное, этот фантастический год оставил в сегодняшних немцах те черты, что непонятны и жутки всему остальному человечеству: те черты, что глубоко чужды настоящему «немецкому национальному характеру»: безудержная, циничная фантазия, нигилистическая радость от «невозможного» и желание совершить это «невозможное» во имя него самого; динамичность, ставшая самоцелью. Целому немецкому поколению тогда был удален очень важный душевный орган, придающий человеку устойчивость, равновесие, а также, разумеется, и тяжесть. Он проявляет себя как совесть, разум, житейская мудрость, верность

принципам, мораль или страх божий. Целое поколение научилось — или вообразило, что научилось — идти по жизни без тяжести, без балласта. Предыдущие годы были хорошей школой нигилизма. В 1923 году немцы поступили в академию нигилизма.

Ни один народ мира не испытал того, что соответствовало бы немецкому 1923 году. Да, мировую войну пережили все

европейские народы, многие пережили революции, социальные кризисы, забастовки, перераспределение капиталов, обесценивание денег. Но нигде не было такой фантастической, умопомрачительной, дикой инфляции, какая разразилась в Германии в 1923 году. Ни у кого не было этого гигантского, карнавального танца смерти, этих нескончаемых, кровавогротескных сатурналий, когда были обесценены не только деньги, но и все человеческие ценности. 1923-й подготовил Германию не специально к нацизму; но вообще к любой фантастической авантюре. Психологические и политические корни нацизма, как мы видели, лежали много глубже, но в 1923 году возникло то, что свойственно его сегодняшнему безумию: холодное бешенство, заносчивая, неудержимая, слепая решимость совершать невозможные поступки под лозунгами: «право есть то, что нам выгодно» и «слова „невозможно[11] не существует». Без сомнения, опыт этого года лежит за пределами того, что народ может вынести без душевных травм. Я вздрагиваю от ужаса при мысли о том, что всей Европе после войны, которая уже надвигается, возможно, предстоит пережить свой 1923 год в огромных-мас-бо

штабах, если мир будут восстанавливать не слишком умные люди.

1923 год начался с патриотического воодушевления, почти что возрождения в духе 1914-го. Пуанкаре[43] оккупировал Рурскую область44 правительство призвало к пассивному сопротивлению, и во всем немецком населении чувство национального унижения и смертельной опасности — куда более искреннее и серьезное, чем в 1914 году, — преодолело давно копившиеся усталость и разочарование. Народ «поднялся», в нем стало ощутимо страстное душевное напряжение, в нем проявилась величайшая готовность —к чему? К жертве? К борьбе? Вот это было не совсем ясно. Политики не ожидали ничего подобного от народа. ««Рурская война» войной-то как раз и не была. Никого не призвали в армию. Военных сводок не печатали. Воинственный запал растрачивался попусту. Повсюду гремели митинги, в тон и такт клятве Вильгельма Телля на горе Рютли[15].

Во всех этих жестах и интонациях стало сквозить что-то донельзя комичное, постыдное, ибо ухали-то эти жесты и интонации в абсолютную пустоту. За пределами Рурской области не происходило ровным счетом ничего. В самом же Руре шла оплаченная забастовка. Платили не только бастующим рабочим, но и их работодателям—причем, как очень скоро стало известно, слишком хорошо платили. Патриотизм — или компенсация упущенной выгоды? Спустя несколько месяцев в ««Рурской войне», начавшейся столь многообещающе с клятвы Телля на горе

Рютли, стал ощутим запах коррупции. Впрочем, очень скоро эта война вообще перестала кого-либо волновать. Теперь никого не заботила Рурская область, потому что гораздо более безумные вещи стали происходить дома.

В том году читатели газет вновь получили возможность заняться захватывающей игрой с цифрами, наподобие той, в какую они играли во время войны с данными о численности военнопленных или военных трофеев. На сей раз цифры были связаны не с военными событиями, хотя год начался воинственно, а с совершенно неинтересными, ежедневными, биржевыми делами, а именно — с курсом доллара. Колебания курса доллара были барометром, по которому со смесью страха и возбуждения следили за падением марки. Можно было проследить еще и многое другое. Чем выше поднимался курс доллара, тем безогляднее мы уносились в царство фантазии.

Вообще-то, в обесценивании марки не было ничего нового. Уже в 1920 году первая сигарета, которую я тайком выкурил, стоила 50 пфеннигов. До конца 1922 года цены повсеместно выросли в десять, а то и в сто раз по сравнению с довоенным уровнем, и доллар теперь стоил около 500 марок. Но процесс был постоянным и уравновешенным, зарплата, жалованье и цены поднимались в общем и целом в равной мере. Было немножко неудобно возиться с большими цифрами в быту при оплате, но не так уж и необычно. Говорили только об «очередном повышении цен», не более. В те годы другое тревожило нас куда больше.

А тут марка будто взбесилась. Вскоре после ««?ур-ской войны» доллар стал стоить 20 000, подержал-

ся некоторое время на этой отметке, взобрался до 40 000, еще чуточку помедлил и поскакал вверх как по лестнице, перепрыгивая через десятки и сотни тысяч. Никто точно не знал, что случилось. Протирая глаза от изумления, мы следили за ростом курса, словно это был какой-то невиданный природный феномен. Доллар стал нашей ежедневной темой, а потом мы огляделись вокруг и осознали, что взлет курса доллара разрушил всю нашу повседневную жизнь.

Те, у кого были вклады в Сбербанке, ипотека или вложения в солидные кредитные организации, увидели, как все это исчезло в мгновение ока. Очень скоро не осталось ничего ни от грошей в сбербанках, ни от огромных состояний. Все растаяло. Многие переносили свои вклады из одного банка в другой, чтобы избежать краха. Очень скоро сделалось ясно: случилось нечто, уничтожившее все состояния и направившее мысли людей на куда более насущные проблемы.

Цены на продукты начали неистовый бег, поскольку торговцы

бросились их повышать по пятам за возрастающим долларом. Фунт картофеля, который утром стоил 50 000 марок, вечером продавали уже за 100 000; зарплаты в 65 000 марок, принесенной домой в пятницу, во вторник не хватало на пачку сигарет.

Что должно было произойти и произошло вслед за этим? Внезапно люди открыли островок стабильности: акции. Это была единственная форма денежных вложений, которая хоть как-то сдерживала скорость обесценивания. Не регулярно и не все

в равной мере, но акции обесценивались не в темпе спринтерского бега, но пешеходного шага. Итак, люди бросились покупать акции. Акционерами сделались все: и мелкий чиновник, и государственный служащий, и рабочий. Акциями расплачивались за ежедневные покупки. В дни выплат жалований и зарплат начинался массовый штурм банков. Курс акций взмывал вверх, как ракета. Банки пухли от вложений. Неизвестные прежде банки вырастали как грибы после дождя и получали гигантский навар. Ежедневные биржевые сводки жадно читали все, и стар и млад. Время от времени падал тот или иной курс акций, и с криками боли и отчаяния рушились жизни тысяч и тысяч. Во всех лавках, школах, на всех предприятиях шептали друг другу какие акции сегодня надежней.

Хуже всего пришлось старикам и людям непрактичным. Многие были доведены до нищеты, многие до самоубийства. Молодым, гибким сложившаяся ситуация пошла на пользу. В одночасье они становились свободны, богаты, независимы. Сложилось такое положение, при котором инертность и опора на прежний жизненный опыт карались голодом и смертью, тогда как быстрота реакции и умение правильно оценить мгновенно изменяющееся положение дел вознаграждались внезапным чудовищным богатством. Вперед вырвались двадцатилетние директора банков и гимназисты, следовавшие советам своих чуть более старших приятелей. Они повязывали шикарные оскар-уайльдовские галстуки, устраивали праздники с девочками и шампанским и поддерживали своих разорившихся отцов.

Посреди боли, отчаяния, нищеты расцвели лихорадочная, горячечная юность, похоть и дух карнавала. Деньги теперь были у молодых, а не у стариков. Изменилась сама природа денег — они были ценными всего только несколько часов, и потому деньги швыряли, деньги тратили как можно быстрее и совсем не на то, на что тратят старики.

Пооткрывалось бесчисленное количество баров и ночных клубов. Молодые пары фланировали по кварталам развлечений, как в фильмах про жизнь высшего общества. Каждый жаждал

заняться любовью в безумной похотливой горячке. Сама любовь приобрела инфляционный характер. Надо было пользоваться открывшимися возможностями, а массы должны были их предоставлять.

Был открыт «новый реализм» любви. То был прорыв беззаботной, резкой, радостной легкости жизни. Типичными сделались любовные приключения, развивающиеся с немыслимой скоростью без каких-либо околичностей. Молодежь, которая в те годы училась любви, перепрыгивала романтику и попадала в объятия цинизма. Ни я, ни мои ровесники не принадлежали к этому поколению. Мы были 15-16-летними, то есть моложе на два-три года. Позднее, выступая в роли любовников с 20 марками в кармане, мы частенько завидовали тем, кто был старше и в свое время начинал любовные игры, имея другие шансы. А в 1923 году мы еще только подглядывали в замочную скважину, но и этого хватало, чтобы в нос шибало запахом того времени. Нам случалось попадать на этот праздник, где творилось веселое безумие; где правила бал рано созревшая, изнуряющая душу и тело распущенность; где пили ерш из множества коктейлей; нам доводилось выслушивать истории от юнцов чуть постарше и получать внезапный, жаркий поцелуй смело накрашенной девчонки.

Была и другая сторона медали. Количество нищих увеличивалось с каждым днем. С каждым днем печаталось все больше сообщений о самоубийствах. Рекламные тумбы пестрели объявлениями «Взыскивается!», поскольку грабежи и воровство выросли в немыслимых масштабах. Однажды я увидел старую женщину — а лучше бы сказать, старую даму, — сидевшую на скамейке в парке необычно прямо и слишком неподвижно. Вокруг нее собралась небольшая толпа. «Умерла»,—сказал один прохожий. «От голода», — объяснил другой. Это меня не особенно удивило. Дома мы тоже голодали.

Да, мой отец был из тех людей, которые не понимали наступившее время или — скорее — не хотели понимать. Точно так же он когда-то отказывался понимать войну. Он прятался от наступивших времен за лозунгом «Прусский чиновник не занимается акциями!» и не покупал акций. Тогда я считал это вопиющими проявлением узколобости, плохо гармонировавшей с характером моего отца, ведь он был одним из умнейших людей, которых я когда-либо знал. Сегодня я лучше его понимаю. Сегодня я могу хоть и задним числом разделить отвращение, с которым отец отвергал «все эти современные безобразия»; сегодня я способен почувствовать непримиримое отвращение отца, скрывавшееся за плоскими объяснениями вроде: нельзя делать

того, чего делать нельзя. К сожалению, практическое применение этого высокого принципа порой вырождалось в фарс. Этот фарс мог бы сделаться настоящей трагедией, если бы моя мама не придумала способ, как приспособиться к постоянно меняющейся ситуации.

В результате, вот как выглядела со стороны жизнь в семье высокопоставленного прусского чиновника. Тридцать первого или первого числа каждого месяца отец получал свое ежемесячное жалованье, на которое мы только и жили — банковские счета и вклады в сберкассу давно обесценились. Каков был реальный размер этого жалованья, сказать трудно; он колебался от месяца к месяцу; один раз сто миллионов были внушительной суммой, в другой— полмиллиарда оказывались мелочью на карманные расходы. В любом случае, мой отец старался как можно скорее купить проездную карточку на метро, чтобы, по крайней мере, иметь возможность целый месяц ездить на работу и домой, хотя поездки на метро означали длиннющий крюк и изрядную потˆ рю времени. Затем откладывались деньги на квартплату и шоду а после полудня семейство отправлялось к парикмахеру. Все остальное выдавалось моей маме — и на следующий день вся семья (за исключением отца) и служанка поднимались в четыре или в пять утра и ехали на такси на Центральный рынок. Там организовывалась мощная закупка, и в течение часа месячное жалованье действительного статского советника (оберрегирунгсрата) тратилось на приобретение долгохранящихся продуктов. Гигантские сыры, круги твердокопченых колбас, мешки картошки,—все это грузилось в такси. Если в машине не хватало места, служанка и кто-то из нас брали ручную тележку и на ней везли продукты домой. Около восьми часов, еще до начала школьных занятий, мы возвращались с Центрального рынка более или менее готовые к ежемесячной осаде. И на этом всё! Целый месяц у нас вообще не было денег. Знакомый пекарь давал нам хлеб в кредит. А так мы жили на картошке, копченостях, консервах и бульонных кубиках. Порой бывали доплаты, но чаще оказывалось, что мы беднее бедных. Нам не хватало денег даже на трамвайный билет или на газету. Ума не приложу, как бы наша семья выстояла, если бы на нас свалилось какое-нибудь несчастье: тяжелая болезнь или что-нибудь в этом роде.

Для моих родителей то было тяжелое, несчастное время. Мне оно казалось скорее странным, чем неприятным. Из-за того что отец добирался до дому долгим, кружным путем, большую часть своего времени он проводил вне дома. Благодаря этому я получил массу часов абсолютной, бесконтрольной свободы. Правда, не

было карманных денег, но мои старшие школьные товарищи оказались богаты в буквальном смысле этого слова, их нимало не затрудняло пригласить меня на какой-нибудь свой безумный праздник. Я культивировал в себе равнодушие к бедности у нас дома и к богатству моих товарищей. Я не расстраивался из-за первого и не завидовал второму. Просто находил и то, и другое странным и примечательным. На самом деле, я тогда жил только частью моего «Я» в настоящем, каким бы волнующим и соблазнительным оно ни старалось быть. Мой ум гораздо больше волновал мир книг, в который я окунулся; вот этот мир поглотил большую часть моего существа и существования. Я читал «Буудденброков» и «Тонио Крёгера», «Нильса Люне»[46] и «Мальте Лауридса Бригге»[47], стихи Верлена, раннего Рильке, Стефана Георге4[8] и Гофмансталя[49], «1ˆоябрьˆ» Флобераˆ3 и «Дориана Грея» Уайльда, «Флейты и кинжалы» Генриха Манна[51].

Я превращался в кого-то, подобного героям этих книг. Я делался эдаким уставшим от мирской суеты, декаденствующим искателем красоты в духе fin de siecle. Несколько обтерханный, диковато выглядящий шестнадцатилетний подросток, выросший из своего костюма, плохо подстриженный, я бродил по горячечным, очумелым улицам инфляционного Берлина, воображая себя то манновским патрицием, то уайльдовским денди. Этому самоощущению нимало не противоречило то, что утром того же дня я вместе со служанкой нагружал ручную тележку кругами сыра и мешками картошки.

Были ли эти чувства совершенно не правомерны? Были ли они вызваны только чтением? Понятно, что шестнадцатилетний подросток с осени до весны вообще склонен к усталости, пессимизму, скуке и меланхолии, но разве не пережили мы—я имею в виду себя и мне подобных людей—уже достаточно, чтобы глядеть на мир устало, скептически, равнодушно, слегка насмешливо и в самих себе находить черты Томаса Будденброка или Тонио Крёгера?

В нашем недавнем прошлом была великая война, то бишь большая военная игра, и шок, вызванный ее итогом, а также сильно разочаровавшее многих политическое ученичество во время революции. Теперь же мы были зрителями и участниками ежедневного спектакля краха всех житейских правил, банкротства стариков с их житейским опытом. Мы отдали дань целому ряду противоречивых верований и убеждений. Некоторое время мы были пацифистами, потом националистами, еще позднее испытали влияние марксизма (феномен, схожий с сексуальным просвещением: и марксизм, и сексуальное просвещение были неофициальны, можно даже сказать, нелегальны; и марксизм, и

сексуальное просвещение использовали шоковые методы воспитания и совершали одну и ту же ошибку: чрезвычайно важную часть, отвергаемую общественной моралью, считать целым — любовь в одном случае, историю в другом). Гибель Ратенау преподала нам жестокий урок, показав, что даже великий человек смертен, а ««рурская война» обучила нас тому, что и благородные намерения, и сомнительные делишки общество «проглатывает» одинаково легко. Было ли хоть что-нибудь, что могло вдохновить наше поколение? Ведь вдохновение и составляет для юности прелесть жизни. Ничего не осталось, кроме любования вечной красотой, пылающей в стихах Георге и Гофмансталя: ничего, кроме высокомерного скептицизма и, конечно, любовных грез.

До той поры ни одна девушка еще не вызвала у меня любви, зато я подружился с юношей, который разделял мои идеалы и книжные пристрастия. Это были те почти патологические, эфирные, робкие, страстные отношения, на которые способны только юноши и то лишь до той поры, пока в их жизнь по-настоящему не вошли девушки. Способность к таким отношениям увядает довольно быстро. Мы полюбили часами шляться после уроков по улицам; узнав, как изменился курс доллара, обменявшись небрежными замечаниями о политическом положении, мы тут же про все это забывали и принимались взахлеб обсуждать книги. Мы взяли себе за правило на каждой прогулке основательно анализировать новую, только что прочитанную книгу. Полные пугливого возбуждения, мы робко прощупывали души друг друга. Вокруг бушевала лихорадка инфляции, общество разламывалось с почти физической осязаемостью, немецкое государство на глазах превращалось в руины, и все было лишь фоном для наших глубоких рассуждений, ну, скажем, о природе гения, о том, допустимы ли для гения моральная слабость и декадентство.

И что это был за фон — непредставимо-незабываемый!

В августе доллар стоил миллион марок. Мы прочли об этом с легким замиранием сердца, как если бы речь шла о невиданном спортивном рекорде. Спустя две недели этот курс вызывал лишь усмешку, ибо доллар, подзарядившись на миллионной отметке новой энергией, увеличил темп раз в десять и быстро дошагал до ста миллионов, а затем и до миллиарда. В сентябре миллион марок уже ничего не стоил, счет шел на миллиарды. В конце октября появился триллион. Потом произошло ужасное. Рейхсбанк прекратил печатать банкноты. Купюры давно отстали от стремительно растущего доллара, не поспевали и за ростом цен—10 миллионов? 100 миллионов?—доллар и очередное

повышение цен обгоняли друг друга. И наконец не стало банкнот, которые могли бы служить средством платежа. На несколько дней вообще прекратилась всякая торговля. В беднейших районах города люди, лишенные каких бы то ни было платежных средств, пустили в ход кулаки и принялись грабить бакалейные лавки. На некоторое время в воздухе вновь остро запахло революцией.

В середине августа в результате диких беспорядков ушло в отставку правительство. Чуть позднее окончилась «Грфская война». Мы и думать о ней забыли. А ведь совсем недавно мы клялись: в ответ на оккупацию Рура все немцы станут единым братским народом! Теперь мы ожидали падения государства, распада империи—словом, какого-нибудь ужасного политического события, которое соответствовало бы передрягам в нашей частной, личной жизни. Никогда в Германии не рождалось столько слухов: Рейнская область отделилась, отделилась Бавария, вернулся император, началась французская интервенция. Политические «союзы», как левые, так и правые, годами находившиеся в спячке, очнулись и развили бешеную деятельность. В лесах под Берлином «союзники»[52] тренировали свои боевые отряды. Просочились слухи о «черном рейхсвере»[53], со дня на день ожидали переворота.

Было трудно отличить возможное от невозможного. Рейнская республика[54] и впрямь отделилась от Германии, правда, просуществовала она всего несколько дней. В Саксонии на несколько недель установилась коммунистическая власть[55], против которой был брошен рейхсвер. И наконец, в один прекрасный день газеты объявили о том, что гарнизон города Кюсгрина двинулся в «поход на Берлин»[56].

В это время получил широкое распространение лозунг: «Предатели будут казнены судом Фемы»5?. К полицейским объявлениям на газетных тумбах о кражах прибавились объявления об убитых или пропавших без вести. Люди исчезали десятками. Почти у каждого немца в те времена были те или иные отношения с теми или иными политическими «союзами». Спустя несколько лет останки исчезнувших людей обнаруживали в лесах под Берлином. В самих «союзах» сделалось обыкновением устранять ненадежных или подозрительных «товарищей», а трупы где-нибудь закапывать.

Е<сли до нас доходили подобные слухи, они не казались столь невероятными, какими могли бы показаться в нормальные, «цивилизованные» времена. Настроение повсюду сделалось апокалиптическим. В Берлин сотнями устремились «спасители», люди с длинными патлами, во власяницах; «спасители» заявляли, что посланы Богом для спасения мира, и эта миссия их самих

худо-бедно кормила. Самым успешным из всех «избавителей-спасителей» был некий Хойзер^, использовавший и рекламные плакаты, и массовые собрания, имевший массу приверженцев. Его мюнхенским коллегой был, согласно газетам, некий Гитлер. Однако он отличался от Хойзера чрезвычайной грубостью речей, доходящей до крайности, до небывало жутких угроз и неприкрытой жестокости. Если Гитлер обещал достичь тысячелетнего рейха массовыми убийствами евреев, то в Тюрингии объявился еще один тель» — Ламберти, который намеревался войти в тысячелетний рейх с помощью народных танцев, песен и прыжков. У каждого «спасителя» был свой собственный стиль. Ничему и никому уже не удивлялись; удивление было забыто давным-давно.

Мюнхенский Хойзер, тот, что звался Гитлером, два дня подряд не исчезал с первых полос газет благодаря своему вполне фантастическому предприятию: попытке организовать революцию в пивном кабаке. Революционный марш был прерван залпом полицейских. Не успели революционеры выбраться из пивной, как полицейские открыли огонь — этим и был положен конец их революции[59]. Однако целый день многие полагали, что это и есть с вожделением ожидавшийся переворот. Наш учитель греческого, ведомый не таким уж неверным инстинктом, когда услышал эту новость, радостно предсказал нам: «Через год-другой вы тоже станете солдатами». И разве то, что мюнхенская авантюра вообще могла состояться, не быгло интереснее, чем ее провал? «Спасители» тогда несомненно имели шансы1 на удачу. В то время быгло возможно все. Доллар стоил триллион рейхсмарок. До рая быгло рукой подать.

А потом произошло нечто странное. Вдруг пронесся слух, из уст в уста передавалась сказка: скоро опять будут печатать деньги «нормальной ценности», и чуть позже это стало действительностью.

Появились маленькие, отвратительные, серо-зеленые бумажки с надписью «Rentenmark» («рентная марка»)[60]. Когда ими расплачивались в первый раз, то смотрели, как бы чего не стряслось. Но не происходило ничего особенного. Рентные марки принимались к оплате. У них была фиксированная стоимость— один триллион. То же самое происходило на следующий день, и два дня спустя, и в другие дни. Невероятно!

Доллар перестал расти. И акции тоже. Но если их превращали в рентные марки, гляди-ка!—акции оставались обычным платежным средством. Стало быть, никто ничего не мог сохранить и приумножить. Однако внезапно зарплата и жалованье стали выплачиваться в рентных марках, а чуть позднее

— о чудо из чудес! — появились даже пфенниги, круглые, блестящие монетки. Можно было позвенеть ими в карманах, но, помимо этого, у них была определенная стоимость. В четверг можно было что-то купить на деньги, которые остались от прошлой пятницы. Мир был полон неожиданностей.

За несколько недель до этого канцлером стал Штреземан. Политика в один миг сделалась куда спокойнее. Больше никто не говорил о распаде страны. Рыча и огрызаясь, уползли спать в свои берлоги политические «союзы». Многие из их участников покинули ряды экстремистов. Больше не появлялось сообщений об исчезновениях людей. Из городов пропали «спасители». Вся политика свелась к одному-единсгвенному спору: кто изобрел рентную марку? Националисты утверждали: это был Хельферих[61], депутат рейхстага от консерваторов и бывший министр кайзеровского правительства. Это горячо оспаривалось левыми, они заявляли, что изобретатель спасительной марки — надежный демократ и убежденный республиканец доктор Шахт[62]. То были дни после потопа. Все потеряно, зато вода пошла на убыль. Старики еще не могли талдычить про свой жизненный опыт, но юнцы уже крепко получили по носу. Двадцатилетним директорам банков вновь пришлось искать себе места референтов и секретарей, а гимназистам — удовольствоваться двадцатью марками на карманные расходы. Конечно, были и «жертвы финансовой стабилизации», все еще случались самоубийства. Но гораздо больше было тех, кто испуганно выглядывал из своих норок и неуверенно спрашивал, а верно ли, что сейчас снова можно жить?

Да, в воздухе было ощутимо похмелье, но настало и определенное облегчение. На Рождество весь Берлин превратился в гигантскую рождественскую ярмарку. Все стоило десять пфеннигов, и каждый покупал хлопушки, марципановых зверей и прочие детские игрушки только для того, чтобы удостовериться: на десять пфеннигов можно что-то купить. И еще, наверное, чтобы позабыть как дурной сон последний год, да и вообще последние десять лет и снова почувствовать себя ребенком.

Над всеми прилавками висели плакаты: «Цены, как до войны». Жизнь наконец стала походить на мирную жизнь.

11

Да такой она, собственно говоря, и была. Единственное по-настоящему мирное время, которое пережило мое поколение в Германии, это—шесть лет, с 1924 по 1929 год, когда Штреземан руководил внешней политикой Германии. «Эпоха Штреземана».

Вероятно, о политике можно сказать, как и о женщине: лучше других та, что меньше болтает. Если так, то политика

Штфеземана быгла выдающейся политикой. В его время почти не велись политические дискуссии. О политике немного спорили в первые два, три года: ликвидация последствий инфляции, план Дауэса[63], Локарно[64], Туари[65], вступление в Лигу Нацийбб — вот события, по поводу которых дискутировали, но... не шли друг на друга с кулаками. Впервые за многие годы1 политика стала в Германии чем-то таким, из-за чего не ломали копья. •

А после 1926 года в политике и вовсе не нашлось ничего достойного обсуждения. Газетлики искали материал для броских заголовков в других странах.

Не быгло ничего нового в Германии, все быгло в порядке, все шло своим чередом. Время от времени случались перемены в правительстве: у власти ока-зыгвались то правые партии, то левые. Больших различий между ними мыг не замечали. Министр иностранных дел во всех правительствах быгл один и тот же: Штреземан. Это означало: мир, никаких кризисов, business as usual[3][67].

В страну пришли деньги и деньги не обесценивались, дела шли хорошо, старики вытащили из чуланов свой жизненный опыт, как следует почистили его и выгставили на всеобщее обозрение, будто бы1 этот опыт никогда не падал в цене. Последние десять лет забылись словно дурной сон. Царство небесное вновь быгло далеко, далеко, революционеры перестали пользоваться спросом. В общественной сфере требовались только порядочные чиновники-управленцы, в частной—умелые дельцы. Во всем чувствовалась разумная мера свободы, покоя, порядка и благожелательного либерализма. Хорошие зарплаты, хорошие продукты и немного общественной скуки. Каждому немцу было возвращено право жить своей частной жизнью. Каждому со всей сердечностью быгло предложено обустраивать свою личную жизнь по своему вкусу и быгть счастливым на свой манер.

Однако тут-то и произошло нечто странное—я думаю, что это «странное» быгло одним из фундаментальнейших политических событий нашего времени, хотя его и не заметила ни одна из газет: новыге возможности остались невостребованными, на них почти не откликнулись. Никто не захотел ни личного счастья, ни приватной, частной жизни. Выяснилось, что целое поколение в Германии просто не знает, что делать с подарком под названием ««свободная, независимая, частная жизнь».

Поколение немцев, родившихся в 1890-е и 1900-е годы, было приучено к тому, что все содержание жизни, весь материал для глубоких эмоций, любви и ненависти, радости и печали, любые сенсации, любые раздражения души и нервов можно получать, так сказать, даром в общественной сфере—пусть даже вместе с

бедностью, голодом, смертью, смятением и опасностью. И когда этот источник иссяк, немцы оказались в растерянности; их жизнь обеднилась; они стали словно бы ограблены и почувствовали разочарование. Немцам стало скучно. Немцы так и не научились жить своей жизнью; не научились делать свою маленькую, частную, личную жизнь великой, прекрасной, напряженной; не научились наслаждаться этой жизнью и делать ее интересной. Поэтому они восприняли спад социального напряжения и возвращение личной свободы не как дар, но как потерю. Немцы заскучали; со скуки в их головы начали приходить идиотские идеи; немцы сделались угрюмо-ворчливы — в конце концов, они чуть ли не с жадностью стали ждать первой же заминки, первой же оплошности или происшествия, которые позволили бы послать к чертям мирную жизнь и ринуться в новую коллективную авантюру.

Точности ради — а тогдашние обстоятельства требуют точности, поскольку обстоятельства эти— ключ к целой исторической эпохе, в которой мы все оказались, — итак, точности ради упомшу что далеко не каждый из молодого поколения Германии реагировал на изменившуюся обстановку подобным образом. Были и такие, кто в это время неумело и запоздало бросился (если можно так выразиться) учиться жить, пытался найти вкус и смысл в собственном, частном, личном существовании, успешно отвыкал от сивухи военных и революционных игр, чтобы сделаться наконец личностью. Именно тогда совершенно незаметно, исподволь, не привлекая ничьего внимания, наметилась чудовищная трещина, разделившая впоследствии весь немецкий народ на нацистов и ненацистов.

Мимоходом я уже упомянул то, что способность к личной жизни и личному счастью у немцев развита слабее, чем у других народов. Позднее во Франции и в Англии я с удивлением и некоторой завистью наблюдал, какое неувядающее счастье и какой неиссякаемый источник удовольствий находит француз в остроумной своей гастрономии, в прекрасном винопитии, искусстве словесных баталий и языческой, изящно культивируемой любви; англичанин —в уходе за своим садом, своими животными, в своих многочисленных, столь же ребяческих, сколь и серьезных, играх и хобби. У типичного немца ничего подобного нет. Только образованный слой — не такой уж маленький, но, естественно, составляющий меньшинство нации — находил и находит аналогичным образом радости жизни в книгах и музыке, собственных мыслях и выработке своего «мировоззрения». Обмен идеями, неспешная, интеллектуальная беседа за бокалом вина; верная, несколько сентиментальная,

тщательно хранимая и пестуемая дружба и, не забудем, очень сердечная, богатая внутренним содержанием семейная жизнь— все эти блага процветали в этом кругу в образованном слое. Почти все это распалось и развалилось в Германии в десятилетие с 1914 по 1924 год, так что молодежь росла вне твердых, неизменных обычаев, привычек и традиций.

Вне круга образованных людей в Германии всегда существовала и существует огромная опасность для жизни: пустота и скука. Стоит, наверное, исключить кое-какие пограничные области: Баварию, Рейнские земли—здесь картину оживляет южная природа, романтика, юмор. Огромным равнинам Северной и Восточной Германии, ее бесцветным городам, с их прилежным, трудолюбивым, соблюдающим обязательства населением постоянно угрожала и угрожает тупость, horror vacui[4] и жажда «избавления» от этого ужаса при помощи алкоголя, суеверия или, еще того лучше, при помощи массового психоза, заливающего всё и вся своими волнами.

Та ситуация, что в Германии только меньшинство (оно не совпадает ни с аристократией, ни с буржуазией) хоть что-то понимает в жизни и догадывается, как ею распорядиться,— кстати, в этом причина того, что Германия в принципе не приспособлена к демократическому образу правления, — так вот, эта ситуация из-за событий, происходивших в стране с 1914 по 1924 год, приобрела опасную остроту. Старшее поколение растеряло свои идеалы, оно мечтало уйти на покой и' с надеждой поглядывало на «молодежь», льстило юнцам и ждало от них чудес. Сама же молодежь и знать ничего не хотела, кроме общественных беспорядков, сенсаций, анархии и опасного обаяния безответственных игр с большими цифрами. Молодежь только ждала момента, чтобы повторить самой все, что ей показали в 1914-1924 годах, но с большим размахом. Молодежь считала всю частную, личную жизнь «скучной», «бюргерской», «позавчерашней». Народные массы точно так же привыкли к сенсациям и беспорядкам, а кроме того, ослабло и пошатнулось их последнее великое суеверие, педантичная, ортодоксальная вера в волшебную силу всезнающего святого Маркса и неизбежность предреченного им механистического прогресса.

Вот так под спудом покоя все было подготовлено к тому, чтобы разразилось страшное бедствие.

Однако на поверхности, в зримом публичном пространстве царил золотой мир, штиль, порядок, благожелательность, добрая воля. Даже предвестники грядущей беды, казалось, прекрасно вписывались в общую благостную картину.

Одной из таких предвестниц несчастья, которую вовсе не распознали, а, напротив, всячески приветствовали и всемерно поощряли, была спортивная мания, охватившая в те годы немецкую молодежь.

В1924-1926 годах Германия стремительно превращалась в спортивную сверхдержаву Никогда прежде Германия не была спортивной страной; никогда Германия не была изобретательна в спорте, как Англия или Америка, да и сам дух спорта, это азартное погружение в мир фантазии, живущий по собственным правилам и законам, был чужд душевной организации немцев. Однако в те годы число участников спортивных клубов и зрителей на спортивных состязаниях увеличилось раз в десять. Боксеры и бегуны сделались народными героями, и двадцатилетние парни забивали себе головы результатами состязаний, именами и той загадочной цифирью, в которую на газетных страницах превращались совершенно определенные успехи в быстроте и ловкости.

То было последнее массовое безумие в Германии, которому я поддался. В течение двух лет моя духовная жизнь не развивалась, я, стиснув зубы, тренировался в беге на средние и длинные дистанции. Я готов был заложить душу дьяволу — лишь бы хоть разок пробежать 800 метров менее чем за две минуты. Я ходил на каждый спортивный праздник, я знал каждого бегуна и лучший результат, который он показал на дистанции, и, уж конечно, в голове у меня был полный перечень немецких и мировых рекордов, который я мог без запинки отбарабанить, разбуди меня кто среди ночи. Спортивные отчеты заняли в моей жизни такое же место, какое десять лет назад занимали фронтовые сводки. Если тогда я -бредил численностью трофеев и военнопленных, то теперь рекордами и спринтерскими показателями. «Хубен[68] пробежал стометровку за 10,6 секунды» — это известие будило во мне те же чувства, что в свое время ««20 000 русских взято в плен», а «Пеюьтцерб[9] побил мировой рекорд на соревнованиях в Англии» равнялось по своей значимости таким сообщениям (которых, увы, во время войны мы так и не дождались), как, к примеру, «Париж взят» или ««Анлия просит мира». Дни и ночи напролет я мечтал стать таким, как Хубен или Пельтцер. Я не пропускал ни одного спортивного состязания. Я тренировался три раза в неделю, бросил курить и делал зарядку перед тем, как лечь спать.

И вновь чувствовал, какое огромное счастье быть в нерушимом единстве с тысячами, десятками тысяч... со всеми! Не было ни одного сверстника, сколь угодно далекого от меня, необразованного, несимпатичного, с кем я не мог бы говорить в

первую же встречу душевно, сердечно, часами — разумеется, о спорте. У всех нас в голове вертелись одни и те же цифры. Само собой, все думали об одном и том же. Это было прекрасно, почти как в войну Снова шла большая игра. Мы понимали друг друга с полуслова. Нашей духовной пищей были цифры, в душе ни на минуту не ослабевало напряженное ожидание: сможет ли Пельтцер обогнать Нурми?[70] Пробежит ли Кёрни^1 стометровку за 10,3 секунды? Когда наконец немецкий стайер пробежит 400 метров меньше чем за 48 секунд? Мы тренировались и бегали свои стометровки, мечтая о «немецких чемпионах» на международных спортивных площадках, совсем как во время войны в тех же дворах и переулках, когда вооруженные деревянными саблями и ружьями «монтекристо»[72] разыгрывали маленькие сражения, мечтая о Людендорфе и Гинден-бурге. Какая легкая, какая волнующая жизнь!

Занятно то, что все политики, и правые, и левые, не могли нахвалиться на это массовое, горячечное безумие молодежи! Мало того что мы предались старому пороку нашего поколения и снова одурманивались наркотиком холодной, отвлекающей от действительности цифровой игры—на сей раз мы делали это при единодушном одобрении наших политиков и воспитателей. Националисты, как всегда пошлые и тупые, полагали, что здоровым инстинктом юности мы открыли великолепный заменитель недостающей нам обязательной военной службы! Левые, чересчур хитроумные и вследствие этого (как всегда) еще более глупые, чем националисты, полагали великолепным открытием то, что отныне агрессивные инстинкты выплескиваются и «исчерпываются» на мирной зеленой траве стадионов. В этом они видели залог сохранения мира. Они старательно закрывали глаза на то, что все без исключения «немецкие чемпионы» носят черно-бело-красную (имперскую) эмблему, в то время как республиканские, официальные цвета были черно-красно-золотыми. Им в голову не приходило, что в нашем увлечении спортом возрождается азарт военной игры, великого, напряженного состязания народов и никоим образом не «исчерпываются», а поддерживаются и культивируются агрессивные инстинкты. Они не видели связи между спортом и войной. Не видели возрождения милитаризма.

Единственный политик, почувствовавший, что силы, которым он сам открыл дорогу, действуют в опасном, ложном направлении, был Штреземан. Он порой неприязненно высказывался о новой «аристократии бицепсов», что отнюдь не способствовало его популярности. У него, возможно, было смутное ощущение, что слепые силы и желания, которым он

преградил путь в политику не умерли и рвутся наружу что поколение, которому предстояло быть ведущим поколением Германии, отказывается учиться жить нормально, по-человечески и любую возможность свободы использует для очередного коллективного безумия.

Впрочем, массовая спортивная лихорадка продержалась не более трех лет. (Я излечился от нее еще раньше.) Для длительного существования спортивному помешательству не хватало того, что в войне называлось «окончательной победой»: у него не было конечной цели. Все повторялось: одни и те же имена, одни и те же цифры, одни и те же сенсации. Это могло длиться бесконечно, но не могло бесконечно занимать воображение. На амстердамской Олимпиаде 1928 года Германия заняла второе место, однако вскоре после этого в стране настало заметное разочарование в спорте. Спортивные известия исчезли с главных полос газет и переместились обратно на последние, в специальные спортивные разделы. Стадионы опустели. И уже нельзя было с уверенностью сказать, что всякий двадцатилетний парень помнит личные рекорды всех спринтеров. Находились уже и такие, кто путался в цифрах мировых рекордов.

Зато одновременно с затуханием интереса к спорту возродились те самые «союзы» и партии, которые, казалось бы, давно опочили, вытесненные спортом. Еще пару лет назад они были мертвы — и вот теперь медленно, медленно возвращались к жизни.

13

Нет, время Штреземана -не было «великим временем». У этого времени не было ни одной полной победы, ни одного заметного успеха. Слишком много злобного, рокового таилось под поверхностью этого времени, слишком много демонических злых сил копошилось на заднем плане эпохи; связанные, принуждаемые к молчанию, они не быгли уничтожены. Не быгл найден великий знак, которыш можно быгло быг заклясть бесов. Не быгло ни пафоса; ни величия; ни полной убежденности в правоте своего дела. Боязливая, реставрационная эпоха. Вновь стали котироваться старыге бюргерско-патриотические, мирно-либеральные воззрения, но слишком ясно быгло, что это лишь заплаты, используемые faute de mieux[5]. Нет, не могла эта эпоха рассчитывать на то, что ее в качестве «великого прошлого» будут противопоставлять мрачному настоящему.

И все же...

Талейран™ сказал: «Кто не жил до 1789 года, тот не знает всей сладости жизни». Пожилые немцы говорили то же самое о времени до 1914 года. Было бы смешно, вздумай кто выгсказаться

подобным образом о временах Штреземана. Однако для нас, молодых немцев, эта пора со всеми ее слабостями была лучшим временем из тех, что мы пережили. Все, что нам вообще досталось от сладости жизни, связано с этим временем и ни с каким другим. В современной германской истории это единственная эпоха, основной музыкальный тон которой быгл не минор, а мажор, пусть робкий и приглушенный. Это единственное время, когда можно быгло просто жить. Большинство, как уже быгло сказано, не умели жить обыгчной, нормальной жизнью и потерпели поражение. Но для нас, для других, все лучшее, чем мы по сей день живы, связано с эпохой Штре-земана.

Трудно говорить о явлениях, которые так и не развились; которые так и остались в стадии «возможности» или «приблизительности». И все же мне кажется, что тогда в Германии среди множества рокового, зловещего, среди внечеловеческого зла проклевывалось и нечто редкое, нечто по-настоящему драгоценное. Преобладающая часть молодого поколения была бесповоротно испорчена. Но меньшинство получило больше благословенных даров, чем любое другое поколение немцев за последние сто лет. Бешеное десятилетие 1914-1924 годов смело прочь все устои и традиции, а заодно и все затхлое, лживое, весь старый хлам. В результате большинство стали прожженными циниками. Но те, кто вновь пытались учиться жить, после таких уроков перешагнули сразу в класс для хорошо успевающих. Они оказались по ту сторону иллюзий и глупостей, которыми, как правило, питается юность, когда ее держат взаперти. Нас изрядно потрепало, зато никто не сажал нас под замок; мы лишились многого, в том числе и традиционных моральных ценностей, но зато отбросили многие унаследованные предрассудки. Мы были закалены. Если нам удалось избежать опасности ожесточения, опасность рыхлого слюнтяйства нам и не угрожала. Если мы не стали циниками, нам нечего было опасаться превращения в мечтателей в духе Парсифаля[74]. С 1925 по 1930 год среди лучших представителей немецкой молодежи совсем неприметно созревало нечто очень хорошее, достойное прекрасного будущего: новый идеализм, чуждый сомнений и разочарований; готовилось второе издание либерализма, которому предстояло быть шире, всеохватнее, зрелее политического либерализма XIX века; закладывались основы нового изящества, нового артистизма, новой эстетики жизни. Все это было еще далеко от того, чтобы стать действительностью, властью и силой; все было только мыслью и словом, когда пришли четвероногие скоты и все растоптали.

Несмотря ни на что, в то пятилетие в Германии ощущались

приток свежего воздуха и полное отсутствие общественной лжи. Границы между классами стали тонкими и легко преодолимыми —вероятно, то был благотворный, побочный результат всеобщего обеднения. Многие студенты, не оставляя учебу, работали на заводах — и многие молодые рабочие в то же время учились, были студентами. Классовое чванство, спесь «белоподкладочников» были не в моде. Отношения между полами сделались более открытыми и свободными, чем когда-либо, — вероятно, то был благотворный, побочный результат долгих лет одичания. У нас не было презрительного превосходства, но только удивленное сочувствие к тем поколениям, что в юности находили для обожания недоступных девственниц, а для удовлетворения похоти — проституток. Наконец, даже в отношениях между нациями стали прорисовываться новые возможности, большая непринужденность, больший интерес друг к другу и искренняя радость от пестроты мира, в котором так много разных народов. Берлин тогда был интернациональным городом. Конечно, на заднем плане уже маячили отвратительные, мрачные нацистские персонажи, что с каннибальской ненавистью говорили о «восточноевропейском дерьмовом сброде» или с презрением об ««американизации»; но ««мы» — четко не определяемая часть немецкой молодежи, при первой же встрече легко узнающая своего, — «мы» были не просто дружелюбны по отношению к иностранцам; мы относились к ним с восторженным энтузиазмом: насколько интереснее, прекраснее и богаче становилась жизнь благодаря тому, что на свете живут не одни только немцы! Мы радостно принимали всех гостей Германии. Нам было не важно, приехали они добровольно, как американцы или китайцы, или были изгнаны пинками, как русские. Царили общительность, любопытствующее дружелюбие, сознательное намерение научиться лучше понимать и любить то, что тебе наиболее чуждо и непонятно; многие дружбы, многие Любови завязывались тогда и с самым Дальним Востоком, и с самым Дальним Западом.

Самые дорогие и самые прекрасные воспоминания связывают меня с таким вот отечественноинтернациональным кругом, с миниатюрным земным шариком в центре Берлина. То был маленький академический теннисный клуб, в котором мы, немцы, были представлены не больше, чем прочие нации. Как ни странно, здесь было мало французов и англичан, зато наличествовал весь остальной земной шар: американцы и скандинавы, прибалты и русские, китайцы и японцы, венгры, югославы, и даже один меланхолически-остроумный турок. Нигде больше я не встречал такой непринужденной, искренней

атмосферы — разве что когда случайным, залетным гостем побывал в парижском Латинском квартале. Глубочайшая печаль охватывает меня, когда я вспоминаю те летние вечера, которые мы проводили в клубе после теннисных состязаний, часто засиживались там далеко за полночь, так и не переодевшись, устраивались в плетеных креслах, попивали вино, пошучивали, оживленно спорили. Но эти горячие споры вовсе не походили на яростные, болезненные политические дискуссии прежних и будущих лет. Порой мы прерывали беседы — играли в пинг-понг или заводили патефон и танцевали. Сколько там было беззаботности и юношеского серьеза, какие мечты о будущем, сколько заинтересованности, доверия и дружелюбия по отношению ко всему миру! Как вспомню — поневоле хватаюсь за голову; даже не знаю, что сегодня понять труднее: то, что это было в Германии каких-нибудь десять лет назад, — или то, что это могло быть так полно, так бесследно уничтожено десять лет спустя.

Это был тот круг, в котором я пережил свой самый глубокий, самый сильный опыт любви. Я полагаю, нельзя не рассказать здесь о моей любви, так как в ней была не только личная, но и более общая сторона. Конечно, это романтическая ложь, широко распространенная в прошлом столетии, будто «по-настоящему любишь только один раз», да и вообще пустое дело выстраивать табель о рангах для несравненных и несравнимых любовных переживаний, чтобы сообщить; «Вон ту или ту я любил больше, чем ту или эту». Верно другое: однажды, по большей части на двадцатом году жизни, настает момент, когда любовное переживание или любовный выбор становятся определяющими для характера и судьбы человека. И тогда в женщине любят нечто большее, чем просто вот эту самую женщюу, в ней, в женщине, любят некий аспект мироздания, некую концепцию жизни,—если угодно, идеал, но идеал, ставший живым, обретший плоть и дыхание. Преимущество двадцатилетних—полюбить в женщине то, что позднее станет путеводной звездой.

Сегодня мне приходится подыскивать слова, чтобы описать то, что я в этом мире люблю, что хотел бы сохранить любой ценой и что нельзя предавать даже под страхом адского пламени. Вот эти слова: свобода и человечность, ум, мужество, грация, остроумие и музыка: и я не уверен в том, что меня поймут правильно. А тогда мне достаточно было произнести одно только имя, даже не имя, любовное прозвище Тэдци, и я мог быть уверен, что, по крайней мере в нашем кругу, меня поймут. Мы все любили ее, обладательницу этого имени, маленькую австрийскую девушку, блондинку с медовыми волосами, веснушчатую, с

легкими и быстрыми движениями. Благодаря ей мы познали ревность и отучились от ревности, из-за нее мы переживали великие комедии и маленькие трагедии. Мы были готовы петь ей гимны и дифирамбы. Она научила нас тому, что жизнь прекрасна, если ее проживают умно и мужественно, свободно и грациозно: если умеют слышать шутки жизни и ее музыку. Итак, среди нас, в нашем кругу жила богиня. Женщина, которая звалась тогда Тэдци, стала старше и проще, и, наверное, ни один из нас не сохранил прежнее, высокое чувство к ней; но то, что она была такой, какой она была, и то, что чувство к ней было таким, каким оно было, — этого не вычеркнуть. Это формировало нас сильнее, прочнее, чем какое бы то ни было «историческое событие».

Как и принято у богинь, Тэдди очень рано исчезла из нашего круга. Уже в 1930 году она уехала в Париж с твердым намерением не возвращаться в Германию. Наверное, она была первой немецкой эмигранткой. По натуре более тонкая и проницательная, чем мы, она задолго до прихода к власти Гитлера почувствовала угрожающий рост глупости и злобы в Германии.

Раз в год летом она все-таки приезжала в Берлин, но все чаще и чаще говорила нам, что дышать в стране становится тяжелее. Последний раз она приехала к нам летом 1933 года. Больше она в Германию не возвращалась.

Но уже задолго до того «мы» — неопределенное «мы», у которого не было имени, не партия, не организация и ни в коем случае не сила и не власть — составляли в Германии меньшинство. Мы тоже чувствовали наступление новых времен. Естественное ощущение всеобщего взаимопонимания, сопровождавшее нас во время войны и потом, в годы спортивной лихорадки, давно превратилось в свою противоположность, теперь мы знали, что со многими сверстниками не можем толком поговорить о чем-то серьезном, ибо мы говорим с ними на разных языках. Мы чувствовали, как вокруг растет новый язык —«коричневый немецкий»: «шчное участие»,

«гарант», «фанатично», товарищ», «род

ной клочок земли», ««чужеродный», «вырожденческое искусство», «недочеловек»,—отвратительный жаргон, в каждом словце которого заключался целый мир насильнической тупости. У нас тоже был свой особый тайный язык. Мы понимали друг друга с полуслова; если мы говорили о других, достаточно было сказать про кого-нибудь, что он «умгый», и это означало вовсе не мощный интеллект, а просто —что человек понимает, что такое личная, частная жизнь; раз он имеет об этом представление, значит, он ««наш». Мы знали, что тупиц в Германии значительно

больше. Однако покуда у власти был Штреземан, можно было с некоторой уверенностью надеяться на то, что тупиц держат в узде. Мы фланировали среди тупиц беззаботно, как в современном зоопарке без клеток прогуливаются среди хищников люди, уверенные в том, что рвы и изгороди защищают их. Со своей стороны, хищники тоже ощущают нечто подобное. С глубочайшей ненавистью они дали название невидимому порядку, который при всей своей внешней свободе держит их в рамках, — «система»[75]. Однако им приходилось оставаться в этих рамках.

Они не совершили ни одного покушения на Штреземана, хотя сделать это было проще простого. Штреземан обходился без телохранителей. Он не отгораживался от народа. Частенько его видели на прогулке по Унтер ден Линден: неприметный, маленький человек в котелке. «Это, случайно, не Штреземан?» — порою спрашивал кто-то из прохожих, и верно, это был Штреземан. Однажды я видел его на Паризер-платц[76]. Он стоял рядом с цветочной клумбой и, тростью придерживая стебель цветка, разглядывал венчик. Вероятно, вспоминал точное ботаническое название растения.

Странно: Гитлер появляется нынче только в мчащемся с огромной скоростью автомобиле, окруженный десятью-двенадцатью машинами с вооруженными до зубов эсэсовцами. Наверное, правильно делает. Ратенау в 1922-м гордо отказался от охраны и был убит. Штреземан же в выпавшем ему промежутке, в историческом пересменке, еще мог невооруженный и никем не охраняемый разглядывать цветы на Паризер-платц. А может быть, он был волшебником, этот коренастый, необаятельный, некрасивый, непопулярный человек, с бычьим затылком и маленькими выпученными глазками? Или самой лучшей его защитой как раз и была непопулярность и неприметность?

Мы следили глазами за тем, как он медленно сворачивает с Унтер ден Линден на Вильгельмштрас-се, — многие узнавали, но не обращали на него никакого внимания; некоторые с ним здоровались, и он отвечал на приветствие вежливым поднятием котелка, но не рукопожатием, и отвечал он не всей толпе, а индивидуально. И тогда мы спрашивали себя: ««умен» ли Штреземан? Во всяком случае, к этому политику и неприметному человеку мы испытывали спокойное доверие, уважительную благодарность — и только. Штреземан был не из тех людей, что вызывают горячие эмоции.

Самое сильное чувство вызвала его смерть: внезапный, холодный ужас. Он долго болел, но никто

не подозревал, насколько тяжело. Позднее вспоминали:

последний раз, когда его видели на Унтер ден Линден за четыре недели до кончины, лицо у него было очень бледное и одутловатое. Но он ведь был так незаметен. Вот его бледность и не заметили. Он и умер совершенно незаметно: после напряженного, тяжелого дня, вечером, когда, как и положено всякому скромному бюргеру он чистил зубы перед отходом ко сну. Потом прочитали про то, как он покачнулся, как у него из рук вывалился стакан с водой... На следующий день газеты поместили сообщение: «Штреземан скончался».

И мы, прочитав это, испытали холодный ужас. Кто теперь остановит бестий? Как раз в это время они начали шевелиться. Как раз в это время они выдвинули совершенно бредовое «кфодное требование», первое из требований такого рода: все министры, если впредь будут заключать международные договоры ««га основе лжи о военной вине», подлежат наказанию в виде тюремного заключения[77].

Тупицы только того и ждали. Плакаты и шествия, массовые собрания, марши, перестрелки. Мирное время кончилось. Пока был жив Штреземан, не верилось, что мирное время когда-нибудь кончится. Теперь все поняли: так оно и есть.

Октябрь 1929 года. Злая осень после прекрасного лета, дождь, холод, в самом воздухе что-то давящее, тяжелое, что зависело, ей-ей, не от одной только погоды. Злые слова на газетных тумбах; на улицах впервые — грязно-коричневая форма и озлобленные, тупые хари; треск и свист непривычной, пронзительной, вульгарной маршевой музыки. Растерянность в государственных учреждениях, скандалы в рейхстаге, газеты полны сообщений о непрекращающемся ползучем правительственном кризисе. Все это было печально знакомо: запахло 1919-м или 1920-м. Кстати, и рейхсканцлером осенью 1929-го был тот же бедолага, Герман Мюллер[78], что и тогда маялся на этом послу. Покуда министром иностранных дел был Штреземан, никого особо-то и не интересовало, кто занимает пост рейхсканцлера. Да, смерть Штреземана была началом конца.

14

Весной 1930 года рейхсканцлером стал Брюнинг, и в первый раз на нашей памяти у Германии появился строгий хозяин. С1914 по 1923 год все германские правительства были слабыми правительствами. Штреземан правил умело, масштабно, но мягкой, доброй рукой, он старался никому не причинять боль. Брюнинг постоянно и настойчиво делал кому-то больно, таков был его стиль; пожалуй, он гордился своей «непопулярностью». Худой, костлявый человек в очках без оправы с угрюмо прищуренными глазами. Предупредительность, устуггаивость

были глубоко чужды его природе. Все его успехи — а они, бесспорно, имелись—в точности соответствовали схеме старых анекдотов: «Операция прошла успешно — пациент мертв» или «Позиция удержана — рота погибла». Доводя до абсурда своевременность и аккуратность репарационных выплат; он загнал в угол немецкую экономиту Закрылось огромное количество банков, а число безработных достигло шести миллионов человек. Пытаясь сохранить порядок в государственном бюджете, он угрюмо и непреклонно применял рецепт строгого хозяина дома: «Надо потуже затянуть пояса». В результате чуть ли не каждые полгода издавалось новое «чрезвычайное постановление», снижавшее пенсии, социальные выплаты, даже зарплаты работников частных предприятий и проценты в сбербанках. Одно вытекало из другого, и Брюнинг, стиснув зубы, с болезненной, мучительной последовательностью доводил до конца каждое из своих непопулярных начинаний. Многое из того, что позднее вошло в арсенал эффективнейших пыточных средств Гитлера, впервые было введено Брюнингом: «валютный контрола», делавший невозможными зарубежные поездки; «налог на бегство из рейха», делавший невозможной эмиграцию: даже ограничение свободы печати и притеснение парламента начались во времена канцлерства Брюнинга. Парадокс заключался в том, что он предпринимал все это ради защиты республики. Республиканцы, правда, задавались совершенно справедливым вопросом: а останется ли что защищать после таких «оборонительных мер»?

Я полагаю, что режим Брюнинга явился первым опытом и, так сказать, моделью того образа правления, который с той поры получил распространение во многих странах Европы: полудиктагура под именем демократии для защиты от настоящей диктатуры[79]. Тот, кто даст себе труд подробно изучить период правления Брюнинга, без труда обнаружит, что уже здесь имелись образчики всех элементов, которые в результате неизбежно делают вышеупомянутый тип правления предварительной школой того, что он, собственно, должен подавлять. Эти элементы —деморализация своих собственных сторонников; выхолащивание своей позиции; приучение к несвободе; идейная безоружность перед вражеской пропагандой; передача инициативы противнику и, наконец, капитуляция в тот момент, когда все упирается в вопрос о власти.

У Брюнинга не оказалось настоящего преемника. Брюнинга все только терпели. Он был меньшим злом: строгий школьный учитель, наказывая учеников, приговаривает: «Мне это больнее, чем вам», — все же лучше откровенного садиста, пыточных дел

мастера. Брюнинга поддерживали потому, что он казался единственной защитой против Гитлера. Поскольку Брюнинг, естественно, об этом знал, то он и не собирался зчитожать Адольфа Гитлера, благодаря -борьбе с которым только и мог существовать. Гитлеру нельзя было дать прорваться к власти, но нужно было, чтобы он все время оставался опасным непобежденным врагом. Труднейшее балансирование! Два года подряд, стиснув зубы и сохраняя непроницаемзˆ мину, Брюнинг держал равновесие —это было огромным достижением. Но в какой-то момент он неудержимо должен был не удержать равновесие. И что потом? Все время правления Брюнинга сопровождалось этим вопросом: что потом? То была пора, когда мрачное настоящее казалось много предпочтительнее чудовищного будущего.

Сам Брюнинг не мог предложить стране ничего, кроме бедности, тоски, ограничения свободы, а также заверений, дескать, другого, лучшего, нет,—ну и еще призывов занять стоическую позицию. Но Брюнинг был слишком черствой натурой, чтобы найти выразительные, яркие слова даже для такого призыва. Он не смог бросить в народ ни одной идеи, ни одного лозунга, зато бросил тень тоски и уныния.

Между тем шумно поднялись силы, которые так долго бездействовали.

14 сентября 1930 года состоялись выборы в рейхстаг, в результате которых нацисты одним ударом превратились из смехотворной опереточной партии во вторую по численности парламентскую фракцию, вместо прежних 12 мандатов — 107![80] С этого дня центральной фигурой поры правления Брю-нинга стал уже не Брюнинг, но Гитлер. Теперь вопрос ставился не: останется ли Брюнинг? — но: придет ли Гитлер? Мучительные, яростные политические дискуссии велись не за или против Брю-нинга, но за или против Гитлера. И в городских предместьях, где вновь начались перестрелки, убивали друг друга не сторонники и противники Брю-нинга, а сторонники и противники Гитлера.

При этом личность Гитлера, его прошлое, само его существо, его речи скорее шли в минус его движению. Для широких кругов населения он и в 1930 году был сомнительной фигурой из темного прошлого: мюнхенский мессия 1923 года, вождь гротескного «Пивного путча». Даже внешне его облик был отвратителен любому нормальному немцу, а не только нам, «умным»: гладкая сутенерская прическа; парикмахерская элегантность; неистребимый говор венской окраины; частые и длинные речи, да еще с эпилептическими взвизгами; дикая жестикуляция; лающий ор; мечущийся или, наоборот, тупой

взгляд. Плюс содержание его речей: радость от угроз, радость от жестокости, кровожадные палаческие фантазии. Большинство из тех, кто аплодировал ему в 1930-м на митингах в берлинском Дворце спорта[81], не рискнули бы попросить у него прикурить, встреть они его на улице. Но тут-то и обнаруживается один из удивительнейших парадоксов восприятия: отвратительное, мерзкое, гнусное до дрожи притягивает, завораживает в том случае, если оно доведено до крайности. Ведь никто бы не удивился, если бы тип, подобный Гитлеру, после первых же своих речей был бы схвачен за шиворот первым же полицейским и водворен туда, где ему и надлежит быть, подальше от глаз людских. Но поскольку ничего похожего не происходило, тип этот, наоборот, поднимался все выше и делался все безумнее, все знаменитее, и восприятие отвратительного перевернулось: монстр начал привлекать внимание. В этом и заключалась загадка Гитлера, то странное ослепление, отупение его противников, которые не способны были разделаться с этим феноменом и стояли, застыв, будто под взглядом василиска, не понимая, что им бросает вызов исчадие ада.

Гитлер, вызванный в качестве свидетеля в Верховный суд Германии, рычал в зале заседаний, что наступит день и он, совершенно законно, вполне легально придет к власти—и тогда покатятся головы! Ничего не произошло. Седовласый президент судейской коллегии не рискнул распорядиться вывести вон такого свидетеля. Во время президентских выборов Гитлер орал: «Гивденбургу восемьдесят пять лет, мне сорок три. Я могу подождать. Победа будет за мной». Ничего не произошло. Когда он в другом месте повторил свою хамскую шутку, в зале смеялись, как от щекотки. Шесть штурмовиков ночью врываются в дом к «инакомыслящему», выволакивают его из постели и забивают насмерть. Их приговаривают к смерти. Гитлер посылает им телеграмму со словами сочувствия и похвалы. Ничего не происходит. Нет, кое-что происходит. Убийц помиловали[82].

Дико было наблюдать, как одновременно росли: с одной стороны, дикая наглость, позволившая мелкому апостолу ненависти стать настоящим дьяволом; с другой—дремучая глупость его противников, постоянно на мгновение опаздывавших, не успевавших сообразить, что именно он сказал, какое чудовищное действие предпринял, — а все потому, что он опережал их и еще более диким высказыванием или новым чудовищным деянием понижал планку допустимого. Дико было наблюдать гипноз публики, все более безвольно отдававшейся магии отвратительного, сивухе зла.

В остальном Гитлер обещал все всем, и это, само собой,

собрало ему огромную толпу разномастных приспешников и избирателей, состоявшую из людей, не имеющих собственного мнения, разочарованных, разорившихся. Но решающим фактором было не это. Помимо чистой демагогии и в полном согласии с программой своей партии он внятно и, по-видимому, честно обещал две вещи: возрождение великой военной игры 1914-1918 годов и повторение великого победоносного анархического набега 1923 года. Другими словами: он честно обрисовал свою будущую внешнюю и экономическую политику. Ему не нужно было обещать это «словесно». Он мог даже противоречить этой своей программе (как позднее в своих «мирных речах»[83]): все его великолепно понимали и так. Эта программа привела к нему верных учеников и последователей, ядро его нацистской партии. Он апеллировал к двум огромным событиям, врезавшимся в сознание и подсознание молодого поколения. Подобно электрической искре, эта программа зажигала всех, кто втайне мечтал о повторении этих событий. Вне морока оставались только те, кто этого повторения не хотел, стало быть, ««мы».

Но у, ««нас» не было ни партии, ни знамени, за которыми мы могли бы следовать; у ««нас» не было ни программы, ни боевых лозунгов. За кем ««мы» могли пойти? Помимо фаворитов общественного мнения, нацистов, были еще те цивилизованные, бюргерские реакционеры, что группировались вокруг «Стального шлема»[84]. Они весьма неотчетливо вдохновлялись «фронтовыми воспоминаниями!» и «гощью родной земли». У них не было, конечно, отвратительного плебейства нацистов, но зато они в полной мере обладали нацистской озлобленножестокой тупостью и органически присущей нацистам ненавистью к жизни. Еще были жестоко побитые до всякой драки, тысячекратно опозорившиеся социал-демократы, и, наконец, коммунисты с их сектантским догматизмом, за которыми, как хвост кометы, тянулась память о неудачах и поражениях. (Странно, но все, что затевали коммунисты, всегда кончалось их разгромом и расстрелами ««фи попытке к бегству». Это казалось законом природы.)

Оставался загадочный, как сфинкс, рейхсвер во главе с любящим интриги кабинетным генералом и прусская полиция, о которой говорили, будто она—испытанный, надежный инструмент в руках республиканской власти. После всего, что мы уже знали и видели, в это верилось с трудом.

Вот таковы были силы, вступившие в игру. Сама игра тянулась довольно мрачно и однообразно, без кульминаций, без драматизма, без очевидных результатов. Атмосфера в Германии напоминала атмосферу в нынешней Европе: оцепенелое ожидание неизбежного несчастья и странная надежда на .то, что в

последний момент удастся его избежать. Сегодня над Европой нависла тень грядущей войны, таким же зловещим темным облаком тогда в Германии были захват власти нацистами и «Ночь длинных ножей», которую Гитлер обещал заранее. Совпадают даже детали: медленное приближение ужасного, раскол сил сопротивления, их безнадежные попытки соблюдать правила игры, которые враги нарушали ежеминутно; односторонняя война; колеблющееся, подвешенное состояние между «миром и порядком» и «гражданской войной» (баррикад не было, но были ежедневные, чуть ли не мальчишеские драки и перестрелки, нападения на «партийные штабы», были, чуть ли не ежедневно, — убитые). Уже тогда появилась идея позднейшей политики

[85]: влиятельные структуры стояли за то, чтобы «обезвредить» Гитлера, наделив его «ответственностью власти». Повсюду шли яростные и бесплодные политические дискуссии: в кафе, пивных, магазинах, школах, в семьях. Возродилась старая игра с цифрами: в то время постоянно проходили малые и большие выборы, и в головах были данные о численности избирателей и о количестве мандатов. Цифры голосующих за нацистов неуклонно росли. Вот чего больше не было, так это жизнерадостности, любви, безобидности, доброжелательности, благоволения, понимания, доброй воли, великодушия и юмора. Больше не было хороших книг, да и едва ли тогда нашелся бы человек, который заинтересовался бы хорошей книгой. Воздух в Германии сделался удушливым и вонючим.

До лета 1932 он делался все удушливее и смраднее. А потом беспричинно, внезапно рухнуло правительство Брюнинга. Началась странная интермедия Папена-Шлейхера[86]: правительство знатных господ, о которых никто не знал толком, кто они и откуда взялись, а вслед за тем — шесть месяцев дикой министерской чехарды, политической іусар-ской скачки. Была выведена из строя конституция, рейхстаг распущен, вновь созван, снова распущен и снова созван: газеты запрещены, прусское пра-

* Умиротворение (англ.).

вительство отправили в отставку[87], все высшее государственное руководство сменили — и все это происходило в чуть ли не радостной, лихорадочной атмосфере последнего, экстремального азарта. Нынешний европейский 1939 год отдает немецким летом 1932-го: тогда тоже все висело на волоске; то, чего боялись, могло случиться со дня на день; нацисты в разрешенной властями форме заполонили все улицы, швыряли бомбы, составили проскрипционные списки, уже в августе начались переговоры с Гитлером: не хочет ли он стать вицеканцлером, а в ноябре, когда поссорились Папен и Шлейхер,

Гитлеру предложили пост канцлера; между Гитлером и властью не стояло больше ничего, кроме нескольких политических аристократов, кавалеров, которые в политике оказались потому что им повезло, как иным карточным игрокам везет с козырями; серьезные препятствия были устранены, больше не было ни конституции, ни правовых гарантий, ни республики, ничего, ничего, даже республиканской прусской полиции. И точно так же сегодня пошли ко дну Лига Наций и коллективная безопасность, нерушимость договоров и переговоров; точно так же сегодня погибли Испании[8], Австрия8[9], Чехословакия[90]. И все же тогда, как и сейчас, в самый последний, опаснейший, отчаянный миг распространялся болезненный, блаженный оптимизм, оптимизм игрока, беспричинная вера, надежда на то, что волосок выдержит, не оборвется. Разве партийная касса Гитлера не была пуста? А сегодня она разве не пуста? Разве не перешли даже бывшие друзья и союзники Гитлера в ряды юб его противников? А сегодня разве они не являются его противниками? Разве не рождались жизнь и движение в застывшем политическом льду лета 1932-го и лета 1939-го?

Тогда, как и сегодня, тешились мыслью о том, что худшее — позади.

15

Достаточно. Подготовка закончена. Мы на месте поединка. Дуэль может начаться.

РЕВОЛЮЦИЯ

16

Я: в начале 1933 года — молодой человек двадцати пяти лет, хорошо питающийся, хорошо одетый, хорошо воспитанный, дружелюбный, корректный, не без светского лоска и некоторого щегольства, не имеющий ничего общего с развязными буршами-студентами, —типичный продукт немецкого бюргерского образованного сословия, но в остальном чистый лист бумаги. Если оставить в стороне то, что мне выпало жить во времена грозных, захватывающих исторических событий, моя жизнь не отличалась чем-то особо интересным и драматичным. Единственные весьма глубокие личные переживания, которые оставили следы и шрамы, дали мне опыт и повлияли на мой характер,—это радостные и болезненные любовные эксперименты, каковые проводит всякий человек в этом возрасте. Эти эксперименты волновали меня тогда больше, чем что-либо иное. Я считал их настоящей «жизнью». В остальном я был — опять же как и любой молодой человек моего возраста и моей классовой принадлежности в Германии—хорошо питающийся, хорошо одетый «домашний мальчик», которому денег дают в обрез,

ю8

только на карманные расходы—суровый принцип моего отца, в высшей степени достойного, стареющего, интересного, строгого и втайне горячо любимого. Отец был самым главным человеком в моей жизни. Когда я хотел решиться на что-то серьезное, то нельзя было не спросить у него совета, хотя порой меня это не очень-то устраивало. Вот и сейчас, собравшись рассказать, каким я тогда был — или, лучше, каким предполагал быть, я прежде всего должен обратиться к отцу, сказать немного о нем[91].

По убеждениям мой отец был либералом, по образу жизни и поведению — прусский пуританин.

Существует специфическое прусское ответвление пуританизма: до 1933 года оно было одной из главенствующих духовных сил немецкой жизни, да и до сих пор еще играет определенную роль под поверхностью официоза в Германии. Оно родственно классическому английскому пуританизму с характерными, впрочем, отличиями. Его пророк—Кант[92], а не Кальви^3 Его идеал — Fridericus^ а не Кромвель[95]. Как и английский пуританизм, прусский требует от своих последователей строгости, достоинства, воздержания от всевозможных радостей жизни, исполнения долга, верности,

порядочности и чести вплоть до самоотрицания, презрения к миру вплоть до мизантропии. Подобно английскому пуританину, прусский (даже если он богат) выдает сыну деньги только на карманные расходы и неприязненноудивленно круглит брови, узнав о сыновних опытах половой любви. Однако прусский пуританизм секуляризован. Он служит и жертвует не Иегове, но

le roi de Prusse[6] [6]. Награда и земное воздаяние прусского пуританина — не богатство, но успехи по службе. И наконец, важнейшее отличие прусского пуританизма—это наличие потайной дверцы в не контролируемое никем и ничем пространство свободы, в то, что стоит за словами «частное», «личное».

Мрачный аскет Fridericus, этот монумент прусского пуританизма, был, как известно, в приватной, частной жизни музыкант, флейтист, виршеплет[97], вольнодумец, острослов и друг Вольтера. Почти все его ученики и последователи—высшие чины прусской бюрократии и прусского офицерства двух последних столетий, в общественной жизни хранившие строгую неприступную мину, в приватной жизни походили на старого Фрица[68] с флейтой. Прусский пуританизм любит поговорку: «Грубая скорлупа — мягкое ядро». Прусский пуританин — создатель диковинной присказки всех немцев: «Как человек, я вам сочувствую, но как чиновник, как солдат, как государственный служащий...» В этом заключается причина того, что у иностранцев ложное представление о Пруссии. Они считают, что это бесчеловечная, жестокая, перемалывающая все подряд машина, но, общаясь с пруссаками в неофициальной, частной обстановке, обнаруживают, что многие из них на редкость симпатичные, добрые, безобидные люди. Германия, объединенная в единое государство Пруссией, ведет двойную жизнь, потому что чуть ли не каждый немец ведет двойную жизнь.

В приватной жизни мой отец был страстный библиофил и книжный коллекционер. У него была библиотека в 10 000 томов, которую он пополнял до самой своей смерти. Он не просто собирал книги, он их читал. Великие имена европейского XIX века— Диккенс и Теккерей, Бальзак и Гюго, Тургенев и Толстой, Раабе[9"] и Келлерˆ (я называю только самых любимых) — были для него не просто именами, но близкими знакомыми, с которыми он привык вести долгие, страстные, немые дискуссии. Стоило посмотреть, как он загорался, когда встречал людей, с кем можно было эти дискуссии вести вслух.

Однако литература не обычное хобби. Можно «безнаказанно» быть филателистом и цветоводом, даже любителем музыки и живописи, но ежедневное общение с живым духом никогда не

остается «приватным». Человек, годами путешествующий по всем безднам и вершинам европейской мысли, в один прекрасный день просто не сможет быть лишь строгим, педантичным, верным служебному долгу прусским чиновником. Мой отец был таким. Да, он оставался прусским чиновником. Но ему удалось, не разрушая прусско-пуританскую форму существования, сформировать в себе скептически-мудрый либерализм, все более и более превращавший его чиновничье лицо в маску. Средством, позволяющим соединить столь противоречивые вещи, служила очень тонкая, никогда громко не артикулируемая тайная ирония —мне кажется, это и вообще единственное средство, что может оправдать и облагородить весьма проблематичный в человеческом отношении тип чиновника. Ирония поддерживает

in

трезвое осознание того факта, что властный и в высшей степени достойный человек—по одну сторону конторки, и слабый, выданный первому с потрохами — по другую — не более чем люди; не более, но и не менее: они исполняют роли в некой игре. Роль чиновника, конечно, предполагает строгость и холодность, но в той же степени она предполагает бережное отношение и расположенность к человеку, внимательность. Поэтому написанное сухим канцелярским языком распоряжение, касающееся щекотливого дела, порой требует гораздо больше такта и тонкости, чем иное лирическое стихотворение; больше мудрости и понимания гармонии, чем распутывание сюжетных коллизий романа. На прогулках, которые в те годы мой отец полюбил совершать со мной, он бережно и осторожно посвящал меня в эти высшие тайны бюрократии.

Ведь он хотел, чтобы я стал чиновником. Он был изрядно обескуражен, обнаружив, что все то, что у него было чтением и дискуссиями, у меня имеет тенденцию выродиться в писание. Эти занятия он отнюдь не поощрял. Само собой, грубого запрета не последовало: в свободное от работы время я мог писать сколько угодно романов, новелл и эссе, а если бы мне удалось их напечатать, да еще и кормиться писательским ремеслом — тем лучше. Но прежде я должен изучить «нечто разумное» и вовремя сдать экзамен. В тайной глубине души он с пуританским недоверием относился к образу жизни, который состоял в том, чтобы шлендать по кафе и время от времени шкрябать что-то на листках из блокнота; всей своей либеральной мудростью он

был против того, чтобы государством управляли невежды, впавшие во властолюбивый интриганский раж и растрачивающие высокий капитал государственного авторитета на бессмысленные декреты и распоряжения, что, по его мнению, уже и происходило

во всех звеньях государственной власти Германии. Он, со своей стороны, делал все для того, чтобы вылепить из меня свое подобие: образованного прусского чиновника. Он и впрямь полагал, что так он наилучшим образом послужит как мне, так и германскому рейху

Итак, я изучал право и стал референдарием[101]. В отличие от англосаксонских стран, в Германии начинающий судья или чиновник после окончания обучения, в двадцать два, двадцать три года, на практике осваивается в своей властной, авторитетной профессии: он работает в качестве референдария, то есть волонтера в суде или другом учреждении. Он выполняет функции судьи или чиновника, но он еще не облечен личной ответственностью, он не имеет права принимать решения и не получает жалованья. Многие приговоры, подписанные судьями, подготовлены референдариями. Конечно, референдарий не имеет права голоса во время служебных совещаний, но зато ему разрешается делать те или иные доклады и сообщения, так что порой он обладает значительным реальным влиянием. Во время двух моих служб в качестве референдария судья, радуясь возможности отдохнуть, совершенно спокойно поручал мне вести судебные заседания... Эта внезапная служебная ответственность для молодого человека, домашнего мальчика, каковым я был

из

в ту пору, оказалась весьма тяжелым испытанием, к добру ли, к худу ли, сказать трудно. Для меня наиважнейшими оказались два урока: во-первых, выучка «выдержке» — тому соединению холодности, спокойствия и уважительной, благосклонной сухости, которому и обучаются только за конторским столом государственного учреждения; во-вторых, выработка определенной способности к мышлению согласно «чиновничьей логике», согласно определенному образу законнического абстрагирования. Впоследствии я имел мало возможностей применить эти навыки соответственно их предназначению. Зато несколько лет спустя оба эти навыка, в особенности второй, спасли мне и моей жене жизнь. Разумеется, отец не помышлял ни о чем подобном, когда отправил меня учиться на юриста.

Как бы то ни было, сегодня я могу лишь печально улыбнуться, вспомнив, насколько был не подготовлен к предстоящим мне приключениям. Я к ним вовсе не был подготовлен. Я не умел боксировать, не знал ни одного приема джиу-джитсу—не говоря уже о таких специальных науках, как контрабанда, нелегальный переход государственной границы, условные знаки и тайные сигналы, знание которых куда как пригодилось бы мне в будущем. Однако и интеллектуально я был

из рук вон скверно подготовлен к предстояще^. Разве не говорят, что военные штабы в мирное время великолепно готовят армии к... недавно прошедшей войне? Не знаю, как обстоят дела в военной сфере, но вот то, что в определенных семьях блистательно готовят сыновей к жизни в недавно завершившейся

эпохе, — это точно! У меня был великолепный интеллектуальный багаж для того, чтобы сыграть достойную роль в мирную буржуазную пору до 1914-го; кроме того, благодаря некоторой осведомленности относительно современности у меня возникло уверенное ощущение, что весь этот интеллектуальный багаж весьма мало мне понадобится. И все. Я мало знал о том, с чем мне предстоит столкнуться в близком будущем; запах — да! — запах этого будущего настораживал, но я не располагал понятиями, категориями, в которых мог бы описать это будущее.

Так обстояло дело не только со мной, но в общем и целом со всем моим поколением, и, разумеется, со старшим. (Таково сегодня положение большинства людей в других странах, где знают о нацизме только из газет и еженедельного кинообозрения!.) Все наше мышление разворачивалось в рамках цивилизации, основы которой настолько сами собой разумеются, что мы о них почти забыли. Если мы спорили об известных антитезах — свобода или долг, национализм или гуманизм, индивидуализм или социализм, — то сами собой разумеющиеся основы христианско-гуманистической цивилизации никогда не затрагивались. Они не подлежали обсуждению. Поэтому далеко не каждый в Германии, кто стал нацистом, ясно осознавал, кем он на самом деле стал. Возможно, он полагал, что вступил в партию, которая борется за национализм, за социализм, против евреев, за реванш 1914-1918 годов; большинство этих людей втайне радовались новой социальной авантюре и новому 1923 году—

И5

но все это они мыслили в «гуманных» формах, свойственных «культурному народу». Многие из таких сторонников нацизма были бы всерьез напуганы, если бы их спросили (назовем лишь несколько явлений, которые всем бросались в глаза и, конечно, не были самым ужасным ударом): согласны ли они на государственную организацию погромов, или на создание постоянно действующих государственных пыточных камер? Еще и сегодня встречаются нацисты, которые делают испуганные глаза, когда им задают такие вопросы.

В то время у меня не было определенных политических взглядов. Мне даже трудно было определить, а сам-то я в политическом отношении правый или левый? Когда однажды в 1932 году кто-то поставил передо мной этот, что ни говори,

вопрос совести, я растерянно и с запинками ответил: «Скорее, правый. ..» По конкретным вопросам я занимал позицию то правых, то левых, а порой и вовсе не вставал на чью либо сторону Из существующих в Германии партий меня не привлекала ни одна, хотя выбор был велик. Во всяком случае, я уже убедился ut exempla docent[7], что чья-то принадлежность к какой бы то ни было партии отнюдь не гарантирует того, что он не станет нацистом.

Меня от этого оберегало... чутье. У меня хорошее чутье—я имею в виду не ум, но некое чувство эстетической valeur или non-valeur[8] той или иной моральной, политической, идеологической позиции.

У большинства немцев, к сожалению, это чувство отсутствует полностью. Умнейшие из них способны тупо спорить, применяя абстрактные понятия, дедукцию и индукцию, о ценности какого-нибудь явления, от которого просто-напросто воняет. Мои немногие, но твердые убеждения зиждились исключительно на чутье.

На нацистов мое чутье реагировало совершенно однозначно. Было куда как скучно выяснять, что из поставленных ими целей и задач все-таки можно обсуждать как «исторически оправданные», если все в целом пахло так, как оно пахло. Я не заблуждался относительно того, что нацисты — враги, мои личные враги и враги всего того, что для меня дорого. В чем я заблуждался, так это в том, что не подозревал, насколько страшные враги нацисты. Тогда я скорей воспринимал эту банду не слишком всерьез — широко распространенная ошибка неопытных противников нацизма, в свое время сыгравшая на руку Гитлеру, да и до сих пор ему выгодная.

Трудно найти что-нибудь более комичное, чем то безучастное и высокомерное спокойствие, с которым я и подобные мне люди, будто из театральной ложи в бинокль, наблюдали за первыми успехами нацистской революции, направленной на то, чтобы стереть нас с лица земли. Пожалуй, более комичным может представиться только то, что вся Европа, уже имея наш пример перед глазами, заняла такую же высокомерную, насмешливую, бездеятельную позицию зрителя в ложе, в то время как нацисты уже подожгли «театр» с четырех сторон.'

17

В самом своем начале нацистская революция обещала и впрямь стать «историческим событием», какие уже бышали: казалось, она будет разворачиваться в газетах и, безусловно, в общественной сфере.

Нацисты празднуют день своей революции 30 января. Без

всякого основания. 30 января 1933 года произошла не революция, а смена правительства. Нацист Гитлер стал рейхсканцлером, но не в качестве главы нацистского Кабинета министров (в его первом правительстве бышо только два нациста)[102] и присягнул на верность Веймарской конституции. Победителями, как все считали, быьли не нацисты, но буржуазные правые партии, которые «поглотили» нацистов и сами заняли все ключевые позиции в правительстве. С точки зрения конституционного права событие это бышо куда более естественно и куда менее революционно, чем все события предшествующего года. Да и внешне этот день прошел без каких-либо ревзнаков—если не считать факельное шествие по Вильгельмштрассе и незначительную перестрелку ночью в одном из предместий.

Нам, «другим», 30 января запомнилось только чтением газет — и впечатлениями, которые бытли с этим связаны.

Газеты вышли с заголовками «Гитлер приглашен к рейхспрезидету»—вот тут мы испытали нервную досаду: в августе и в ноябре Гитлер уже встречался с рейхспрезидентом и ему предлагались должности сначала вице-канцлера, потом канцлера; всякий раз Гитлер ставил совершенно невозможные усло-

вия; в том и другом случае после этих встреч торжественно провозглашалось: «Больше никогда!» Это торжественное «больше никогда» продержалось чуть меньше полугода. Тогда среди противников Гитлера в Германии царила та же болезненная мания прямо-таки бестрепетно совать ему в руки все, чего он только ни пожелает, которая царит сегодня в мире. Вновь и вновь противники Гитлера торжественно отрекались от политики «appeasement'a», и вновь и вновь она воскресала—все это повторяется в Европе сегодня. Тогда, как и сегодня в Европе, у нас оставалась одна надежда: на гитлеровскую слепую наглость. Должна же она в конце концов истощить терпение его политических противников? Тогда, как и теперь, очень скоро выяснилось, что терпение это неистощимо...

В середине дня появилось сообщение: Гитлер требует слишком многого. Полуспокоенные кивки. Очень правдоподобно. Ничто так не соответствовало его природе, как «требовать слишком многого». На сей раз нас миновала чаша сия. Гитлер—последнее спасение от Гитлера.

Около пяти вечера появились вечерние газеты: создан Кабинет национального согласия—Гитлер рейхсканцлер.

Не знаю, какова была первая реакция всего общества. Моя, в течение минуты, была совершенно правильной: леденящий ужас. Конечно, это назначение подспудно таилось уже давно. Можно

было рассчитывать на то, что оно состоится. И все же это было так фантастично, так невероятно, когда ты видел сообщение о нем, написанное черным по белому: Гитлер — рейхсканцлер... В какой-то момент я физически ощутил запах грязи и крови, который он распространял вокруг себя. Почудилось, что на меня вдет страшный и отвратительный лютый зверь, я ощутил грязную когтистую лапу у своего лица.

Потом я попытался все это стряхнуть, попытался улыгбнуться, поразмышлял и — в самом деле — нашел немало причин для успокоения. Вечером мы обсуждали с отцом перспективы нового правительства и пришли к одному выводу: у нацистов есть шанс учинить немало бед, но нет ни одного шанса удержаться у власти хоть надолго. Обычное консервативное правительство только с Гитлером, в качестве мундштука, чтобы не слишком уж рвали постромки. За исключением этого дополнения оно мало чем отличается от двух последних правительств, бышших после Брюнинга. У нового правительства даже вместе с нацистами не бытло большинства в рейхстаге. Хорошо, рейхстаг всегда можно распустить. Но ведь и в населении против этого правительства —стойкое большинство: сплоченный рабочий класс, который после окончательного поражения умеренных социал-демократов пойдет за коммунистами. Коммунистическую партию, конечно, можно «запретить»—и тем сделать ее еще опаснее. Между тем правительство, как и прежде, будет проводить реакционную социальную и культурную политику, еще резче, чем прежде, а кроме того, в угоду Гитлеру в ход пойдет антисемитизм. Этим они не привлекут на свою сторону много из своих нынешних противников. Во внешней политике будет бахвальство, возможно, и попытка ремилитаризации. Это автоматически восстановит против правительства все зарубежные страны, помимо тех шестидесяти процентов населения Германии, которые уже настроены против него. Ну и кроме того, а кто все те люди, что в течение трех лет внезапно стали голосовать за нацистов? По большей части не имеющие собственного мнения, жертвы пропаганды, ущербные массы; при первом же разочаровании они разбегутся в разные стороны. Нет, учитывая все это, надо признать: правительство Гитлера—вовсе не повод для серьезного беспокойства. Не ясно только, что последует за падением этого правительства; стоило опасаться, что нацисты доведут страну до гражданской войны. Вполне можно было ожидать, что коммунисты, прежде чем их запретятˆ нанесут удар.

На следующий день выяснилось, что приблизительно таким же был прогноз всей здравомыслящей прессы. Странно, но и

сегодня он кажется довольно убедительным, сегодня, когда мы уже знаем, как все в результате получилось. А каким образом могло получиться по-другому? Уж не благодаря ли тому, что все мы были уверены, более того—твердо убеждены в невозможности другого развития события, и поэтому у нас на примете не было совершенно ничего, что, в наихудшем случае, могло бы предотвратить другое развитие событий?

Весь февраль все оставалось по-прежнему, ограничиваясь только газетными сообщениями, — то есть все разыгрывалось в той сфере, которая для девяноста девяти процентов людей потеряла бы реальность в тот момент, если бы все газеты исчезли. В этой сфере произошло немало событий: рейхстаг был распущен, потом Гинденбург, грубо поправ конституцию, распустил прусский ландтаг. В высших органах власти началась дикая перетряска кадров. Во время выборов нацисты развернули бешеный террор. Приходится признать: теперь они уже ничего не стеснялись. Их банды регулярно врывались на предвыборные митинги и собрания других партий. Чуть ли не ежедневно они убивали своих политических противников. В одном из берлинских предместий они сожгли дом социал-демократа и его семьи. Новый министр внутренних дел Пруссии, нацист, небезызвестный гауптман Геринг, издал бредовое распоряжение, которым полиции предписывалось во время любых межпартийных столкновений без выяснения обстоятельств дела брать сторону нацистов, а по их врагам открывать огонь без предупреждения, — чуть позже по указанию Геринга была сформирована «вспомогательная полиция» из штурмовиков.

Между тем, как сказано, все это были только газетные сообщения. Своими глазами мы видели и своими ушами слышали в основном то, к чему в последние годы уже привыкли. Коричневая форма на улицах, марши, вопли «хайль» — а в остальном business as usual. В Берлинском апелляционном суде — верховном органе судебной власти Пруссии, где я тогда работал, мало что изменилось, несмотря на то что новый министр внутренних дел издавал совершенно бредовые распоряжения. Судя по газетным сообщениям, конституцию давно послали к черту: но каждый параграф гражданского кодекса был незыблем, иначе говоря, статьи и параграфы усердно поворачивали и переворачивали, как встарь. И где в этом случае была настоящая реальность? Рейхсканцлер мог ежедневно публично обрушивать на евреев совершенно дикие, бредовые оскорбления и угрозы, но в нашем сенате по-прежнему заседал еврей-камергерихтсрат и выносил свои в высшей степени остроумные и справедливые решения. Эти решения не просто принимались во внимание, но

исполнялись всем государственным аппаратом, пусть даже глава этого государственного аппарата что ни день обзывал нацию, к которой принадлежал камергерихтсрат, «паразитами», «недочеловеками» и «умой». Чей это был позор? Против кого обращена ирония истории?

Признаюсь, в то время я склонялся к мысли: беспрепятственное функционирование юстиции, да и вообще нормальная жизнь, продолжавшаяся без особых помех, уже могли восприниматься как триумфальная победа над нацистами. Сколько бы они ни орали и ни безумствовали, в крайнем случае им удавалось взбаламутить политическую поверхность, но реальная, действительная жизнь в глубине своей оставалась совершенно не затронута.

А так ли уж она была не затронута? Разве уже тогда завихрения взбаламученной поверхности не прорывалось в глубину в незыблемые, казалось бы, основания жизни? Разве не было чего-то пугающе нового в той внезапной непримиримости и готовности к ненависти, которая вспыхивала в политических спорах самых обыкновенных людей? Вообще, во всех этих неотвязных, назойливых мыслях о политике разве не было чего-то страшного? Разве политика не оказыгвала теперь странного воздействия на частную жизнь уже хотя быг тем, что нормальная аполитичная жизнь стала восприниматься как политическая демонстрация?

И все-таки я цеплялся за эту нормальную аполитичную жизнь. Не бы1ло ни одного места, где я мог быг сопротивляться нацистам. Ладно, если так, пусть они мне просто не мешают. Вполне возможно, что я той весной пошел на берлинский карнавал из чувства протеста. Вообще-то, настроение у меня бышо не подходящее. Но я пошел на карнавал. Посмотрим, посмотрим, думал я, смогут ли нацисты сделать что-нибудь с карнавалом!

18

Берлинский карнавал, как и весьма многие берлинские, скажем так, мероприятия, представляет из себя нечто искусственное, сделанное и придуманное. В нем нет диковинного, однако освященного верой и традицией, ритуала, как в католических центрах; нет и спонтанности, сердечности и заразительного веселья мюнхенской Масленицыт Важнейшей особенностью берлинского карнавала—и это очень по-берлински—является многолюдная толпа и организация этой толпы. Берлинский карнавал —это, если можно так выразиться, огромная, пестрая, блестяще организованная лотерея любви с множеством несчастливый и пустых номеров: это возможность

наугад, как лотерейный билет, выт удить в веселой толпе девушку целовать свою избранницу, обнимать ее и до утра пройти все предварительные стадии любовной истории. Конец, как правило — совместная поездка на такси в предутреннем тумане, обещание встретиться и обмен телефонами. По большей части никогда не знаешь, что за история начнется на карнавале, то ли она станет чем-то очень симпатичным, то ли оставит после себя тяжелое, густое похмелье. Разыгрывалось все это— организация карнавала была на редкость правильна —в донельзя пестром, дико изукрашенном антураже под грохот нескольких танцевальных оркестров с разбрасыванием и раздариванием обязательных карнавальных принадлежностей—серпантина, бумажных фонариков и тому подобного, с распитием такого количества спиртного, какое сможешь оплатить в многотысячной толпе, где от тесноты не повернешься. Люди занимались, в общем, одним и тем же, так что мало стеснялись друг друга.

Бал, на который я тогда отправился, почему-то назывался «Баржа». Его организовала одна из берлинских школ-студий. То был огромный, громкий, пестрый, многолюдный бал, как и все берлинские балы на Масленицу Он проходил в субботу, 25 февраля. Я пришел довольно поздно, бал был в полном разгаре. Мельтешение шелковых лент, голых плеч и голых женских ножек, толчея, шагу не сделать ни в гардеробе, ни в буфете. Толкотня в переполненных залах—непременный атрибут карнавального гулянья в Берлине.

Я пришел на бал не в настроении. Я был подавлен. Днем я узнал неутешительные новости: избирательная кампания шла совсем не так, как хотелось бы. Нацисты откровенно готовились к государственному перевороту. Массовые аресты, террор — вот на что можно было рассчитывать в течение ближайших недель. Зловеще — хотя по-прежнему то был всего только газетный материал. Действительность была здесь, не так ли? Действительность была не в газетах, а вот в этих радостных голосах, смехе, танцах, музыке, в призывных девичьих улыбках.

Однако внезапно, покуда я в растерянности стоял на какой-то ступеньке и разглядывал весь этот бушующий праздничный вихрь —разгоряченные, сияющие, улыбающиеся лица, беззаботные, а если и озабоченные, то только тем, как бы вытянуть свой лотерейный билет, как бы познакомиться с милым дружком или с милой подружкой на ночь или на лето, глотнуть хоть немножко сладости, испытать любовное приключение, чтобы потом было что вспомнить, — внезапно меня охватило странное, такое, что даже голова закружилась, чувство: мне показалось, будто я вместе с тысячами молодых людей плыву на огромном, тяжело ползущем

в открытом море, переваливающемся через волны лайнере. Мне привиделось, будто мы заперты в маленькой, тесной, словно мышиная нора, каюте, где мы еще можем танцевать, в то время как наверху на капитанском мостике, уже решили: эта часть судна, где наша каюта, должна быть уничтожена, а ее пассажиры должны быть утоплены все до последнего человека.

И тут кто-то взял меня за руку. Я услышал милый знакомый голосок. Я повернулся. Я вернулся. Сказать ли куда? Правильно, в действительность. Меня окликнула старая знакомая из счастливого теннисного прошлого, девушка по имени Лизл. Я давно потерял ее из виду, почти позабыл. И вот она появилась вновь, дружелюбная, всегда готовая и посмеяться, и утешить. Она решительно встала между мной и моими черными мыслями. Такая маленькая, но уверенная и смелая, она заслонила собой Бога, мир, нацистов. Она вернула меня к исполнению карнавального долга и за одну минуту меня сосватала. Мой лотерейный билет был вытянут: маленькая черноволосая девушка в маскарадном костюме турчонка, изящная, хорошо сложённая, с огромными карими глазами.

Она немного походила на артистку Элизабет Бергнер[103]. Она гордилась этим сходством, как гордилась бы любая берлинская девушка. Ничего лучше и желать было нельзя.

Лизл' ободряюще нам подмигнула и исчезла в суматохе карнавала, а девушка, похожая на Бергнер, стала моей подругой на всю ночь. Впрочем, не только на ночь, она стала моей подругой на все злосчастные времена, которые вскоре начались. Отношения наши нельзя было назвать счастливыми, тогда-то я этого еще не знал! Она была легка, как перышко, и изумительно чувствовала каждое движение партнера по танцу. Высоким девичьим голосом она говорила с неожиданной, древней мудростью. Она отпускала двусмысленные шуточки с эдаким суховатоотстраненным берлинским шармом. При этом в ее огромных глазах загорались озорные огоньки, но сами эти глаза, казалось, были много старше ее

молодого лица. Она была обаятельна. Она возбуждала. Я быш доволен своим лотерейным билетом. Некоторое время мы танцевали, потом отправились вышивать, потом гуляли по залам и наконец в каком-то крошечном кафе, куда танцевальная музыка доносилась приглушенно, решили называть себя не настоящими, а придуманными именами. Она окрестила меня Петером, я ее — Чарли. Отличные имена для влюбленной пары из какого-нибудь романа Вики Баум[104]. Ничего лучше и желать бытло нельзя. Представившись друг другу таким образом, мы сделали первый шаг к тому, чтобы стать образцовой парочкой по моде тех лет.

Несколько других пар за соседними столиками быыли заняты исключительно собой. Они нам не мешали. А потом будто из-под земли вырос какой-то старый артист. Он заговорил с нами благожелательно и меланхолично, назвал нас «детками», заказал коктейли. Чуть ли не семейная картина. Мы собрались снова потанцевать. Кроме того, я обещал Лизл, что мы с ней в этот вечер еще встретимся. Но вышло по-другому

Не знаю, откуда стало известно, что нагрянула полиция. Всегда ведь в компаниях есть кто-нибудь сильно выпивший, кто старается обратить на себя внимание более или менее удачными шутками, в меру своих способностей. Вот и тогда кто-то выкрикнул: «Встать! Полищш!» Мне не показалось это удачной шуткой. Но очень скоро стало не до шуток. Несколько девушек занервничали, вскочили и испарились, сопровождаемые своими кавалерами. Молодой человек, с головы до ног в черном, да и сам черноглазый и черноволосый, внезапно вышел на середину зальчика, встал, будто народный трибун, и мрачно объявил, что всем нам лучше немедленно убраться. В противном случае нам всем гарантирована ночевка на Алексавдерплац (там тогда находились полицай-президиум и тюрьма). Молодой человек распоряжался так, словно сам был полицейским. Я присмотрелся к нему и сообразил, что этот парень довольно долго сидел здесь, неподалеку и целовался с какой-то девушкой. Девушка исчезла, а он, к сожалению, остался. Кроме того, сейчас я заметил, что на каскетке у него была ликторская эмблема да плюс к тому черная одежда — боже мой! да это же фашистская форма! Странный костюм. Странные манеры. Старый артист медленно поднялся и побрел прочь, тихонько покачиваясь. Внезапно все сделалось похожим на сон.

В большом зале вдруг погас свет, который освещал и наше кафе. Раздались визг, крики. В полумраке все лица стали серыми — и сами мы словно очутились на сцене. «Это правда, насчет полиции?» — спросил я парня в черном. Тот оглушительно гаркнул: «Правда, сынок!» — «А почему? Что случилось?» — «Что случилось? — заорал чернорубашечник. — Это у тебя надо спросить. Есть люди, которым не слишком приятно на все это смотреть», — и он звонко шлепнул стоящую рядом девушку по голой ляжке. Я не понял: был ли он на стороне полиции или его поведение было просто развязным жестом злобного недовольства. Я пожал плечами. «Поглядим, что там происходит, Чарли?» — сказал я. Она кивнула и с покорившей меня преданностью последовала за мной.

В самом деле, повсюду царили суета, неразбериха и легкая паника. Что-то стряслось. Наверное, что-то в высшей степени

неприятное, несчастный случай, драка? Может быть, только что здесь была перестрелка между нацистами и коммунистами? Ничего невероятного в этом не было. Мы прошли через все залы кафе. Да! Здесь была полиция. Чако[105] и синие мундиры. Они стояли, будто скалы, а вокруг бурлил прибой взбудораженных, пестро одетых участников карнавала. Зато теперь я хоть что-то узнаю. Я неуверенно обратился к одному из полицейских с вежливой улыбкой, как спрашиваешь на улице: «Нам и в самом деле нужно идти домой?»

«Вам разрешается идти домой», — ответил тот, и я отшатнулся, с такой нешуточной угрозой он ответил, медленно, холодно, жестоко. Я взглянул на полицейского и отшатнулся еще раз: потому что увидел его лицо. Вместо привычной добродушной физиономии шупо[1<>6] я увидел не лицо—сплошной оскал, зубастую пасть. Парень ощерился, показав мне два ряда плотных желтых зубов, странных для человека. У него были не зубы, а зубки — маленькие, острые, будто у хищной рыбы. Да и во всей его физиономии было что-то щучье: мертвые, бесцветные глаза, бесцветные волосы, бесцветная кожа, бесцветные губы и щучий, сильно выдающийся нос. Очень «нордическое», но, конечно, вовсе не человеческое лицо, скорее крокодилья морда. Я ужаснулся. В первый раз я увидел эсэсовское лицо.

19

Спустя два дня вспыхнул рейхстаг[107].

Мало какие из современных исторических событий я «проспал», проворонил столь основательно, как пожар рейхстага. Когда горел рейхстаг, я был в берлинском пригороде, в гостях у своего друга и коллеги-референдария, мы разглагольствовали о политике. Сейчас он довольно крупный военный функционер, абсолютно ««шолитичный». Он занимается подготовкой захвата чужих территорий, но исключительно с технической точки зрения, в полном согласии со своим профессиональным и военным долгом. А тогда он был референдарием, как и я, хорошим товарищем, по натуре несколько сдержанным и суховатым и страдающим от этой суховатости. Слишком тщательно опекаемый родителями, единственный сын и единственная их надежда. Он изо всех сил старался выбраться из ласковой тюрьмы родительского дома. Величайшим огорчением его тогдашней жизни было то, что ему никак не удавалось влюбиться по-настоящему Он не был нацистом. Предстоящие выборы в рейхстаг повергли его в растерянность. Он был националистом, но стоял за ««правовое государство» и никак не мог выпутаться из конфликта между национализмом и правом. До сих пор он голосовал за Немецкую народную партию[108],

однако сейчас наконец понял, что голосование за нее потеряло всякий смысл. Он намеревался вовсе не ходить на выборы.

Мы, его гости, боролись за его бедную душу. «Ты не можешь не видеть, — говорил один, — что вот теперь-то и проводится очевидная национальная политика. Как можно колебаться именно сейчас! Сейчас надо решать: или — или. Даже если какие-то параграфы полетят к черту!» Другой гость, возражая, напоминал, что у социал-демократов не отнять «заслугу интеграции рабочего класса в государство». Теперешнее правительство норовит перечеркнуть достигнутое социал-демократической политикой. Я возбудил легкое недовольство легкомысленным замечанием, что голосовать против нацистов—значит проявлять хороший вкус независимо от твоих политических взглядов. «Прекрасно, тогда ты хотя бы голосуй за черно-бело-красных»[109], —добродушно заметил нацистский champion[9].

Покуда мы вот эдак болтали глупости о политике и попивали мозельвейн, рейхстаг уже горел, в горящем здании уже был обнаружен несчастный ван дер Люббе, предусмотрительно снабженный выгодными для нацистского следствия бумагами[110], а перед порталом горящего парламента освещенный заревом пожара, словно вагнеровский Вотан[1]", Гитлер орал: «Если это сделали коммунисты, в чем я ни минуты не сомневаюсь, то да помилует их Бог, я их не помилую никогда!»Мы еще ничего не знали. Радио у нас было выключено. В полночь мы, засыпая, ехали домой в поздних, последних автобусах. В это время штурмовики уже принялись за работу, уже вытаскивали из постелей свои жертвы, первый улов для первых концлагерей: левых депутатов, левых литераторов, не угодных нацистам врачей, чиновников, адвокатов.

Только утром я прочитал в газетах о том, что горит рейхстаг. Только в полдень я прочитал об арестах. Приблизительно в это же время было обнародовано распоряжение Гицденбурга, отменившее свободу личного мнения, тайну переписки, телефонных переговоров и предоставившее полиции неограниченное право обысков, конфискаций и арестов. После полудня в городе появились люди с лестницами, скромные трудяги, они аккуратнейшим образом заклеивали на всех стенах и газетных тумбах предвыборные плакаты ослепительно белыми листами: левым партиям запрещалась всякая предвыборная агитация. Газеты, если они вообще появлялись, почти без исключения писали обо всем в патриотическо-восторженном, праздничном тоне. Мы спасены! Хайль! Германия свободна! В субботу все немцы с переполненными благодарностью сердцами отправятся на праздник национального возрождения! Факелы и

знамена, вперед!

Так писали газеты. Но улицы выглядели такими же, как и прежде. Работали кинотеатры, заседали суды. Революция? Ни следа, ни намека. Немного напуганные, немного растерянные люди сидели дома, пытались разобраться в событиях. Нелегко было сделать это в столь короткое время.

Стало быть, коммунисты подожгли рейхстаг. Так-так. Это возможно. Это очень правдоподобно. Правда, несколько комично, почему именно рейхстаг? Пустое здание, от его поджога никому никакой выгоды. Ну, наверное, это и впрямь «сигнал» для революции, каковая была в зародыше задушена решительными действиями правительства. Так написано в газетах, и, пожалуй, это убедительно. Странно, правда, что по поводу поджога рейхстага так заволновались нацисты. До сих пор парламент был для них ««дурацкой хибарой для трескотни», и вдруг разом сделалось оскорблением великой святыни то, что кто-то осмелился эту ««дурацкую хибару»[112] поджечь. Ну да, вертят факты, как им выгодно, — это и есть политика, не так ли, любезный сосед? Мы в этом, слава богу, не разбираемся. Главное, опасность коммунистической революции миновала, и мы можем спать спокойно. Спокойной ночи, сосед.

Если говорить серьезно: самое интересное в поджоге рейхстага было то, что в вину коммунистов поверили, в сущности, все. Даже скептики не исключали эту возможность. И тут уж коммунисты сами виноваты. В последние годы они стали сильной партией, они упорно твердили о своей «готовности к бою», поэтому никто не ожидал, что они позволят себя «запретить» и уничтожить без яростного сопротивления. Весь февраль у немцев глаза были скошены немного «налево». Все ждали от коммунистов, что они двинутся в антинацистский поход. Именно от коммунистов ждали ответного удара, а не от социал-демократов — от них никто ничего не ожидал после 20 июля 1932 года[1]!, когда Зеверинг[1M] и Гржезшгский[1]!, имея абсолютно законные основания для борьбы и 80 000 хорошо вооруженных полицейских, отступили, убоявшись «силы» — одной роты рейхсвера. Коммунисты, серьезные ребята с мрачными лицами, поднимали сжатый кулак вместо приветствия, у них было оружие — во всяком случае, они охотно пускали его в ход во время уличных перестрелок, они вечно хвастались своей силой, организованностью и наверняка получали из России наставления относительно того, как «это» делается. Нацисты не оставляли и тени сомнения в том, что намерены бороться с коммунистами насмерть. Следовательно, те защищаются. Это было понятно. И так-то все удивлялись, почему о коммунистическом отпоре

нацистам до сих пор не слышно.

Потребовалось много времени, прежде чем в Германии поняли: коммунисты оказались овцами в волчьей шкуре. Нацистский миф о сорванном коммунистическом путче пал на хорошую почву, подготовленную самими же коммунистами. Кто же мог предполагать, что за их поднятыми сжатыми кулаками не стоит ровно ничего? В том, что до сих пор в Германии находятся люди, свято верящие в ужасы коммунистического переворота, вина самих коммунистов. Впрочем, таких людей в Ггрмании теперь не много. О провале немецких коммунистов уже пошли толки. Даже нацисты сегодня неохотно используют тему коммунистической опасности; разве что когда имеют дело с элегантными иностранцами, которым еще удается втереть очки.

Мне кажется, не следует ставить в вину немцам то, что тогда, в феврале 1933 года, большинство поверило в поджог рейхстага коммунистами. Немцам может быть поставлено в вину то, в чем тогда проявилась их (наша) ужасающая коллективная слабость характера, а именно: они мигом решили, что все ясно и дело закрыто. У каждого из них отняли часть гарантированных конституцией личных свобод и гражданского достоинства только потому, что кто-то поджег рейхстаг, — и чуть ли не каждый воспринял это прямо-таки с овечьей покорностью, словно иного и быть не могло. Если коммунисты подожгли рейхстаг, значит, правительство правильно сделало, что крепко их прижало. На следующее утро я спорил об этом с несколькими своими коллегами-юристами в Верховном апелляционном суде Пруссии. Всех занимал вопрос о лице, совершившем преступное деяние, и многие сомневались в официальной версии. Но никто не находил ничего особенного в том, что теперь его телефонные разговоры будут прослушиваться, письма—вскрываться, а письменный стол может стать объектом обыска. «Для меня, — говорил я тогда, — будет личным оскорблением, если мне запретят читать ту газету, которую я хочу читать, только потому, что какие-то коммунисты, вероятно, подожгли рейхстаг А вы этим разве не оскорблены?» Один из юристов ответил беззаботно и весело: «Нет. А вы что до сих пор читаете „Вперед**[116] и „Красное знамя**[117]?»

Вечером того богатого событиями дня у меня было три телефонных разговора. Сначала я позвонил своей подружке Чарли, с которой познакомился на карнавале, и договорился о встрече. Наверное, это была настоящая влюбленность: но свидание я назначил скорей из чувства протеста. Я никому не позволю вламываться в мою личную жизнь. Чарли была еврейкой.

После чего я позвонил в школу джиу-джитсу и разузнал об условиях обучения. У меня было такое чувство, что настает

время, когда могут понадобиться приемы этой борьбы. (Конечно, я очень скоро заметил, что время, когда стоило знать эти приемы, уже миновало, и что теперь хорошо бы изучить приемы ведения интеллектуального боя.)

А потом я позвонил Лизл, но не для того, чтобы договориться о встрече, а для того, чтобы извиниться за то, что не успел пообщаться на карнавале, и спросить, как она перенесла тогдашнюю передрягу, — более чем оправданный вопрос, учитывая все происходящее.

Лизл говорила сквозь слезы. «Ti^i все-таки работаешь в органах юстиции, — сказала она, — ты не можешь узнать, что случилось с теми, кого арестовали нынче ночью?» Она всхлипнула, помолчала и задала следующий вопрос твердым голосом: живы ли они, по крайней мере? Лизл еще не привыкла учитывать, что больше нет тайны телефонных переговоров.

Этой ночью был арестован ее друг—нет, не случайный приятель вроде меня, но мужчина, которого она любила. Это был очень известный, левый по убеждениям, городской врач. Он организовал знаменитую социальную медицинскую службу в своем округе — пролетарском районе Берлина. Он публиковал статьи, в которых ратовал за разрешение абортов женщинам, находящимся в трудном материальном положении. Одним из первых стоял в проскрипционных списках нацистов[118].

Я еще пару раз говорил с Лизл на следующей неделе. Было совершенно невозможно ей помочь. И так же невозможно бышо ее утешить.

20

Что такое революция?

Государственное право утверждает: изменение конституционного строя не предусмотренными конституцией средствами. Если согласиться с этой сухой дефиницией, то нацистская «революция» марта 1933 года не быша революцией. Ибо все происходило строго «законно», с использованием средств, предусмотренных конституцией. И <«т1^^^]ьы^]йны1е распоряжения» рейхспрезидента, и решение передать неограниченную законодательную власть правительству, решение, за которое проголосовали больше двух третей депутатов рейхстага, как оно и полагается при внесении изменений в конституцию.

Разумеется, все это очковтирательство. Но даже если посмотреть, как дело складывалось в действительности, а не на бумаге, возникают кое-какие сомнения в том, что происшедшее в марте 1933 года, заслуживает название «революция». Ведь с точки зрения common sense[10], самы1м важным в революции является то,

что революционеры с оружием в руках штурмуют твердыши существующего порядка, атакуют полицию, армию и т. п. и в конце концов побеждают. Очень часто в этом нет ничего вдохновляющего и прекрасного, поскольку сплошь и рядом связано с бесчинствами, насилием, брутальностью плебеев, ограблениями, убийствами и поджогами. Но от людей, называющих себя «революционерами», все-таки ждут того, что они идут в атаку, проявляя мужество, рискуют жизнью и свободой. Баррикады нынче, наверное, нечто устаревшее, но спонтанность, вдохновение, подъем, бунтарство — это, конечно, существенные черты настоящей революции.

В марте 1933 года не было ничего подобного. Все происходившее тогда было состряпано из самых причудливых элементов, и среди них начисто отсутствовали мужество, храбрость и великодушие, причем отсутствовали с обеих сторон. Четыре вещи принес с собой март 1933-го. Из их соединения сложилась неприступность нацистской власти: террор, праздники с напыщенной декламацией, предательство и, -наконец, коллективный коллапс—синхронный индивидуальный нервный срыв у миллионов людей. Рождение многих, да в общем-то большинства европейских государств происходило куда кровавей. Но ни одно не было столь отвратительным.

Европейская история знает две формы террора: одна— кровавое буйство опьяненных победой революционных масс; другая — холодная, обдуманная жестокость победоносного, рассчитанного на устрашение и демонстрацию власти государственного аппарата. Эти формы обычно соответствуют революции и реакции. Первая форма террора — революционна; она оправдывается возбуждением и яростью в данный момент, потерей контроля над собой. Вторая форма террора— репрессивна; у нее есть оправдание в возмездии за ужасы только что происшедшей революции.

Нацисты стали исключением, соединив обе формы террора; таким образом, их террор не может быть оправдан никакими мотивами. Террор 1933 года был делом рук настоящего кровожадного плебса, подонков из SA[11] (SS[12] тогда еще не играло такой роли, как впоследствии[119]), — но SA действовали при этом как «вспомогательные отряды полиции»: никакой спонтанности, возбуждения и никакого риска,—напротив, штурмовики чувствовали себя уверенно, зная, что выполняют приказ, и неукоснительно соблюдая строгую дисциплину С внешней стороны это был революционный террор: оравы диких небритых хамов вламываются ночью в дом и волокут беззащитных сонных людей в пыточные подвалы. Но внутренним содержанием их

акции был реакционный террор: холодное, точно рассчитанное государственное мероприятие, совершаемое при умелом полицейском и военном прикрытии. Все это делалось не в возбужденном состоянии, которое возникает в ходе победоносной борьбы и преодоления большой опасности,—ничего подобного у нацистов не было; это делалось и не в отместку за жестокости и зверства, учиненные врагами, — никто не был жесток по отношению к нацистам. Все, что происходило, было просто бредовым переворачиванием нормальных представлений: бандиты и убийцы выступали как полицейские, облеченные всеми государственными полномочиями; с жертвами обращались как с преступниками, унижали, арестовывали и убивали без суда. Вот пример, настолько вопиющий, что вызвал общественный резонанс: в Кёпенике социал-демократ, профсоюзный лидер, вместе со своими сыновьями оказал сопротивление штурмовикам, вломившимся ночью в его дом, чтобы «произвести арест». В перестрелке он убил двух штурмовиков, безусловно действуя в пределах необходимой обороны. В ту же ночь социал-демократ и оба его сына были схвачены во много раз превосходящими по численности штурмовиками, их прибыло два отряда, и повешены в сарае поблизости от дома. На следующий день в Кёпенике появились дисциплинированные, четко исполняющие приказы отряды штурмовиков. Они врывались в дома тех, кто был известен как социал-демократ, и убивали на месте без суда и следствия. Число убитых осталось неизвестным[120].

Этот род террора имел то преимущество, что всегда можно было пожать плечами и заговорить о «неизбежных печальных издержках любых революций» —то есть сослаться на оправдание революционного террора; или можно было указать на строгую дисциплину исполнителей, — мол, в Германии царит покой и порядок, так что налицо всего только полицейские акции, спасающие страну от революционных бесчинств, то есть провести оправдание реакционного террора. Оба эти оправдания сменяли друг друга в зависимости от публики, на которую ориентировались адвокаты нацистского террора.

Этот род паблисити, разумеется, приводил — и сегодня приводит — к тому, что чем дальше, тем больше нацистский террор становился все отвратительнее, чем какой-либо иной в европейской истории. Даже в жестокости могут быть черты величия, если жестокость совершается с пафосом высшей, искренней решимости; если те, кто совершают жестокость, фанатично преданы своему делу—как это было во французской революции, в российской и испанской гражданских войнах. Нацисты никогда не демонстрировали ничего, кроме

перепутанных, бледных физиономий изолгавшихся убийц. Систематически занимаясь пытками и убийствами беззащитных, они ежедневно торжественно уверяли всех и каждого, что никого и пальцем не трогают и что ни одна революция еще не совершалась так гуманно и не была так бескровна. Да, спустя несколько недель после начала кошмара был принят закон, согласно которому жестокое наказание ожидало и того, кто в четырех стенах своего собственного дома стал бы вести разговоры о терроре.

Само собой, нацисты вовсе не стремились по-настоящему скрыть свои кровавые дела. Скрывая их, они не достигли бы своей действительной цели — вызвать всеобщий ужас, растерянность и покорность. Воздействие террора, однако, должно было возрасти благодаря тайне, в которой он совершался, и той опасности, которой подвергался всякий, решившийся об этой тайне заговорить. Открытое обсуждение того, что происходило в пыточных подвалах SA или в концлагерях—с трибуны ли оратора или на газетной странице, — могло бы даже в

Германии привести к отчаянному сопротивлению. Тайно прошептанные, жуткие истории — «Будьте осторожны, дорогой сосед! Знаете, что случилось с X?» — беспроигрышнее ломали хребты и души.

Тем более что людей отвлекали и занимали — шел непрекращающийся хоровод праздников, посвящений и национальных торжеств. Началось все перед выборами с грандиозного праздника победы, «дня национального возрождения», 4 марта: марши и фейерверки, оркестры, барабаны и флаги над всей Германией; ˆгглер, ревущий из тысяч репродукторов, клятвы и обеты—и все это несмотря на то, что было еще неизвестно: не принесут ли выборы поражение нацистам. На самом-то деле так и вышло: на последних выборах в Германии они получили 44% голосов (до того было 37%) — большинство немцев все еще голосовало против Гитлера[121]. Если учесть, что террор был уже в полном разгаре и левым партиям в последние, решающие недели фактически заткнули рот, то стоит согласиться с тем, что немецкий народ в основной своей массе вел себя еще вполне прилично. Но это уже не было помехой для нацистов. Поражение отпраздновали как победу, террор усилился, праздники удесятерились. Флаги целых две недели не исчезали с балконов и окон. Неделю спустя Гинденбург отменил старые цвета государственного флага, и нацистский флаг со свастикой стал «временным имперским флагом»—вместе с черно-бело-красным[1].. И—снова—ежедневные шествия, торжественные митинги, благодарственные собрания в честь национального

возрождения, военная музыка с утра и допоздна, чествования героев, освящение знамен и, наконец, в качестве апофеоза, безвкусное, напыщенное, помпезное (сущий балаган!) представление «Дня Потсдама»[123]: старый предатель Гинденбург стоит у гробницы Фридриха Великого; Гитлер в сотый раз клянется в верности неизвестно чему[124]; колокольный звон; депутаты торжественно проходят в церковь; опущенные шпаги, военный парад, машущие флажками дети, факельные шествия.

Чудовищная пустота и бессмыслица этих не прекращающихся ни на миг торжеств, разумеется, не входила в планы устроителей. Население нужно было приучить праздновать и «национально возрождаться», хотя бы оно и не видело для этого никаких оснований. Для всеобщего ликования хватало и того, что людей, не желавших принимать в нем участие,—т-с-с! — ежедневно и еженощно садистски пытали и забивали насмерть железными прутьями. Итак, мы будем с волками жить, и по-волчьи выть, и праздновать волчьи праздники, хайль, хайль![П5] Многим это пришлось по вкусу. Кроме всего прочего, в марте 2933 года стояла великолепная, солнечная, теплая погода. Окунуться в радостную толпу на согретой весенним солнцем площади и слушать торжественные речи об Отечестве и свободе, национальном возрождении и священных обетах — что же тут плохого? Уж во всяком случае это лучше, чем в пустой, холодной казарме SA получить промывание желудка с помощью насоса и резинового шланга.

Поначалу в праздниках участвовали из страха. Но, однажды попраздновав из страха, люди не хотели в дальнейшем праздновать только по этой причине —ведь это было бы пошло и достойно презрения. В дальнейшем они взвинчивали себя до надлежащего праздничного настроения. И это станет дополнительной, психологической, причиной победы национал-социалистической революции.

Конечно, для того, чтобы победа была полной и окончательной, понадобилось еще и многое другое: например, трусливое предательство вождей всех партий и организаций, которым доверилось 56% немцев[126], 5 марта 1933 года голосовавших за них и против нацистов. Это ужасное и много определившее событие весьма мало отразилось в историческом сознании всего мира: нацисты не заинтересованы акцентировать на этом внимание, ибо тем самым ощутимо снижается ценность их «победы»; что же до самих предателей, то им и вовсе ни к чему помнить о собственном позоре. Однако только этим предательством и можно объяснить кажущийся необъяснимым факт: большой народ, состоящий не из одних трусов, без

сопротивления отдался такому сраму.

Предательство было всеобщим, оно захватило всех без исключения, от левых до правых. Я уже рассказывал о том, как коммунисты за хвастливым фасадом «подготовки к гражданской войне» подготовили только своевременное бегство за границу своих высших функционеров![7].

Что до социал-демократического руководства, то предательство ими своей верной и слепо лояльной паствы, состоящей из законопослушных приличных маленьких людей, началось 20 июля 1932 года, когда Зеверинг и Гржезинский «избежали насилию». Предвыборную борьбу 1933 года социал-демократы вели ужасающим, унизительным образом, идя за нацистскими лозунгами и подчеркивая свое «гоже национальное направление»[128]. 4 марта 1933 года, за день до выборов, ««сильный человек партии» премьер-министр Пруссии Отто Браун[иэ] на автомобиле пересек швейцарскую границу; он заблаговременно купил домик в кантоне Тичино. В мае 1933 года, за месяц до запрета и роспуска™, социал-демократы дошли до того, что голосовали в рейхстаге за доверие правительству Гитлера™ и вместе с нацистами пели «Хорста Весселя». (В парламентском отчете значится: «Долгие, несмолкающие аплодисменты в зале и на трибунах. Аплодирует и рейхсканцлер, повернувшись к социал-демократам».)

«Центр», большая бюргерско-католическая партия, в последние годы собиравшая все больше и больше голосов протестантской буржуазии, созрела уже в марте. Благодаря ее голосам образовалось то большинство в две трети, которое на «законных» основаниях смогло передать правительству Гитлера диктаторские полномочия. Причем тогда руководил партией бывший рейхсканцлер Брюнинг. За границей это обстоятельство основательно забыто, так что в Брюнинге видят возможное избавление Германии от Гитлера. Но в Германии-то это никогда не забудут, и человек, который даже 23 марта 1933 года считал, что из тактических соображений можно заставить доверившуюся ему партию проголосовать за Гитлера, здесь в качестве антинацистского лидера попросту невозможен.

И наконец, немецкие националисты, консервативные правые круги, провозгласившие «честь» и «героизм» неотъемлемой частью своей партийной программы,—о боже!—до какой степени бесчестен и труслив был спектакль, который продемонстрировали руководители этих организаций своим верным партийцам в 1933 году и с тех пор еще не раз! После того как надежды 30 января 1933 года—дескать, мы «поймали» нацистов, мы их «обезвредили» — не оправдались, все рассчитывали по меньшей

мере на то, что немецкие националисты станут «тормозом» нацистского террора и не позволят совершиться «самому худшему». Ничего подобного! Напротив, они во всем участвовали —в терроре, в преследованиях евреев, в преследованиях христиан; их не смутил даже запрет их собственной партии и аресты ее сторонников. Социалистические функционеры, удравшие за границу и бросившие на произвол своих избирателей и сторонников, что ни говори, представляют грустное зрелище. Но что же тогда сказать о благородных аристократах, которые, подобно фон Папену, видят расстрелы своих друзей и сотрудников, остаются на своих постах, да еще и кричат «Х<шль Гитлер»?

Каковы партии, таковы и их боевые отряды. В Геер-мании были «Рот фронт»[132] и «Рейхсбаннер»[133]; они были по-военному организованы, не то чтобы совсем уж безоружны, у них были миллионы бойцов, задача которых состояла в том, чтобы в случае необходимости держать под угрозой штурмовиков. И что же? О «Рейхсбаннере» не было слышно ничего, ну совершенно ничего. Он исчез бесследно, как будто и вовсе не существовал. Во всей Германии сопротивление нацистам свелось к единичным актам отчаяния, как тот случай с профсоюзным лидером из Кёпеника. Офицеры «Рейхсбаннера» не оказали ни малейшего сопротивления, когда их казармы стали занимать штурмовики. «Стальной шлем»[1**], армия немецких националистов, приняла нацистскую идеологию, потом была по частям распущена, недовольно ворча, но — опять-таки — всерьез не сопротивляясь, покорилась своему роспуску. Не было ни одного примера обороны, мужества, стойкости. Были только паника, бегство и измена. В марте 1933 года миллионы еще были готовы к борьбе. В один миг они оказались преданы, обезоружены, лишены руководства. Часть из них в отчаянии присоединились к «Стальному шлему» и немецким националистам, как только выяснилось, что другие партии не собираются сопротивляться нацистам. В течение нескольких недель численность соединений «Стального шлема» возросла фантастически, невиданно. Но потом и эти соединения были распущены и капитулировали без борьбы.

Эта ужасающая моральная несостоятельность руководства всех антинацистских партий — важнейшая черта «революции» марта 1933 года. Эта несостоятельность сделала победу нацистов невероятно легкой. Конечно, такая легкость ставит под сомнение ценность и долговременность победы. Свастика внедрилась в немецкую массу, которая оказалась не сопротивляющейся, но потому и формообразующей, субстанцией, а бесформенным,

вязким, кашеобразным тестом. Придет день—и тесто так же легко и без сопротивления примет любую другую форму. «А стоит ли вообще лепить что-либо из этого теста?» — после марта 1933 года ответа на этот вопрос нет. Проявившаяся тогда моральная, субстанциональная слабость Гермгшии столь велика, что история рано или поздно эту слабость оценит по заслугам.

У других народов любая другая революция, какие бы кровопотери и какую бы временную слабость она ни вызвала, в конце концов приводила к невиданному увеличению моральной энергии противоборствующих сторон и тем самым — к колоссальному укреплению нации, если иметь в виду длительные исторические периоды. Достаточно вспомнить случаи героизма, мужества, презрения к смерти и человеческого величия, которые проявили якобинцы и роялисты в революционной Франции; франкисты и республиканцы в современной Испании! Притом, конечно, что были там и дикий разгул, и жестокость, и насилие. Каким бы ни был исход революции, храбрость, с которой велись сражения за этот исход, остается неистощимым источником сил. У нынешних немцев там, где должен был возникнуть этот источник, живет только память о позоре, трусости и слабости. Несомненно, однажды это приведет к очень тяжелым последствиям; очень возможно, что результатом будет распад немецкой нации вместе с ее государственностью.

Третий рейх родился из предательства его врагов; из чувства слабости, беспомощности и отвращения, которое это предательство вызвало. Пятого марта 1933 года нацисты были еще в меньшинстве.

Но если бы три недели спустя проводились новые выборы, нацисты наверняка набрали бы большинство голосов. Причиной тому — не только террор, не только бесконечные праздники (хота немцы с великой радостью опьяняются патриотическими торжествами). Решающую роль сыграло то, что ярость и отвращение к собственным трусливым вождям-предателям в тот исторический момент оказались сильнее ярости и ненависти по отношению к настоящему врагу. В течение марта 1933 года в нацистскую партию вступали сотнями тысяч. Вступали те, кто до сих пор противостоял нацистам. Их называли «павшие в марте»[135]. К ним с недоверием и презрением относились сами нацисты. Сотнями тысяч переходили к нацистам прежде всего рабочие из социал-демократических и коммунистических организаций, они вступали в нацистские ««шейки на предприятии» или в SA. Причины, по которым они это делали, разнообразны, зачастую то был целый клубок причин. Но как бы долго и тщательно мы его ни распутывали, не удалось бы найти

одну-един-ственную, несомненную, четкую и рациональную причину Этот процесс в каждом отдельном случае носил явные признаки нервного срыва. Самой простой и, если покопаться, почти у всех самой глубокой причиной был страх. Избивать, чтобы не быть избитым. Затем: мутное опьянение, опьянение единством, магнетизм массы. Далее, у многих было также отвращение и жажда мести по отношению к вождям и руководителям, бросившим своих партийцев на произвол судьбы и нацистов. И, наконец, странное типично немецкое рассуждение: «Все предсказания противников нацистов не сбылись. Они утверждали, что нацисты не победят, но они победили. Противники нацизма не правы. Значит, правы нацисты». К этому добавлялась (в основном у интеллектуалов) вера в то, что удастся изменить лицо нацистской партии и скорректировать ее деятельность, коль скоро сам ты в эту партию вступил. Разумеется, было и самое обыкновенное приспособленчество, примитивное карьерное шкурничество. У самых простых людей, примитивных, привыкших все воспринимать вместе с массой, переход в другой лагерь разыгрывался так, как он происходил в первобытные мифологические времена, когда побежденное племя с презрением отвергало не оправдавшего их надежд идола и выбирало своим патроном и покровителем бога победившего вражеского племени. Святой Маркс, в которого верили, которому верили, не помог. Святой Гитлер оказался сильнее. Разобьем образы святого Маркса над алтарями, поместим на их место святого Гитлера. Выучим новую молитву: во всем виноваты евреи, вместо прежней: во всем виноват капитализм. Глядишь, она и даст нам избавление...

Это, как видно, процесс не такой уж неестественный, он не выходит за рамки нормального функционирования психики и почти полностью все объясняет. И тем не менее кое-что остается необъяснимым — полное отсутствие как в нации, так и в человеке того, что зовется «породой»: отсутствие твердого, неподвластного никакому давлению извне ядра, отсутствие благородной твердости, внутренних, мобилизующихся как раз в час испытаний резервов гордости, убеждений, веры в себя, в свое достоинство. Всего этого у немцев нет. Немцы как нация ненадежны, мягки, лишены костяка. Март 1933 года это доказал. В момент вызова, когда у народов, обладающих крепким костяком, словно по заранее заключенному всеобщему соглашению, рождается спонтанный подъем, в Германии, тоже словно по всеобщему соглашению, наступили растерянность, расслабленность, полная сдача и капитуляция — коротко говоря, нервный срыв.

Результатом этого нервного срыва стал объединенный,

готовый на что угодно многомиллионный народ, который сегодня стал кошмаром для всего человечества.

21

Таким был этот процесс, ясно и с некоторой дистанции увиденный сегодня наблюдателем, держащим в уме то, что произошло в дальнейшем. Покуда я сам переживал этот процесс, было, конечно, невозможно охватить его взглядом, весь целиком. Разумеется, я с ужасом ошущал удушающе-отвратительную атмосферу всего происходящего, но был не в состоянии правильно расположить и понять все его элементы. При каждой попытке разобраться в ситуации все тонуло как в тумане; мы вели дискуссии, столь же бесконечные, сколь и бесплодно-бессмысленные; мы вновь и вновь старались охватить текущие события совершенно непригодной для них системой нормальных политических терминов. Иной раз сегодня по какому-нибудь поводу вспоминается обрывок, фрагмент тех тогдашних, страстных споров, и я думаю: какими же они были призрачными и нереальными! Какими духовно-беспомощными были мы со всем нашим историческим образованием перед этим явлением, ведь ничего подобного ему попросту не встречалось в той истории, которую мы изучали и знали! Насколько бессмысленны были все наши объяснения и как бесконечно безумны —все попытки оправдания происходящего, насколько безнадежно поверхностны были все интеллектуальные конструкции, с помощью которых мы пытались дать рациональную основу нашему чувству ужаса и отвращения! Каким затхлым старьем оказались все «измы», которыми мы были вооружены! Я вспоминаю об этом с известной оторопью.

Кроме того, ежедневная жизнь мешала ясному пониманию происходящего—жизнь, которая продолжалась, но теперь окончательно стала призрачной и нереальной; ежедневно над ней глумились события, в русле которых шло ее течение. Как и прежде, я ходил в Верховный апелляционный суд Пруссии, где по-прежнему выносились решения, как если бы это имело хоть какой-то смысл. Еврей, камер-герихтсрат сената—ему еще не сломали жизнь,—как обычно, сидел на своем рабочем месте в судейской мантии: правда, его судейские коллеги уже окружали его той особенной, тактичной предупредительностью, какой обычно окружают смертельно больных людей. Я, как и прежде, звонил своей маленькой подружке Чарли, и мы ходили в кино или в винный погребок, пили кьянти и танцевали. Я, как и прежде, встречался с друзьями, спорил с ними, мы праздновали дни рождения, — но если в феврале еще можно было надеяться, что неразрушимая, нормальная действительность все же

преодолеет нацистский бред, то теперь не осталось сомнений: сама действительность стала механистичной, пустой, безжизненной и ежеминутно подтверждала триумф бреда; бред заливал, захлестывал реальность со всех сторон, как потоп.

И как бы ни было это странно, но все же придется признать, что как раз механическое, автоматически продолжавшееся течение ежедневной жизни и мешало проявиться сильной, живой реакции, протесту против чудовищного зла. Я уже рассказал, как трусость и предательство политиков помешали военизированным соединениям их партий оказать действенное сопротивление нацистам. Все-таки остается открытым вопрос: почему даже в этом случае то там, то здесь спонтанно и неорганизованно против нацистского бреда не протестовали отдельные нормальные люди, защищаясь если не против всего в целом, то, по крайней мере, против частных несправедливостей, против гнусных дел, творившихся рядом с ними? (Я прекрасно понимаю, что этот вопрос, больше похожий на упрек, не исключает и меня.)

Против спонтанного, естественного сопротивления работал неостановленный механизм повседневной, рутинной жизни. Наверное, и революции, и вся история Европы были бы иными, если бы люди сегодня, как в древних Афинах, были самостоятельными личностями и поддерживали связь с общественным, государственным делом, если бы они не были так безнадежно и бесповоротно встроены в свою профессию, в свой ежедневный распорядок, не были такими, зависимыми от тысячи мелочей, деталями не контролируемого ими механизма, скользящими по накатанным рельсам, беспомощными, случись им сойти с рельс! Только повседневная рутина является основой безопасности и сохранения жизни — вне этой рутины начинаются джунгли. Каждый европеец XX века чувствует это со смутным страхом. Отсюда его нерешительность, когда нужно предпринять что-то, что может сбить его с накатанного пути,—что-то смелое, не повседневное, исходящее от него самого. В этом и заключается возможность таких чудовищных катастроф современной цивилизации, как господство нацизма в Германии.

Конечно, я был в ярости в марте 1933 года. Конечно, тогда я пугал своих родителей самыми нелепыми планами: уволиться с государственной службы; эмигрировать; демонстративно перейти в иудаизм. Но высказыванием этих намерений каждый раз все и заканчивалось. Отец, опираясь на свой богатый, хотя и не покрывающий современные события, опыт жизни с 1870 по 1933 год, успокаивал меня, дедраматизировал ситуацию, тихонько посмеивался над моим пафосом. Я прислушивался к его мнению. Я привык к его авторитету, а в своем не был еще уверен. К тому

же спокойный скепсис всегда убеждал меня больше, чем радикальный пафос. Поэтому мне потребовалось время, чтобы удостовериться: в этом случае мое непосредственное юношеское инстинктивное ощущение вернее житейской мудрости моего отца. Ибо есть вещи, против которых спокойный скепсис бессилен. Тогда я был еще слишком робок, чтобы сделать из своих чувств логические выводы.

Наверное, я и впрямь понимал какие-то вещи неправильно. Наверное, надо было стиснуть зубы и переждать, пока этим вещам не придет конец. Уверенно и спокойно я чувствовал себя в то время только на службе, защищенный параграфами гражданского и гражданско-процессуального кодексов. Они еще действовали. Да и Верховный апелляционный суд Пруссии, в котором я служил, еще действовал. Его деятельность, казалось бы, утратила всякий смысл, но пока что в суде ничего не изменилось. Наверное, думал я, только это и устоит в конце концов.

И вот так, неуверенно, ожидаючи неведомо чего, подчиняясь ежедневной рутине, задыхаясь от подавленной ярости и ужаса или бесплодно и комично выплескивая ярость и ужас за семейным обеденным столом,—вот так я и жил, подобно миллионам немцев, и не пытался помешать надвигавшимся на меня отвратительным событиям.

И вот они надвинулись.

22

В конце марта нацисты почувствовали себя достаточно сильными, чтобы разыграть первый акт своей настоящей революции, той революции, что направлена не против какого-либо государственного или социального института, но против самих основ человеческого общежития на земле, той революции, у которой, если ее не остановить, впереди еще не одна кульминация. Первым, пока довольно робким актом этой революции был еврейский бойкот 1 апреля 1933 года[136].

Об этой акции Гитлер и Геббельс договорились в Оберзальцбурге в предшествующее воскресенье за чаем и бисквитом. В понедельник газеты вышли со странно ироническим заголовком: «Объявляется массовая акция». Далее сообщалось: «Начиная с субботы 1 апреля, все еврейские учреждения должны быть бойкотированы. У входных дверей будут установлены посты штурмовиков, которые воспрепятствуют кому бы то ни было войти в учреждение, магазин или фирк^ Точно так же надлежит бойкотировать еврейских врачей и адвокатов. В их кабинетах и приемных штурмовики будут контролировать проведение бойкота».

Мотивировка этой меры позволила измерить путь,

проделанный нацистами за один только месяц. Легенда о запланированном коммунистическом путче, которую рассказали месяц тому назад для того, чтобы ликвидировать конституцию и гражданские свободы, была грамотно сконструированной, рассчитанной на правдоподобие детективной stoiy[13]; нацисты сочли нужным соорудить своего рода очевидное доказательство вины коммунистов, устроив поджог рейхстага. Теперь же официальное обоснование бойкота евреев было наглым оскорблением и издевкой даже над теми, от кого ожидали, что они притворятся, будто поверили в официальную версию. А именно: бойкот, дескать, проводится в качестве защитной и (одновременно) карательной меры, направленной против немецких евреев, ловко переправляющих за границу беспочвенные слрои—ужасы и небылицы о новой Германии. И поэтому надо было подтвердить эти россказни незаконным бойкотом магазинов, фирм, учреждений?

Это мероприятие в ближайшие дни было дополнено другими (некоторые из них были впоследствии смягчены): всем «арийским» предприятиям надлежало уволить служащих евреев. Затем это же предписали еврейским предприятиям. Еврейские предприятия, закрытые во время бойкота, должны выплатить своим «арийским» служащим зарплату. Еврейские директора фирм должны были убраться и передать руководство «арийцам». И так далее.

Одновременно начался большой «просветительский» поход против евреев. На собраниях, в листовках, плакатах и брошюрах немцев принялись просвещать относительно того, что они до сих пор заблуждались, если считали евреев людьми. Евреи—«недочеловеки», род зверей, но со страшными особенностями бесов. Какие выводы стоило из этого делать, покуда не говорилось. Однако повсюду уже гремело призывом к бойне: «Juda, verrecke!»[14] Руководителем бойкота стал человек, чье имя большинство немцев услышали тогда в первый раз — Юлиус Штрайхер[137].

Все это вызвало у немцев то, чего от них по прошествии первых четырех недель нацистского господства трудно было ожидать: широко распространившийся ужас. Неодобрительный ропот, подавленный, но все же внятный, пробежал по стране. Нацисты весьма тонко и точно заметили, что здесь несколько поспешили и перегнули палку. После 1 апреля некоторые мероприятия отменили, но не прежде, чем ужас охватил всю страну. Сегодня мы знаем, что из своих истинных намерений они отложили на потом.

Однако самым странным и обескураживающим, если оставить

в стороне испуг немцев, было то, что эта первая широковещательная демонстрация нового людоедского образа мыслей во всей Германии породила целый вал споров и разговоров, однако не об антисемитах, как можно было бы предположить, но о «еврейском вопросе». Трюк, который нацистам удался и во многих других «вопросах», а также на международной арене: публично угрожая кому-нибудь смертью—стране, народу, группе людей,—они устраивали так, что обсуждалось, то есть подвергалось сомнению, не их (нацистов) право на чужую жизнь, а право на жизнь тех, кому они угрожали.

Каждый почувствовал, что он вправе и обязан обзавестись собственным мнением о евреях и высказать его. Принялись делать тонкие различия между «приличными» евреями: если кто-нибудь как бы в оправдание евреям (в оправдание? отчего? почему?) принимался ссылаться на их успехи в науках и ис-

кусстве, тут же кто-нибудь как раз это и ставил евреям в вину: дескать, они наводнили науку, искусство, медицину Германии ««чужеродным» духом. Очень скоро сделалось обычным и популярным мнение: то, что у евреев чаще всего престижные, культурные профессии, — это их преступление или по меньшей мере бестактность. Защитникам евреев с недоумением сообщали, какой высокий процент евреев среди врачей, адвокатов, журналистов и т. п.; полюбили трактовать «еврейский вопрос» с помощью процентов. Исследовали проблему: не слишком ли высок процент евреев среди членов коммунистической партии Германии и не слишком ли низок среди погибших в годы мировой войны? (В самом деле, вот это последнее суждение мне довелось услышать из уст доктора наук, человека, принадлежащего к «образованному сословию». Совершенно серьезно, предельно серьезно, он доказывал мне, что 12 000 погибших в мировую войну немецких евреев — меньшая удельная часть от общего числа евреев Германии, если сравнить с соотношением павших в войне «арийцев» к общему их числу — отсюда он сделал вывод об известной «оправданности» нацистского антисемитизма.)

Сегодня никто не сомневается в том, что в действительности нацистскому антисемитизму никакого дела не было до евреев, до их заслуг и ошибок. Самое интересное не скрываемом намерении нацистов выдрессировать немцев на преследование и, по возможности, уничтожение евреев во всем мире было не обоснование, которое они приводили, — обоснование это — столь откровенный абсурд, что было бы унизительно для самого себя бросаться в спор по такому поводу, — нет, самое интересное было намерение как таковое. Ведь оно фактически оказалось новостью

всемирной истории: а именно попыткой упразднить свойственную человеческому роду природную, естественную солидарность, которая есть у любого вида животных и обеспечивает его выживание в борьбе за существование; попыткой направить хищные человеческие инстинкты, обычно используемые против зверей, на существа своего же человеческого рода; попыткой целый народ как собачью свору натравить на людей. Если однажды разбудить инстинктивную, дремлющую в человеке готовность к человекоубийству, если сделать ее долгом, то поменять объект уничтожения ничего не стоит. Сегодня уже очевидно, что на месте «евреев» могут быть «чехи», «поляки» или любая другая группа людей. Речь здесь идет о систематическом отравлении целого народа—немецкого — бациллами, которые заставляют человека обращаться с подобными себе существами по-волчьи; или, по-иному говоря, о том, как развязали и пестовали садистические инстинкты, сдерживание и уничтожение которых было делом тысячелетнего цивилизационного процесса. В одной из следующих глав я постараюсь показать, что большая часть немецкого народа — несмотря на его обесчещивание и ослабление в целом, — все же нашла в себе внутренние силы сопротивления, вероятно безотчетно, инстинктивно почувствовав, что здесь поставлено на карту Ведь если бы главная попытка нацистов — вернее сказать, ядро всех их устремлений — удалась, то это повергло бы человечество в кризис небывалых масштабов и поставило бы под вопрос дальнейшее физическое существование рода homo sapiens. В этом последнем случае единственным, чудовищным средством спасения человечества стало бы физическое уничтожение всех пораженных «волчьей бациллой».

Из этого короткого очерка видно, что нацистский антисемитизм имеет отношение не к одним только евреям; в отличие от прочих пунктов их партийной программы он касается крайних экзистенциальных вопросов. Так что можно себе представить всю смехотворность той, все еще не редкой в Германии точки зрения, согласно которой антисемитизм нацистов — мелкое, побочное явление, в крайнем случае, небольшой эстетический изъян движения, на который можно, в зависимости от отношения к евреям, или закрыть глаза или горько посетовать, но ото сравнению с великими национальными вопросами эта мелочь ровно ничего не значит». На самом-то деле, как раз «великие национальные вопросы» являются в высшей степени незначительным хламом повседневности, случайными ошибками европейского переходного периода, который, возможно, затянется на несколько десятилетий, по сравнению с

грозной опасностью ««сумерек человечества»[138], вызванной из преисподней нацистским антисемитизмом.

Опять-таки все это вещи, о которых в марте 1933 года еще мало кто имел представление. Однако я могу гордиться тем, что уже тогда чутье меня не обмануло. Все, что происходило до сих пор, было отвратительно—и не более. То, что началось теперь, было иным, апокалиптическим. Тут ставились—я ощутил это по ударам, бьющим в сокровенные области души,—крайние вопросы, хотя я до сих пор не могу подобрать для них точные, верные слова.

Одновременно со странным чувством, в котором с ужасом соседствовало удивительное, почти радостное напряжение, я понял: на сей раз история и политика добрались и до меня. Я — тот, кого нацисты называют «арийцем», хотя я, разумеется, не знаю, смешению каких рас я обязан своей персоной, как не может этого знать никто. Евреев в моем роду за двести-триста лет известного мне существования нашей фамилии не было. Однако как раз к германскому еврейскому миру я испытывал куда большую инстинктивную симпатию, чем к типичному северонемецкому окружению, в самом сердце которого вырос. И отношения мои с первым миром были давними и тесными. Мой самый старый и самый лучший друг был евреем. Моя новая маленькая подружка Чарли была еврейкой, и, несомненно, я любил ее, хотя мы все еще просто флиртовали—внезапно моя любовь стала горячей, гордой оттого, что Чарли угрожала нешуточная опасность. Я знал: меня никто и ничто не заставит ее бойкотировать.

Я позвонил ей в тот самый вечер, когда в газетах появились первые сообщения о бойкоте. В эту неделю мы виделись чуть ли не ежедневно. Наша история стала приобретать характер настоящей love story[15]. В обычной жизни Чарли была, конечно, не турчонком, как тогда на карнавале: она была красивой девушкой небольшого роста из мелкобуржуазной, далекой от меня социальной среды — вечно хлопочущей еврейской семьи с великим количеством родственников и знакомых (я так и не разобрался в хитросплетениях их родственных связей).

Помню странную сцену с Чарли как раз в последнюю неделю марта, в самыгй разгар угрожающей подготовки бойкота. Мы выехали в Груневальд[139]. Выша удивительная, неправдоподобно теплая весенняя погода, она простояла весь март 1933 года. Маленькие облачка тянулись по неописуемо светлому синему небу, мы сидели под пахнущими смолой соснами на мшистом холмике и целовались, как парочка из кинофильма. Вокруг нас быш на редкость дружелюбный, приветливый мир. Весенний мир.

Мы целовались часа два, не меньше, и каждые десять минут мимо нас проходил чуть ли не целый школьный класс. По-видимому, в школах проводился единыгй «день здоровья»: шагали румяные славные мальчики; тут же были и пастыри, опекавшие и бдительно сторожившие своих овечек,—учителя, мужчины с бородкой или в пенсне, как оно и приличествует наставникам молодежи. Каждыгй класс, проходя мимо нас с Чарли, дружно поворачивал головы в нашу сторону и радостными мальчишескими голосами вышрикивал будто праздничное приветствие: «Juda, verrecke!» Может быгть, это касалось не нас? Я не похож на еврея, у Чарли тоже внешность не характерно еврейская. Может быгть, это новая, симпатичная такая форма приветствия?

Не знаю. Вероятно, они орали это нам, рассчитывая на реакцию.

Вот так я и сидел на весеннем холмике, обнимая маленькую, нежную, прекрасную девушку целовал ее, а мимо топали бодрые, спортивные мальчики и громко требовали, чтобы мы сдохли. Мы пока еще не подыхали. Они спокойно топали дальше, нимало не обеспокоенные тем, что мы не сдохли. Сюрреалистическая картинка.

23

Пятница 31 марта. На следующий день все должно начаться всерьез. В это еще трудно до конца поверить. Еще недоверчиво пролистываются газеты в поисках сообщений о том, что бойкот как-то ослаблен, что происходит возвращение в нормальный хотя бы наполовину, представимый мир. Нет, ничего похожего. Только несколько новых, более жестких, то есть совсем уж диких, указаний и спокойно-педантичная инструкции по проведению «мероприятия», советы участникам, как себя вести во время его проведения.

В остальном business as usual. Взглянув на улицы с их равномерно-поспешной, деловой жизнью, невозможно было предположить, что в городе произойдет нечто из ряда вон. Еврейские магазины были открыты и торговали, как обычно. Сегодня еще не запрещалось в них покупать продукты и вещи. Запрет начинал действовать завтра в восемь утра.

С утра я пошел на службу в Верховный апелляционный суд Пруссии. Он, как всегда, стоял серый, холодный, просторный, респектабельности ради отделенный от улицы скверюком с газоном и деревьями. По его широким коридорам и вестибюлям сновали адвокаты, похожие на быстрых, бесшумных летучих мышей в своих черных развевающихся мантиях, все при портфелях, все с сосредоточенным, вежливым выражением лица.

Еврейские адвокаты, как всегда, выступали на заседаниях, как будто это был обычный день среди всех прочих дней.

И я, как будто это был самый обычный день, пошел в библиотеку (заседания у меня не было), устроился за длинным рабочим столом, разложив перед собой материалы дела, по которому должен был составить экспертное заключение. Какое-то сложное дело, с запутанными правовыми вопросами. Я приволок толстенные тома комментариев и вплотную им занялся, я вчитывался в решения имперского суда, делал заметки. Как и во всякий день, в просторном помещении библиотеки царила чуть слышно шелестящая тишина сосредоточенной интеллектуальной работы. Карандаш скользил по бумаге, двигались невидимые тонкие рычажки и шестеренки юридической процедуры, становились на причитающееся им место, подыскивались нужные параграфы закона, что-то сравнивалось; взвешивалось значение каждого слова в том или ином договоре; исследовалось, какой срок действия имперский суд предоставлял тому или иному параграфу. Потом пара нацарапанных слов на бумаге — и, словно удачный разрез при хирургической операции, вопрос разъяснен, какая-то часть судебного решения готова. Но это, разумеется, еще не все. «Таким образом, не важно, является ли истец... Надо выяснить...» Внимательная, точная, молчаливая работа. В этом зале каждый погружен в свое занятие. Даже здешние вахмистры — не то здешние служащие, не то полицейские—ходят по библиотеке почти бесшумно и всячески стараются быгть незаметными. Здесь царило вместе с исключительной тишиной— исключительное напряжение многообразной деятельности многих людей, как будто шел беззвучный концерт. Я любил атмосферу библиотеки. Она бы1ла надежной и действовала благотворно. В тот день мне бышо бы трудно работать дома за своим одиноким письменным столом. Здесь же работа шла легко. Почти ничто не отвлекало твоих мыслей. Ты быгл словно в крепости, нет, в реторте. Снаружи не прорывалось ни ветерка. Здесь не быгло революции.

Что быгло первыгм посторонним звуком? Хлопок дверью? Резкий невнятный выгкрик, команда? В какой-то момент все вздрогнули и напряженно прислушались. В зале еще сохранялась сосредоточенная тишина, но природа ее изменилась: это была не рабочая тишина, но тишина страха и ожидания. Из коридора донесся топот, грубая, громкая беготня, затем далекий непонятный шум, крики, хлопанье дверей. Несколько человек поднялись, подошли к двери, открыли ее, выгглянули, вернулись назад. Другие подошли к вахмистрам, заговорили с ними, все еще тихо—в этом зале можно быгло разговаривать только шепотом.

Шум снаружи становился все слышнее. Во все еще сохранявшейся библиотечной тишине кто-то пробормотал: «Шлтфмовики». Другой голос чуть громче обычного весело отозвался: ««Жидов выбрасывают», и двое или трое рассмеялись. Смех в это мгновение был страшнее, чем само событие: с быстротой молнии промелькнула мысль, что вот и здесь, в библиотечном зале, оказывается, есть нацисты.

Беспокойство и беспорядок стали видимы — прежде они были только неясно, но грозно ощутимы. Читатели поднялись со своих мест, попытались завязать разговор, принялись бесцельно ходить по залу. Один господин с ярко выраженной еврейской внешностью молча закрыл свои книги, бережно поставил их на полку, уложил бумаги в папку и вышел. Не успел он выйти, как в дверях появился некто, вероятно обервахмистр, и объявил громко, правда, не слишком грубо: «В здании — штурмовики. Господам евреям лучше покинуть здание». Одновременно, будто для иллюстрации этих слов, снаружи заорали: «Евреи, пошли вон!» Кто-то ответил: «Уже пошли»,—и снова раздались два или три радостных смешка. Теперь я увидел смеющихся: юристы-референдарии, такие же как я.

Все это внезапно напомнило мне разогнанный четырьмя неделями раньше карнавал. «Вам разрешается идти домой!»— вспомнил я сказанное тогда штурмовиком. А здесь евреям разрешалось идти домой? Это уже не разумелось само собой. Кое-кто из посетителей библиотеки, оставив свои бумаги и книги на столах, вышли в коридор посмотреть, что происходит, — надеялись что-нибудь узнать.

Вахмистры усердней обычного старались всем своим видом показать, что их тут как бы и нет. Один или двое из читателей закурили—здесь, в библиотеке Верховного апелляционного суда Пруссии! Вахмистры промолчали. И это тоже была революция.

Свидетели позднее рассказали, что все прошло необычайно гладко: никаких чудовищных историй, о, совершенно никаких. Заседания были по большей части отменены. Судьи сняли мантии и скромно покинули помещение. Они шли по лестнице, чуть ли не на каждой ступеньке которой снизу доверху стояли штурмовики. Только в адвокатской комнате случилось безобразие и бесчинство. Адвокат-еврей вздумал «валять дурака», взъерепенился —и был жестоко избит. Я узнал, кто был этот адвокат: фронтовик, пять раз раненный, потерявший глаз, он дослужился до чина капитана; наверное, он на свою беду по привычке повел себя как в былые времена, когда ему случалось вправлять мозги зарвавшейся солдатне.

Потом они ворвались и в библиотеку. Дверь распахнулась,

коричневая форма ввалилась в зал. Один из своры, очевидно вожак, заорал грохочущим, грубым голосом: «Неарийцам немедленно покинуть эту пивщху!» Я обратил внимание на то, что он употребил приличное выражение, почти эвфемизм, «неарийцы» рядом с совершенно неуместным, издевательским «пивнуха». Снова ответил тот, кто уже пошучивал таким образом: «Уже покинули». Наши вахмистры стояли так, словно сию минуту возьмут под козырек. У меня захолонуло сердце. Что я могу сделать? Как мне сохранить достоинство? Игнорировать, не обращать на них внимания! Я опустил глаза в материалы дела. Я тупо читал и перечитывал какое-то предложение: «Неверным, хотя и несущественным является утверждение обвиняемого...»

Коричневый добрался и до меня. Встал во фрунт: «Вы — ариец?» И прежде, не успев что-то сообразить, я ответил: «Да!» Изучающий взгляд на мой нос — и штурмовик ретировался. Кровь бросилась мне в лицо. Мгновение спустя—слишком поздно — я почувствовал позор, стыд, поражение. Я сказал ««да»! Правильно, я ведь и был «арийцем»! Я не солгал. Я только позволил совершиться куда более страшному Какое унижение — заявлять кому-то, не имеющему права задавать подобные вопросы: я — ариец, притом что сам я не придаю этому никакого значения! Какой стыд покупать этим заявлением возможность быть оставленным в мире и покое со своими папками, книжками и судебными делами. Размазня! Спасовал в первом же испытании! Я готов был надавать самому себе пощечин.

Я вышел на улицу. Верховный апелляционный суд Пруссии, невозмутимо-спокойный, стоял серый, холодный, как всегда, отделенный от улицы газонами и деревьями. Гщдя на него, никто не подумал бы, что сегодня он как государственное учреждение рухнул. Наверное, и по мне не было заметно, что я потерпел сегодня сокрушительное поражение, испытал такое унижение, от которого вряд ли можно оправиться. Хорошо одетый молодой человек спокойно идет вниз по Потсдамер-штрассе. Улицы тоже не выглядели как-то по-особенному Business as usual.

И все-гаки в воздухе Берлина было слышно приближающееся громыхание неведомого зла.

24

В этот вечер у меня было еще два в своем роде замечательных переживания. Первое — я в течение нескольких часов испытывал смертельный страх за мою маленькую подружку Чарли. Страх необоснованный, но вовсе не беспричинный. Причина была довольно нелепой. Мы разминулись. Я договорился встретиться с ней у торговой фирмы, где она работала машинисткой за сто марок в месяц. Она, как я уже упоминал, была вовсе не

прекрасным турчонком, но девушкой небольшого роста из мелкобуржуазной, обремененной волнениями и заботами семьи, в которой все много работали. Когда я в семь часов вечера подошел к зданию фирмы, оно было закрыто и будто вымерло. Перед входом были опущены железные жалюзи. Это была еврейская фирма. Штурмовиков не было. А что, если уже побывали здесь?

Я бросился в метро и добрался до квартиры Чарли. Поднялся по лестнице большого доходного дома. Позвонил в дверь. Второй раз. Третий. В квартире была абсолютная мертвая тишина. Я спустился к телефонной будке и позвонил Чарли на работу Никакого ответа. Я позвонил ей домой. Никакого ответа. Тогда я, разумеется, совершенно бессмысленно встал у дверей станции метро, откуда она обычно появлялась, когда ехала с работы домой. Множество людей шли мимо меня из метро и в метро, как в обычные дни, беззаботные, никем не задержанные, но Чарли не появлялась. Я звонил то в фирьэд то домой, в чем не было ни малейшего смысла.

И все это время ноги были как ватные. Я чувствовал свою беспомощность. Ее «забрали» в квартире? «Увели» из фирмы? Наверное, она уже на Александерплац, наверное, на пути в Ораниенбург[140], где тогда был сооружен первый концентрационный лагерь? Невозможно было узнать хоть что-нибудь. .. Было возможно все. Бойкот мог быть только демонстрацией, но с его лозунгом «Жид, сдохни!» он мог быть предлогом для массового, одобренного приказом, дисциплинированного, умело организованного убийства. Неизвестность, отсутствие достоверной информации составляли один из тончайших, точно рассчитанных эффектов бойкота. Для смертельного страха за судьбу еврейской девушки вечером 34 марта 4933 года в Берлине причин хватало, — даже если бы в конце концов этот страх оказался напрасным.

В моем случае он, к счастью, таковым и оказался. Спустя час я уже без всякой надежды позвонил Чарли домой и услышал в телефонной трубке ее голос. Служащие фирмы, в которой работала Чарли, после закрытия учреждения еще целый час просидели в каком-то другом помещении, совершенно безрезультатно решая вопрос, что же им делать, когда они потеряют работу. Нет, сегодня штурмовики не приходили. «Извини. Это продолжалось так долго. Я сидела как на иголках». — «А родители?» Они были в клинике у ее тети, которая вздумала рожать именно сегодня, накануне бойкота, поправ новоявленную заповедь: «Жид, сдохни:!», — но страшно представить себе, что ее ждет завтра— ведь бойкоту подвергнут и родильные дома. То, что спустя пять лет стало действительностью — больные и роженицы,

выброшенные из больничных постелей на улту, — уже было возможностью, ее неотчетливо сознавали, но еще не решались о ней говорить. Все, что может принести новый день, изгонялось из сознания и воображения.

А тогда я почувствовал облегчение и сам себе стал смешон со своими страхами. Спустя пять минут появилась Чарли, подчеркнуто шикарная, с лихо сдвинутой набок шляпкой, украшенной пером: юная красавица мегалополиса, собравшаяся «выйти в свет». И впрямь, нашей ближайшей заботой стало, куда «пойти»: было около девяти вечера, для кино уже поздно, а куда-то мы точно должны были отправиться, ведь для того и встретились. Наконец я вспомнил место, где представление начинается в полдесятого. Мы взяли такси и поехали в «Катакомбу»[141].

Во всем этом был легкий налет безумия, ощутимый уже тогда, когда все это переживалось и проживалось, но особенно явственный теперь, когда я оглядываюсь в прошлое: только что испытавшие смертельный страх, отдающие себе отчет в том, что завтра нам, во всяком случае Чарли, грозит смертельная опасность, мы не видели ни внешних, ни внутренних препятствий для того, чтобы отправиться в какое-нибудь кабаре.

Для первых лет нацистского господства это было совершенно типично: фасад нормальной жизни остался почти неизменным: переполненные кинозалы, театры, кафе, танцующие пары в садах и на танцплощадках, беззаботно фланирующие по улицам горожане, молодые люди, беспечно загорающие на пляжах. Нацисты в полной мере использовали этот фасад в своей пропаганде: «Приезжайте и посмотрите на нашу нормальную, спокойную, веселую страну. Приезжайте и поглядите, как хорошо у нас живется всем, даже евреям». Тайный запах безумия, страха и напряжения, жизни одним днем, макабрическое веселье танца смерти,—всего этого увидеть было нельзя, как нельзя было, разглядывая гигантскую рекламу бритв (она и сегодня висит в берлинском метро), на которой сиял победной улыбкой роскошный парень («Хорошо побрился —вот и развеселится!»»), увидеть печальную судьбу весельчака, которому напрочь сбрили голову гильотинным ножом во внутреннем дворе тюрьмы Плётцензее[142] по обвинению в государственной измене или как это там у них называется.

Разумеется, отчасти не в нашу пользу говорит то, что мы, не зная, как быть с нашим смертельным страхом и ощущением полной обреченности и беспомощности, не нашли ничего лучше, как, несмотря ни на что, наслаждаться жизнью. Сто лет тому назад молодая пара сумела бы превратить такую вот ситуацию во

что-нибудь посерьезнее, скажем, в ночь любви, которой опасность и отчаяние придали бы особую опасность и остроту. Мы же всего лишь поехали в кабаре, раз уж нам никто в этом не препятствовал. Всопервых, потому, что мы бы это и так сделали. Во-вторых, чтобы поменьше думать о неприятном. Словно бы мы не увидели во всем происходящем чего-то особенного. Это может показаться хладнокровным бесстрашием, однако, скорее всего, это было результатом эмоциональной неразвитости и свидетельством того, что даже в страдании мы не понимали всей серьезности ситуации. И позволю себе сделать обобщение: в этом проявилась одна из самых зловещих особенностей новейшей немецкой истории: для ее дел не хватало деятелей, для мук— мучеников; все происходило в каком-то наркотическом полубреду. Слабая, хлипкая эмоция была ответом на объективно чудовищное — на то, что убивали. Убивали в обстановке глупой мальчишеской ссоры; самоунижение и моральная гибель воспринимались как небольшая неприятность, досадный эпизод, и даже на мученическую смерть откликались словами: «Не повезло, значит...»

Впрочем, наша бесчувственность была в тот вечер вознаграждена с лихвой. Случай привел нас в «Катакомбу», и это было второе сильнейшее переживание вечера. Мы пришли в то единственное публичное место в Германии, где существовало своего рода сопротивление—мужественное, остроумное и элегантное. Утром я был свидетелем того, как Верховный апелляционный суд Пруссии со всеми своими вековыми традициями бесславно обрушился под грубым нацистским натиском. А вечером я увидел, как маленькая компания берлинских кабаретистов без всяких традиций, но с великолепной грацией спасала честь немецкого народа. Верховный суд пал. «Катакомба» выстояла.

Человек, который привел маленький отряд артистов к победе — а стойкость и упорство перед лицом смертоносной сверхмощи уже победа, — звался Вернер Финк[143]. Этот маленький конферансье и кабаретист, без сомнения, занимает одно из столь немногих почетных мест в истории времен третьего рейха. Он вовсе не был похож на героя и все же стал им malgre lui[16]. Он не был ни революционным артистом, ни яростным социальным сатириком, он не был Давидом с пращой. Его природной, естественной сутью была беззлобность[144]. Его юмор был мягким и грациозным, невесомо-легким; в основном он использовал каламбур, двусмысленность, игру слов, в которой достиг виртуозного мастерства. Он придумал особый прием, так называемый скрытый пуант, и, конечно, было правильно, — в чем

убеждал каждый новый день, — что жало его иронии скрыто. А вот свои убеждения он не скрывал. Финк и его кабаре остались оплотом доброты и беззлобности в стране, где эти качества подлежали уничтожению в первую очередь. В его беззлобной доброте и заключался <«згˆ]ˆ]ыгˆ;ый пуант» — подлинное, несгибаемое мужество. Он не боялся говорить о нацистах и их действительности — в центре Германии. В его репризах упоминались концлагеря, обыски, всеобщий страх, всеобщая ложь; в его насмешках по поводу всего этого было что-то несказанно тихое, печальное, скорбное, и в то же время они несли необычайное утешение.

Вечер 31 марта 1933 года быш, наверное, величайшим вечером этого артиста. В зале собрались все те, кто смотрел в завтрашний день с ужасом, как в разверстую пропасть. Финк смешил их, и они смеялись. Я никогда не слыгшал, чтобы публика так смеялась. Это быш патетический смех, смех новорожденного сопротивления, преодолевший тупое бесчувствие и отчаяние. Опасность питала этот смех, давала ему силы1— чудом казалось, что штурмовики не ворвались в зал, чтобы арестовать зрителей и исполнителей. А если бы1 ворвались, мы бы1 продолжали смеяться и в «зеленой карете»[145]. Неправдоподобным, фантастическим образом Финк возвыкил нас над опасностью и страхом.

25

\

«Если увидишь, что они ходят по квартирам, Чарли, приезжай ко мне», — сказал я на прощание; конечно, я не без смущения думал о том, как я объясню ситуацию моим родителям, но теперь это бышо не так уж важно. «У нас, надеюсь, ты будешь в безопасности. Обещай мне, что придешь!» Она растроганно пообещала воспользоваться моим предложением. Слава богу, этого не потребовалось. Она бы1 просто не застала меня дома.

На следующий день в десять утра пришла телеграмма: «Пожалуйста, приезжай как только сможешь. Франк». Я попрощался с родителями—что-то в этом прощании было от прощания тех, кто уходит на войну, — вскочил в пригородный поезд и поехал в восточное предместье Берлина к моему другу, Франку Ландау. В сущности, я быьл рад, что меня куда-то позвали — не придется отсиживаться в тихом углу во время предстоящих событий.

Франк Ландау быьл моим лучшим и стариннейшим другом. Мы дружили с первого класса гимназии, вместе занимались спортом в «Беговом союзе Старая Пруссия», а потом в «настоящих» спортивных клубах. Мы оба учились в университете

и оба стали референдариями. У нас быыли общие мальчишеские хобби и общие юношеские мечты. Мы читали друг другу свои первые литературные опыты, позднее показыгвали результаты куда более серьезных писательских трудов — ведь мы чувствовали себя в большей мере литераторами, чем юристами. Бывали времена, когда мы1 виделись чуть ли не ежедневно. Мы привыкли делиться всем пережитым, включая даже любовные истории, о которых рассказывали друг другу без малейшего чувства неловкости. Мы рассказывали их так, как если бы хотели спросить совета у своего второго ««I». За те семнадцать лет, что мы знали друг друга, у нас не случилось ни одной серьезной ссоры. Ссора с Франком — это быгло бы все равно что раздор с самим собой. В определенную пору юности с ее склонностью к самоанализу и самонаблюдению мы с наслаждением исследовали наши различия (среди которых происхождение играло наименьшую роль). Эти различия были для нас в высшей степени интересны. Они вовсе не разделяли нас.

Из нас двоих Франк был куда более интересен. Великолепно сложённый: высокий, широкоплечий, стройный, прямо-таки Аполлон, таким он был в юности. Позднее, когда его нос стал массивнее, лоб выше, а на лице появились первые морщины, он мог сойти за молодого царя Саула[146]. Его жизнь была подобна моей, но масштабнее, удачнее. Его швыряло так же, как и меня, но сильнее, он и любил, и отчаивался глубже, в его юности было больше блеска, но он и платил за этот блеск разрушительной, тяжелой тоской, которой я не знал.

В одном из периодов тоски он тогда как раз и пребывал, и период этот длился уж очень долго—почти год. Надо сказать, у этой тоски был значительный внешний повод. Год тому назад его подруга Ханни— довольно случайно и абсолютно не всерьез — ему изменила. Но это буквально сшибло с ног Франка. Звучит довольно странно и смешно, если приложить к происходящему мерки обычных любовных отношений XX века, но то была настоящая великая страсть старого стиля, одна из тех вышедших из моды, да, кажется, и вовсе исчезнувших любовных историй, что в свое время породили «Вертера», «Новую Элоизу», ««Книгу песен» Генриха Гейне и вальсы Шопена. Такого рода чувства не терпят легкомысленной неверности; и то, что разыгралось сначала в душе у него, а потом, когда Ханни поняла, что наделала, — у нее, не чем иным, как катастрофой, назвать нельзя. Все было довольно печально: разрыв;

половинчатое, сомнительное примирение; попытки сойтись с другими женщинами, ничего, кроме отвращения, Франку не приносившие, загонявшие его в еще большую безнадегу; кое-как

заштопанные отношения с Ханни, все более и более напоминающие карикатуру на их общее прошлое; наконец, усталость и апатия, все большее погружение в неотвратимое. Подобные истории широко известны, о них написаны романы, ведь это не что иное, как расплата за великое счастье. В конце концов у Франка появилась другая девушка по имени Эллен, спокойная и рассудительная маленькая дама, умница-студентка, окруженная приятной атмосферой буржуазной респектабельности, покоя и порядка, воплощение чинной эпохи выздоровления и реставрации после смертоносных революций, смут и страстей. Франк, если можно так выразиться, показал мне новую подругу совсем недавно — несколько позднее он наполовину в шутку наполовину всерьез поинтересовался, как я отнесусь к его помолвке с Эллен; затем—звание асессора, женитьба, полное обуржуазивание. Разве Эллен не сможет стать настоящей буржуазной женой? Я засмеялся и сказал, что, на мой взгляд, решение принято несколько скоропалительно. Франк тоже рассмеялся. На том разговор и закончился.

И вот сейчас я ехал к нему Отец Франка, у которого он жил, был врачом, стало быть, подлежал бойкоту И как все это будет выглядеть?

Выглядело это дико, но при всей дикости — пугающе безобидно и обыденно. Еврейские магазины —их было довольно много в восточных районах

Берлина — были открыты, но перед дверями торчали широко расставившие ноги штурмовики. На витринах были намалеваны гнусные надписи, владельцы магазинов и продавцы не показывались. П<ˆ;ре,ц лавками толпились любопытные, одни из них были явно напуганы, другие—злорадствовали. Все вместе производило впечатление чего-то неуклюжего и застопорившегося, как если бы все ожидали чего-то еще, но не могли понять чего. Видно было, что до серьезного кровопролития дело пока не дойдет. В квартиру Ландау я вошел никем из штурмовиков не замеченный. «Они», кажется, еще не вламываются в квартиры, подумал я и немного успокоился за свою подружку Чарли.

Франка дома не было. Меня принял его отец, широкоплечий, жовиальный старый господин. Он часто со мной беседовал, когда я приходил в гости к Франку, великодушно осведомлялся о моих литературных опытах, тут же затягивал хвалебную песнь Мопассану, которого почитал более всех писателей, с известной непреклонностью вынуждал меня опробовать энное количество настоек, чтобы проэкзаменовать по части тонкости вкуса. Сегодня он был оскорблен. Не ошеломлен, не напуган. Оскорблен.

Множество немецких евреев тогда испытывали точно такие же чувства, и спешу заметить, что, на мой взгляд, это говорит только в их пользу. С тех пор многие были сломлены. На них обрушилось слишком много ударов. С ними произошло то же, что происходит в концлагере с человеком, подвешенным на блок и превращенным в кровавое месиво: первый удар поражает гордость и вызывает дикое возмущение души; десятый и двадцатый бьют только по телу и вызывают только сгон физической боли. Еврейский мир в Германии за шесть лет проделал весь этот путь.

Старик Ландау еще не был превращен в кровавое месиво. Он был оскорблен. Но что меня напугало, так это то, что он воспринял меня как представителя своих оскорбителей. «Ну и что вы про все это скажете? — начал он и, не обращая внимания на мои попытки объяснить, мол, я тоже считаю все это отвратительным, пошел на меня в наступление. — Вы что, действительно считаете, будто я навыдумывал всяких ужасов про Германию и переправлял их за границу? В этот бред верит хоть кто-то из вас?» С некоторым потрясением я смотрел, как он произносит речь в свою защиту:

«Мы, евреи, были бы еще глупее, чем мы есть, если бы мы, именно мы, вздумали сейчас писать о всяких ужасах за границу Мы что, не читали в газетах, что тайна переписки отменена? Странным образом, нам позволено еще читать газеты. Неужели хоть кто-то способен поверить в идиотскую ложь, будто мы фабриковали сообщения о всевозможных ужасах? А если никто в это не верит, то что же все это должно означать? Вы мне можете это объяснить?»

«Само собой, в это не верит ни один разумный человек, — сказал я.—Но разве это что-нибудь значит? Ситуация очень проста: вы в руках врагов. Мы все в их руках. Мы пойманы, и они делают с нами что хотят».

Он рассерженно уставился на пепельницу, стоявшую на столе, и почти не слушал.

«Ложь — вот что меня возмущает, — сказал он наконец, — отвратительная, гнусная ложь. Раз они этого хотят, то пусть они нас уничтожат. Я слишком стар, чтобы бояться исчезновения. Но они не должны при этом так погано лгать. Объясните мне, почему они лгут?» Было совершенно очевидно: в глубине души он убежден в том, что так или иначе я заодно с нацистами и знаю их тайны.

В комнату вошла фрау Ландау. Она поздоровалась со мной с печальной улыбкой и попыталась меня оправдать: «Ну что ты допытываешься у друга Франка? Он знает ровно столько же, сколько и мы. Он ведь не национал-социалист». (Она сказала не

«нацист», но вежливо и официально выговорила «национал-социалист».) Однако ее муж замотал головой, словно хотел вытряхнуть из нее наши возражения. ««Нет, пусть мне скажут, зачем они врут, — уперся он, — зачем они продолжают лгать сейчас, когда в их руках власть и они могут делать все, что захотят. Я хочу это знать».

«Хорошо бы тебе заглянуть к маленькому, — сказала фрау Ландау, — он так стонет».

«Бог ты мой! — заволновался я. — Что с вашим сыном? Он — болен?» У Франка был младший брат. Родители, очевидно, говорили про него.

«Похоже на то, — отвечала фрау Ландау — он ужасно перевозбудился, когда его вчера выгнали из университета. Сегодня его весь день тошнит. Он жалуется на боли в желудке. Наверное, аппендицит, хотя, — она попыталась улыбнуться, — я никогда не слышала, чтобы аппендицит возникал от нервного перевозбуждения».

«Сегодня происходит много такого, о чем мы никогда не слышали»,—мрачно сказал старик Ландау, поднимаясь.

Тяжелыми шагами он двинулся к двери, потом повернулся ко мне и спросил: «Вы—хороший юрист, не так ли? Ответьте тогда на один вопрос: подлежит ли мой сын наказанию, если позволит мне сегодня осмотреть его, а не подвергнет бойкоту?»

«Вы не должны на него обижаться, — тихо сказала фрау Ландау. — Ему никак не отрешиться от этих мыслей. Сейчас придет Франк. Мы будем обедать. Как у вас дела? Все ли в порядке у вашего батюшки?»

Вошел Франк. Он вошел очень быстро. Вид у него был спокойный, даже слишком: в этом спокойствии было что-то напряженное и настороженное. Такое спокойствие бывает у генералов над картой боевых действий или у некоторых душевнобольных, с рассудительной последовательностью развивающих свою навязчивую идею.

«Хорошо, что ты зашел, — сказал Франк Ландау, — прости, что я задержался. По-другому не получалось. Я хотел бы кое о чем тебя попросить. Я уезжаю».

«Когда и куда?» — спросил я с тем же напряженным спокойствием.

«В Цюрих,—отвечал он,—если удастся, то завтра рано утром. Мой отец не хочет. Но ты знаешь, что было вчера в Верховном апелляционном суде?»

«Вчера я там был», — коротко сказал я. (Боже мой, ведь у Франка вчера проходило судебное заседание!)

«Значит, ты все видел, — кивнул Франк. — Мне здесь

оставаться бессмысленно. Я уезжаю. Кроме того, я помолвлен».

«С Эллен?»

«Да. Она едет со мной. Сегодня мне нужно поговорить с ее родителями. Я был бы тебе очень благодарен, если бы и ты пошел к родителям Эллен. Вообще, сегодня мне во многом нужна твоя помощь».

««А Ханни?» — спросил я.

«С ней поговорю вечером», — на какое-то мгновение его напряженное спокойствие пропало и в голосе прозвучал новый, незнакомый мне тон.

«(Спппком много для одного дня», — заметил я.

«Да, — согласился он,—поэтому я и прошу тебя помочь».

«Естественно. Я в твоем распоряжении».

И нас позвали обедать.

За обедом фрау Ландау безуспешно пыталась поддерживать обычный светский разговор. Ее муж безжалостно разрушал все эти попытки вспышками гнева, мы — печальным молчанием.

«Ну, он уже сказал вам, что собирается эмигрировать? — внезапно спросил отец Франка вне всякой связи с общим течением кое-как тянувшегося разговора. — Что вы на это скажете?»

«Я нахожу это вполне разумным, — ответил я, — он должен ехать, пока это еще возможно. Что еще остается?»

«Остаться, — невольно скаламбурил старый господин. — Вот как раз сейчас ему надо остаться и не позволять себя выгнать. Он сдал экзамены.

Он имеет право быть судьей. Посмотрим, посмеют ли они...»

«Эх, папа...»— нетерпеливо прервал его Франк.

«Боюсь, — принялся я объяснять ситуацию, — что с любым правом покончено навсегда после того, как вчера штурмовики вышвырнули из здания суда профессиональных, высококвалифицированных юристов, как пьяниц из пивнухи, — я снова вспомнил все происшедшее вчера и густо покраснел. — Боюсь, что в этой стране не осталось больше ни одной позиции, на которой можно быгло бы защищаться. Теперь мы все равно как заключенные. Побег — единственное, что нам осталось. Я тоже хочу уехать».

Я действительно хотел уехать. Конечно, еще не завтра утром...

<dB]si тоже? — спросил господин Ландау. — А вы почему?» — Он все еще не мог поверить в то, что я, будучи арийцем, не нацист; должно быгть, в последнее время он повидал слишком многих, ставших нацистами, и в другую возможность не верил.

«Потому, что мне здесь больше не нравится». — Это

прозвучало несколько самоуверенно и вызывающе, хотя я хотел сказать это как можно проще.

Старый господин не ответил и погрузился в молчание. «В один и тот же день я потеряю двух своих сыгновей», — произнес он наконец.

«Эрнст!» — воскликнула его жена.

«Мшлыша надо оперировать, — спокойно объяснил он, — у него хороший такой, острыгй аппендицит. Я это сделать не смогу. Дрожат руки. И кого я сегодня найду вместо себя? Мне что, обзванивать всех подряд и упрашивать: ах, дорогой коллега или дорогой уже-не-коллега, Бога ради, прооперируйте моего сына — правда, он еврей!»

«Прооперирует такой-то». — Фрау Ландау назвала имя, которое я забыл.

«Да, — обрадовался ее муж,—пускай прооперирует. — Он засмеялся и обратился ко мне: — Мы с ним два года в полевом лазарете оттяпывали ноги-руки. Но что он скажет сегодня?»

««I ему позвоню, — сказала фрау Ландау, — он, конечно, все сделает».—В этот день она держалась великолепно.

После обеда мы заглянули к заболевшему юноше. Он смущенно улыбнулся, словно извиняясь за глупую выходку Он старался справиться с невольно вырывающимися у него стонами и вскриками боли. «Значит, уезжаешь?» — спросил он у своего старшего брата. — ««Да». — «Ну а мне пока не уехать. Зайдешь попрощаться со мной?»

Франк выглядел подавленным, когда мы вышли из комнаты его брата. ««Это ужасно», — сказал я. «Да, это действительно ужасно, — согласился он, — я не представляю, что может случиться с мальчиком. Он совершенно не переносит несправедливости. И у него абсолютно отсутствует адекватное представление о мире, в котором он очутился. Знаешь, что он мне вчера сказал, после всего, что было? Знаешь, о чем он мечтает? Спасти Гитлеру жизнь, а потом сказать: „Вот так. Я — еврей. А теперь поговорим обо всем...“».

Мы вошли в комнату Франка. Там стояли раскрытые чемоданы, и костюмы были уже уложены. Было два часа или около того. «В шесть я встречаюсь с Эллен на остановке Ваннзее[147],—объяснил Франк, — в пять надо выйти. До этого нам нужно многое успеть сделать».

«Упаковаться?» — спросил я.

«И это тоже, — ответил он. — Но важнее другое. Я вот о чем хотел тебя попросить. У меня тут целая кипа... Старые письма, старые фотографии, старые дневники, стихи, воспоминания. Я не хочу оставлять это здесь. Взять их с собой я не могу. И

уничтожать их мне не очень хочется. Не мог бы ты взять их себе?»

«Естественно».

«Тогда нам придется все просмотреть, кое-что можно выкинуть. Давай сделаем это побыстрее».

Он открыл ящик письменного стола. В нем стопками лежали бумаги, альбомы, дневники: вся его прошедшая жизнь. Большая часть этой жизни была и моей жизнью. Франк глубоко вздохнул и улыбнулся. «Постараемся не утонуть и не увлекаться, — сказал он, — у нас мало времени».

И вот мы принялись за бумаги, вновь вскрывали старые письма, перебирали старые фотографии— ах, и что же обрушилось на нас, что на нас нахлынуло с этих пожелтевших страниц!

То была наша юность, сбереженная здесь, в выдвижном ящике письменного стола, словно в гербарии. Ее запах сделался еще концентрированнее, крепче, он кружил голову тем сильнее, что к нему примешались смерть, минувшее, невозвратимое! Старые фотографии, на которых мы и наши приятели в спортивной форме после игры, фотографии байдарочного похода с девушками — «Боже мой! Помнишь?» — пляжные снимки; наши лица, усеянные солнечными бликами; на этих снимках всюду светило солнце, как во время всех наших путешествий. Снимки теннисного клуба самых счастливых наших лет. Где теперь друзья, которые тогда стояли рядом с нами рука об руку, плечом к плечу; где веселые девчонки? На этих снимках они в лихом прыжке, умело отбивающие мяч, навеки застывшие в полете. Франк вскрывал конверты; рукописи, когда-то бывшие такими интимными, такими вдохновенными, вновь смотрели на нас, вновь напоминали о себе. Здесь были и листки, исписанные моей рукой, тем почерком, каким он был несколько лет тому назад...

Кто не знает эту великую «уборку» воспоминаний, это погружение в прошлое? Хорошее занятие для дождливого летнего воскресенья. Кто не знает печальную прелесть этого заклинания мертвых, необоримое искушение еще раз все прочесть, еще раз все прожить? Кто не знает этого дурмана, будто от опиума, который одолевает тебя и делает мягким, сентиментальным. Как правило, на это тратится целый день, а по большей части еще и ночь, и чем дольше это длится, тем больше времени уходит на грезы и мечты.

У нас было немногим более трех часов, и мы сломя голову помчались через страну наших грез со скоростью, сравнимой разве что со скоростью погони в мультипликационном фильме. Кроме того, приходилось быть суровыми и многое уничтожать. Только самое ценное могло поместиться в большом ящике, чтобы

пылиться там до бог знает какого далекого часа досуга — когда и где доведется его пережить? Все остальное было приговорено к гибели в корзине для бумаг. Скорый суд над собственной юностью. Что весомо? Что идет в счет? Что уничтожить, что пощадить? Мы делались все молчаливее за нашей странной работой. Часы шли. Надо было спешить, спешить убивать или укладывать в гроб собственную юность.

Дважды нас прерывали. П<^^^:^гй раз пришла фрау Ландау и сказала, что приехала машина. Брата Франка сейчас повезут на операцию. Фрау Ландау вместе с мужем поедут в клинику Если Франк хочет попрощаться, то сейчас самое время. «Да», — ответил Франк. Странное прощание: один брат отправлялся на операционный стол, другой в изгнание. («Извини, я на минуту»,— сказал Франк и вышел вслед за своей мамой.

Он отсутствовал ровно пять минут.

Спустя час нас прервали еще раз. В доме не было никого, кроме нас и горничной. Мы услышали отдаленный звонок в дверь, потом к нам постучалась горничная и сказала, что пришли два штурмовика.

Это были толстые, неуклюжие парни в походных сапогах, коричневых рубашках и бриджах: не эсэсовские акулы, скорее ребята вроде тех, что привозят вам из магазина ящик пива и, получив чаевые, берут под козырек, буркнув грубовато-смущенное «спасибо». Новые положение и задание были для них явно непривычны, и, чтобы скрыть растерянность, они изо всех сил подчеркивали свою выправку

«Хайль Гитлер!» — рявкнули они хором.

Пауза. Вслед за тем один штурмовик, тот, что по всем признакам был поглавнее, спросил:

«Вы—доктор Ландау?»

«Нет, — отвечал Франк, — я его сын».

««А вы?»

«А я—друг господина Ландау», — сказал я.

«Где ваш отец?»—допытывались они у Франка.

«С моим братом в клинике», — ответил Франк. Он говорил очень сдержанно, берег слова.

«Что он там делает?»

«Моему брату срочно требуется операщм».

«Тогда другое дело,—штурмовик удовлетворенно кивнул. — А ну-ка покажите нам приемтуто».

«Прошу»,—сказал Франк и распахнул двери. Оба протопали в приемную, пустую, белую и прибранную. Штурмовики строго и опасливо-изучающе оглядели сверкающие медицинские инструменты.

«Кто-нибудь бытл здесь сегодня?»—спросил предводитель.

«Нет», — ответил Франк.

«Тогда другое дело, — повторил главный, кажется, это быша его любимая присказка,—тогда покажите нам другие помещения».

И он с напарником, стуча сапогами, прошел по всем комнатам, бросая вокруг недоверчивые, испыг тующие взгляды, словно судебный исполнитель, высматривающий, на что из имущества наложить арест. «Значит, сегодня никого нет?— наконец спросил он и, после того как Франк это подтвердил, в третий раз повторил: — Тогда другое дело». Мы стояли у входной двери. Штурмовика мялись, как будто понимали, что должны предпринять что-то

еще, но совершенно не знают что... Спустя некоторое время они, прервав общее молчание, оглушительно гаркнули: «Хайль Гитлер)!»—и затопали вниз по лестнице. Мы закрыли за ними дверь и молча вернулись к нашему занятию.

Время бежало. Под конец мы уже не вникали в подробности. Целые пачки писем непросмотренными отправлялись в корзину для бумаг. Наверное, мы куда отчетливее, чем час назад, почувствовали, насколько основательно разрушена наша юность, насколько она теперь стала недействительной. Что уж тут жалеть об остатках, почему бы и их не разрушить? Пожалуйста!

Пять часов. Мы завязали ящик с бумагами и осмотрели результаты своих разрушительных занятий. «Вещи я сложу ночью», — сказал Франк. Потом он позвонил в клинику а я — Чарли. Затем он сказал горничной, что уходит.

«Родители знают о твоей помолвке?»

«Нет. На сегодня с них и так хватит. Пусть все идет, как идет».

На газетном щите висел свежий номер «Атаки»[148] с бодрящим заголовком «Знак бури».

Мы сели в электричку и из восточных предместий Берлина поехали через весь город на запад. В вагоне у нас впервые было достаточно времени, чтобы поговорить. Но разумного, связного разговора так и не получилось. Слишком много людей входило и выходило, рассаживалось рядом с нами. И ни об одном из этих людей мы не знали, не враг ли он нам. Кроме того, надо было обдумать те вещи, на которых нам пришлось прерваться, — разного рода поручения и просьбы. Планы Франка были еще очень неясны. В Швейцарии он рассчитывал стать доктором права, учиться и жить на 200 марок в месяц. (Тогда еще можно было посылать за границу 200 марок ежемесячно.) В Швейцарии у Франка был какой-то богатый дядюшка. Наверное, он смог бы

помочь хоть чем-то... «Но сначала — выехать. После всего, что случилось, скоро, боюсь, перестанут выпускать».

Действительно, в тот день уже был приготовлен коктейль, который, правда, пока поставили на лед, а выпили спустя пять лет. На вокзале Ваннзее нас встретила девушка Франка, Эллен, ни слова не говоря, она протянула нам газету. Первое, что мы увидели, была заметка: «Вводится выездная виза». Обоснование было все то же: необходимость пресечения клеветнических слухов об ужасах, творящихся в Германии. Ясное дело.

«Черт! — сказал Франк. — Похоже, мы в западне». И Эллен, хорошо воспитанная, прекрасно владеющая собой маленькая дама, молча сжала кулаки и погрозила небу—жест, естественный на сцене или на картине в музее, но для хорошо одетой молодой дамы на берлинском пригородном вокзале он был совсем необычен.

«Наверное, распоряжение не сразу вступит в силу», — предположил я.

«Какая разница,—заметил Франк,—теперь нам в самом деле нужно спешить. Может быть, все-таки повезет. Если же нет, tant pis[17]».

Мы молча шли мимо загородных вилл, мимо садов, здесь было тихо, нигде ни следа всего того, что случилось в этот день, ни одного разбитого стекла, ни одной испакощенной витрины. Эллен вцепилась в руку Франка, я нес ящик с бумагами, в котором было все наследство моего друга. Смеркалось, начинал моросить мелкий теплый дождичек. Я почувствовал легкое отупение. Все вещи будто расплывались, теряли свои очертания из-за глубокого чувства нереальности всего происходящего. Конечно, в этом было нечто угрожающее.

Мы слишком глубоко и внезапно очутились в самом центре невозможного, чтобы понимать: есть ли у него вообще границы. Е<сли бы завтра объявили, что неизвестно за какие преступления все евреи будут арестованы или должны покончить жизнь самоубийством, никто из нас не удивился бы. «Тогда другое дело»—удовлетворенно сказали бы штурмовики, узнав, что все евреи покончили с собой. Улицы выглядели бы как обычно. «Тоща другое дело»—и business as usual. Виллы. Приветливые сады. Весенний ветерок и мелкий теплый дождичек.

Я вздрогнул. Мы пришли — и я вдруг почувствовал неловкость, осознав, что я здесь чужак, что у меня нет никаких оснований быть здесь. Но не стоило беспокоиться. В доме было так много людей, что на меня не обратили внимания. Снаружи дом выглядел респектабельным, невозмутимо-молчаливым, внутри же все напоминало лагерь беженцев, который хочет

казаться беззаботным светским обществом за чайным столом. В больших красивых гостиных и залах сидело и стояло человек двадцать: гости, молодые друзья дома. Они и прежде сюда приходили довольно часто, но сегодня собрались все, чтобы вот тут, где прежде наслаждались беседой, музыкой, найти помощь и утешение... Между тем каждый из них сталкивался с заботами и нервной возбужденностью других, так что, при всей воспитанности и вежливости гостей и хозяев, в доме царила атмосфера неописуемой тихой паники. Передавались чашки с чаем, помешивался сахар: «пожалуйста», «будьте добры», «спасибо», «благодарю вас» — все это звучало не громче, чем журчание светской беседы, но в то же время так, что я не удивился бы, если бы ее внезапно прервал отчаянный крик.

С одним из гостей я был шапочно знаком: как и я, он был референдарием. Он пришел попросить Эллен об одолжении. Ему надо было перевести письмо в Брюссель адвокату, с которым работал. «Оно здесь».—И мой шапочный приятель вытащил записку из нагрудного кармана. От этой записки теперь зависела его жизнь. «Хорошо, давайте его сюда», — сказала Эллен и принялась что-то вписывать карандашом, но тут ее кто-то позвал, еще кому-то понадобилась ее помощь, а потом она вернулась и вновь взялась за перевод. Тут ее о чем-то попросила мама, в очередной раз принявшись за перевод письма, Эллен вдруг забормотала: «Реферетндтрий... Как будет по-французски референдарий?—Внезапно она сорвалась: — Не сердитесь, я не могу—сегодня не могу, сейчас не могу, простите». «Пожалуйста, не утруждайте себя»,—вежливо отвечал несчастный и отошел прочь с потухшим взглядом.

Отец Эллен, толстый и дружелюбный господин, с приветливой улыбкой хлебосольного хозяина веселыми шуточками безуспешно пытался переломить общее паническое настроение. Мать Эллен в уголке обсуждала с Франком и еще несколькими гостями газетное сообщение о визовом режиме. Я присоединился к этой группе. «Если бы, по крайней мере, знать, когда он вступит в силу!» — сказал один из гостей. «Разве об этом не написано?»—удивился другой. ««Нет, ничего, вот, пожалуйста, посмотрите...» — И мать Эллен протянула уже изрядно обтрепавшийся газетный листок. «Нужно позвонить в полицай-президиум»,—предложил я.«.. .И выдать себя с головой»,— подхватил кто-то. «Можно назваться чужим именем,—пожал я плечами.—Если хотите, я охотно это сделаю».

«О! Вы в самом деле можете позвонить? — воскликнула мать Эллен, и всеобщее облегчение было таким, словно я оказал всем невесть какую великую услугу.—Только, пожалуйста, пожалуйста,

—взмолилась хозяйка дома, — не с нашего аппарата! — И я заметил, насколько тонка оболочка ее сдержанности, насколько близка она под демонстрируемой всем вежливой улыбкой к истерическому воплю. — Если вы хотите оказать нам такую любезность—за углом на улице стоит телефон-автомат. Подождите, у вас есть мелочь?..»

Между тем к нам подошел отец Эллен и отвел в сторону Франка: «Эллен сказала мне, о чем вы хотели со мной поговорить, что ж, обойдемся без излишних формальностей». Они направились в комнату отца Эллен, а я вышел на улицу в поисках телефонной будки.

Я назвался чужим именем, настолько заразительно бышо общее настроение. Дозваниваться пришлось довольно долго. В полицай-президиуме меня долго переключали с одного телефона на другой. Наконец я попал к тому, кто знал точным ответ. Распоряжение вступало в силу со вторника. «Благодарю вас», — оказал я и с огромным облегчением повесил трубку

Но когда я вернулся в дом к Эллен, комната, из которой я уходил, быша почти пуста. Остался только один очень старый человек — наверное, он и раньше тихо и незаметно сидел в этой комнате, — вероятнее всего, это быш чей-то дедушка. Он походил на тех старыгх евреев, которых любил писать Рембрандт[149]. Острая, редкая бородка, лицо, изборожденное морщинами. Старик сидел в кресле и очень спокойно курил трубку, должно бытть размышляя. Гости, по всей видимости, разошлись по другим комнатам просторного дома. Я хотел быыло спросить об этом старика, но он опередил меня и заговорил сам, подняв на меня свои маленькие, глубокие и ясные глаза.

«Вы ведь не еврей?» — спросил он. И после того как я объяснил, что пришел сюда со своим еврейским другом, старик ответил с огромной важностью: «Это хорошо, что вы не бросаете своего друга». Я несколько смешался, но как же я быш удивлен, когда услышал продолжение: «Кроме всего прочего, с вашей стороны это очень разумно. Вы это знаете?»

Казалось, он наслаждался моей растерянностью. Деловито посасывая трубочку, он наконец пояснил: «Евреи это переживут. Не верите? О, не беспокойтесь, они выживут. — Он говорил старческим, надтреснутым, но все еще сильным голосом. — Уже были те, кто хотел истребить евреев. Евреи все пережили. Они и это переживут и будут это помнить. Вы слышали о Навуходоносоре?[150]»

«Библейском Навуходоносоре?» — недоверчиво уточнил я.

«Том самом, — подтвердил старик и снова посмотрел на меня маленькими ясными глазами, в которых промелькивали

насмешливые огоньки. — Он хотел истребить евреев, и он был великий человек, не то что этот ваш Гитлер, и его империя была больше и могущественнее германского рейха. И евреи были тогда моложе, моложе и слабее, у них тогда мало что было в прошлом. А он был великий человек, царь Навуходоносор, и умный человек, и жестокий человек».

Старик говорил медленно, будто проповедовал, он наслаждался своей речью, не прекращал курить, делая длинные затяжки и выпуская дым, чуть ли не после каждого слова. Я вежливо его слушал.

«Но у него ничего не получилось, да, ничегошеньки не получилось у царя Навуходоносора, — продолжал он, — при всей его власти, со всем его могуществом, умом и жестокостью ни черта у него не получилось. Он так забыт, что вы чуть не рассмеялись, когда я его назвал. Только евреи помнят о нем. Потому что евреи живут и будут жить. Да, евреи живехоньки. И тут приходит господин Пгтлер и снова хочет их уничтожить? Так это у него тоже не получится, у вашего господина Гитлера Не верите?»

«Я надеюсь, что вы окажетесь правы», — осторожно ответил я.

«Хочу вам кое-что открыть, — сказал он, — маленький трюк, трюк Господень, если позволите. Все, кто преследует евреев, терпят неудачу... Как так? Почему? Откуда мне знать? Но это так».

Покуда я рылся в памяти, разыскивая исторические примеры и контрпримеры, старик снова принялся рассказывать:

«Посмо'цэите на царя Навуходоносора. Он был великий человек в свое время. Царь царей, великий, великий человек. Однако в старости он сошел с ума, встал на четвереньки и отправился на луг жевать траву, да, он жевал траву, будто корова. — Старик умолк; некоторое время он молча попыхивал трубкой, потом вдруг заулыбался, и даже глаза у него молодо заблестели, словно его согрела веселая, очень приятная мысль. — Наверное, — сказал он, — даже наверняка господин Гитлер когда-нибудь тоже встанет на четвереньки и будет жевать траву, как корова. Вы молоды, и вы это увидите. А я нет». — Внезапно он неудержимо и весело расхохотался. Странный, беззвучный хохот сотрясал все его тело, так что он поперхнулся табачным дымом и закашлялся.

Но тут в приоткрытую дверь заглянула хозяйка дома. «Ну что? — с нетерпением спросила она, я порадовал ее хорошей новостью и получил в ответ несколько преувеличенную благодарность.—А теперь вам нужно выпить бокал вина за счастье молодой пары, — сказала мать Эллен и потянула меня за собой. — В;ы ведь уже все знаете?»

Прежде чем выйти, я поклонился старику, и он, несмотря на все свое радостное возбуждение, в ответ кивнул с большой важностью. В другой комнате стояли с бокалами вина в руках все без пяти минут беженцы, поневоле ставшие гостями на помолвке, и с весьма озабоченными лицами пили за Франка и Эллен, которые были тут же и принимали поздравления. Они не выглядели ни счастливыми, ни несчастными. То была странная помолвка. Мою новость — что в течение двух дней разрешалось бегство из страны, восприняли как подарок к помолвке. Многие забеспокоились и заговорили об эмиграции.

Полчаса спустя я снова ехал с Франком в пригородном поезде. Уже была ночь, дождь лил вовсю. Вагон был пуст. Казалось, что вот теперь-то, впервые за целый день, мы сможем поговорить. Но мы молчали.

Внезапно он спросил: «Что ты думаешь обо всем этом? Ты ведь еще ничего толком не сказал. Я правильно поступил?»

««Не знаю, — ответил я, — в любом случае, правильно, что завтра ты уезжаешь. Я бы и сам хотел уехать, да пока не могу».

««I должен был расставить все точки над „i“, — сказал он так, словно бы я упрекнул его в чем-то, — ты же понимаешь, я не могу уезжать с запутанными, недоусгроенными делами. А теперь я помолвлен с Эллен, она едет со мной, с Ханни покончено. Все точки над „i“ расставлены».

Я кивнул: «Сам-то ты доволен?»

«Не знаю».

Спустя некоторое время он засмеялся: «Наверное, все это — жуткая глупость. Не знаю, — повторил он, — все произошло слишком быстро».

«Ты увидишься с Ханни?» — спросил я.

«Да,—кивнул он. И внезапно, с огромной теплотой добавил, положив мне руку на плечо: — Можешь оказать мне в самом деле большую услугу? В ближайшие дни позвони Ханни и попытайся чем-нибудь утешить ее. И, — продолжил он и сделался таким человечным, теплым, каким не был давно, а уж тем более не был в этот день, — и хоть чем-нибудь помоги ей с ее паспортными делами. У нее нет паспорта. В самом деле, чудовищная нелепость, но у нее нет гражданства. Она родилась в городке, который тогда был венгерским, а теперь он находится в Чехословакии[151]. Ее отец умер в двадцатом, и никто не знает, успел он получить хоть какое-то гражданство или нет, и теперь ни Венгрия, ни Чехословакия не хотят выдавать Ханни паспорт. Паршивая история».

«Конечно, — сказал я, — я посмотрю, что тут можно сделать. Но вот насчет утешить — ну...»

«Да, — повторил Франк и печально усмехнулся, — насчет утешить это, конечно, тяжело».

Некоторое время мы молчали, и поезд мчал нас сквозь ночь и дождь. Внезапно Франк сказал: «Наверное, все было бы теперь совсем по-другому, если бы у Ханни был паспорт».

Мы вышли на вокзале «Зоологический сад». Впервые улицы свидетельствовали: в Германии — революция. Свидетельство это было, впрочем, весьма мрачного свойства. Светлыге, сияющие по ночам кварталыг развлечений сейчас были темны, мертвы, пустынны. Такими их еще никогда не видели.

Мы стояли перед занятой телефонной будкой. Франк спешил и нервничал. Он обещал позвонить Хании гораздо раньше. «Теперь Ханни, — задумчиво сказал он, — потом отец, а потом собраться. Ты мне очень помог. Спасибо тебе».

«Счастливого пути,—ответил я,—главное, продержись эту ночь. Завтра все будет позади. Завтра ты уже будешь далеко отсюда». И только в этот момент я окончательно осознал, что мы1 прощаемся.

Наверное, надо бышо сказать еще что-нибудь. Но быгло уже слишком поздно. Телефонная будка освободилась. Мы пожали друг другу руки и сказали «adieu».

ПРОЩАНИЕ

26

Прежде чем я продолжу свою историю—частную историю случайного, разумеется, не особо интересного и не слишком значительного молодого человека в Германии 1933 года, — я хотел бы достичь некоторого взаимопонимания с читателем; с тем читателем, который не без оснований полагает: автор несколько преувеличивает его, читательский, интерес к его, авторской, случайной, частной и в самом деле не особо значительной персоне.

Я заблуждаюсь—или и впрямь слышу шелест— это мой читатель, до сих пор одаривавший меня своим благосклонным вниманием, нетерпеливо перелистывает страницы. Этим он хотел бы сказать: «Что все это должно означать? Какое нам дело до того, что в 1933 году в Берлине молодой человек NN боялся за свою подружу если она опаздывала на свидание, малодушно вел себя со штурмовиками, общался с евреями и — как мы увидим в дальнейшем — скоро распрощается и с товарищами, и с жизненными планами, и с довольно незрелыми, весьма условными убеждениями? В 1933 году в Берлине, надо полагать, разыгрывались события поистине исторического значения. Если уж мы продолжим чтение, то хотелось бы услышать именно об этих событиях, хотелось бы узнать, какие закулисные переговоры велись между Гитлером и Бломбер-гом или Шлейхером и Рёмом, кто поджег рейхстаг и почему бежал Браун, а Оберфорен[152] застрелился. Не нужно отделываться рассказами о личных переживаниях некоего молодого человека, который знает о тех событиях не больше, чем мы, и хотя был ближе, никогда всерьез не вмешивался в происходящее, так что даже хорошо осведомленным свидетелем он не является».

Тяжелое обвинение; я должен собрать все свое мужество, чтобы на него ответить и объяснить, почему я не считаю это обвинение справедливым и почему серьезный читатель не потратит свое время зря, если познакомится с моей частной историей. Все правда: я не участвовал в событиях, я не был хорошо осведомленным свидетелем совершающейся истории, и никто не оценивает моей личности более скептично, чем я сам. И все-гаки я уверен — и прошу не считать это проявлением самонадеянности, —что рассказ о случайной, частной истории моей случайной, частной личности представляет собой важную, еще не написанную часть немецкой и европейской истории, куда более важную и значимую для будущего, чем если бы я

рассказывал о том, кто на самом деле поджег рейхстаг или о чем на самом деле разговаривали Гитлер и Рём.

Если рассматривать обычные труды по истории, — обращаясь к которым слишком легко забываешь, что перед тобой лишь абрис вещей, но не сами вещи, — возникает искушение поверить, будто бы история— это события, происходящие при участии нескольких десятков людей, и эти люди вершат «судьбы народов»; будто бы их-то решения и поступки и являются тем, что позднее назовут «историей». В этом случае история нынешнего десятилетия предстала бы чем-то вроде шахматного турнира, в котором участвуют Гитлер, Муссолини, Чан Кайши[153], Рузвельт[154], Чемберлен[155], Даладье![6] и еще несколько десятков людей, чьи имена в той или иной степени у всех на слуху. Мы, все прочие, безымянные,—в лучшем случае — объекты истории, пешки в шахматной партии; их двигают вперед или оставляют на месте, ими жертвуют, их жизнь, если она у них вообще есть, разыгрывается в другом мире и не связана с тем, что происходит с ними на шахматной доске, на которой, сами того не зная, они стоят.

Звучит парадоксально, но все же фактом является то, что действительно большие исторические события разыгрываются между нами, безымянными пешками, затрагивают сердце каждого случайного, частного, приватного человека, и против этих личных и в то же время охватывающих массы решений, которые их субъекты порой даже не осознают, абсолютно бессильны могущественные диктаторы, министры и генералы. Знак, характерный признак этих решающих исторических событий — то, что они никогда не проявляются как массовые; дело в том, что масса, как только она становится таковой, утрачивает способность к действию: настоящее историческое событие всегда проявляется как частное, личное переживание тысяч и миллионов одиночек.

Я говорю не о каких-то туманных исторических конструкциях, но о вещах, чей в высшей степени реальный характер невозможно оспорить. Что, к примеру, быгло причиной поражения Германии и победы1 союзников в 1918 году? Высокое полководческое искусство Фоша[157] и Хейга[158] и отсталая стратегия Людендорфа? Ни в коей мере! Главной причиной быыло то, что «немецкий солдат», то есть безымянная десятимиллионная масса, внезапно не захотел, как прежде, жертвовать своей жизнью во время каждого наступления и оборонять свои позиции до последнего бойца. Где произошло это решающее изменение? Не на тайных бунтовских сходках немецких солдат, но в сердце каждого из них, каждого в отдельности. Большинство из солдат едва ли сумели

бы1 найти подходящие выражения, чтобы рассказать о происшедшей с ними перемене; это в высшей степени сложное, судьбоносное в полном смысле слова, психологическое явление каждый из них выразил бы разве что возгласом: «Дерьмо!» Если бы среди солдат нашлись бы обладающие даром слова и если бы их спросили о случившемся, то каждый рассказал бы о множестве в высшей степени случайных, в высшей степени частных (а также и не слишком интересных и не слишком значительный) мыслей, чувств и переживаний; здесь оказались бы письма из дома, личные отношения с фельдфебелем, соображения насчет кормежки и размышления о войне, ну и (поскольку каждый немец немного философ) о смысле и ценности жизни. Не мое дело анализировать психологические процессы, решившие исход той войны, однако думаю, они представляют интерес для всех, кто считает, что рано или поздно эти процессы—или подобные им—должны быть описаны.

Меня занимает другое, интересное, важное и сложное явление подобного рода, а именно те душевные движения, реакции и превращения, которые, будучи синхронными и массовыми, как раз и сделали возможным существование третьего рейха Гитлера и ныне образуют его невидимый фундамент.

В истории возникновения третьего рейха есть одна неразрешимая загадка, которая, как мне кажется, еще интереснее, чем вопрос о том, кто же поджег рейхстаг. Вот эта загадка: а где, собственно говоря, были немцы? Еще 5 марта 1933 года большинство их голосовало против Гитлера. Что стало с этим большинством? Оно умерло? Исчезло с лица земли? Или, хоть и не сразу но сделалось нацистским? Как могло случиться то, что с их стороны не было ни одной заметной реакции?

Наверное, многие из моих читателей были знакомы в прошлом с каким-нибудь немцем, и, наверное, большинство моих читателей не без оснований полагают, что их немецкие знакомые — нормальные, дружелюбные, цивилизованные, люди как люди, если оставить в стороне некоторые национальные особенности (впрочем, они есть у всех). Наверное, почти все мои читатели, когда слышат речи, раздающиеся из Германии, и чувствуют запах, которым оттуда несет, думают о своих немецких знакомых и в ужасе спрашивают: «Что с ними? Неужели их место—в этом сумасшедшем доме? Неужели они не замечают того, что делают с ними и от их имени делают с другими? А может, они все это одобряют? Что же это за люди? Кем мы должны их считать?»

На самом деле за этими непонятными вещами стоят странные психические явления и психический опыт—в высшей степени

странные явления и многое раскрывающие психические процессы, чьи исторические последствия невозможно предвидеть. Эти явления и занимают меня. К ним не подступиться, если не изучить их там, где они разыгрываются: в частной жизни, в чувствах и мыслях отдельного немца. Там они разыгрываются прежде всего потому что уже давно после расчистки политического пространства агрессивное и прожорливое государство ведет наступление на частную жизнь. Оно и там занято своим делом: выбрасыванием вон или порабощением противников, непокорных ему людей; в приватнейшем, интимном мире идет сегодня в Германии борьба, которую не рассмотреть, глядя в бинокли на поля политических сражений. Что человек ест и пьет, кого он любит, что делает в свободное время, с кем общается, мрачен он или весел, что он читает и какие картины вешает на стену—вот форма, в которой сегодня в Германии идет политическая борьба; вот поле, на котором уже сегодня решается исход сражений грядущей мировой войны. Звучит неправдоподобно, гротескно, но это так!

Поэтому я полагаю, что, рассказывая свою, казалось бы, такую частную, такую незначительную историю, я на самом деле веду речь о подлинной истории—и, возможно, о будущей истории. Поэтому я даже рад, что моя личность не столь уж значительный, выдающийся объект для изображения; будь она более значительной, она была бы менее типичной. И наконец, поэтому я надеюсь, что могу предложить серьезному читателю, у которого нет времени на пустяки и который ждет от книги настоящей информации и настоящей пользы, мою сугубо личную хронику.

Конечно, я готов попросить прощения у простого, непритязательного читателя, дарящего мне свое расположение и участие без всяких условий и готового читать историю странной жизни в странных обстоятельствах—ради нее самой. Извините меня за это отступление и за любые другие отступления того же рода. Я не могу от них отказаться потому, что мои размышления, как мне кажется, непосредственно связаны с перипетиями моей истории. Однако чем же еще я заслужу прощение, если не продолжу рассказ как можно скорее?

27

Первое апреля было высшей точкой начала нацистской революции. В следующие недели все указывало на то, что история вновь возвращается в сферу газетных сообщений. Конечно, террор продолжался, праздники и шествия продолжались, но вовсе не в мартовском tempo furioso[18]. Концлагеря стали обычным государственным учреждением. Предлагалось привыкнуть к ним

и держать язык за зубами. «Выравнивание»!, то есть захват нацистами всех учреждений, местных органов власти, руководства крупных компаний, союзов, обществ и прочих объединений, шло полным ходом, но теперь оно было педантично-систематичным; теперь оно проходило в полном соответствии с законами и распоряжениями, а не как дикие и непредсказуемые «отдельные акции». Нацистская революция обзавелась чиновничьей физиономией. Образовалась, например, некая «почва фактов» — на нее немцы в силу старой своей привычки непременно желали опереться.

Снова разрешили покупать продукты и вещи в еврейских магазинах. Правда, это не поощрялось, призыв к бойкоту никто не отменял. Многочисленные плакаты клеймили неприсоединение к бойкоту как «предательство родины», но запрета еврейских магазинов все же не было. Штурмовики не стояли больше перед дверями этих магазинов. Правда, еврейские служащие, врачи, адвокаты, журналисты были уволены, но по закону, в согласии с таким-то и таким-то параграфом. Кроме того, имелись исключения для фронтовиков и для старых людей, служивших в имперской армии. Можно ли было требовать большего? Суды, деятельность которых была приостановлена на целую неделю, вновь получили разрешение заседать и заниматься практикой. Конечно, упразднили несменяемость судей, но опять-таки в соответствии с законом. Одновременно этим судьям, которых теперь в любую минуту могли вышвырнуть на улицу, втолковывали, мол, им дана неизмеримо большая власть, чем прежде, — теперь они не просто судьи, но «народные судьи», «судьи-короли»! Теперь им не нужно боязливо оглядываться на закон. Им не обязательно придерживаться буквы закона. Все понятно?

Странно было заседать в Верховном апелляционном суде, в том же зале, на тех же скамьях, и делать вид, что ровно ничего не произошло. Те же вахмистры стояли у дверей и защищали честь и достоинство судебной палаты от любого вмешательства извне. Даже судьи по большей части остались теми же. Конечно, еврея-камергерихтсрата в нашей палате больше не было, само собой, его не было. Нет, нет, его не уволили. Он был очень старый человек и работал судьей еще во времена германской империи, так что его оставили на службе, но запихнули не то в земельный, не то в финансовый отдел участкового суда низшей инстанции. Вместо него в нашем сенате заседал теперь странно выделявшийся среди седовласых камергерихтсратов молодой, белокурый, краснощекий, долговязый амтсгерихт-срат. Камергерихтсрат у судейских — что-то вроде генерала,

амтсгерихтсрат — вроде оберлейтенанта. Про него шептали, что он эсэсовец и там, в SS, у него большой чин. Он приветствовал всех входящих выкинутой вперед рукой и громогласным воплем: «Хайль Гитлер!» Президент сената и другие старые господа в ответ как-то неотчетливо взмахивали рукой и пробормотывали нечто совершенно невнятное. Прежде, во время перерыва на завтрак, они любили болтать в совещательной комнате, тихо и вежливо, как принято у старых джентльменов, они обсуждали события дня или знакомых юристов. Теперь с этим было покончено. Теперь царило глубокое, смущенное молчание, когда старики в перерывах между заседаниями ели свои бутерброды.

Теперь частенько и заседания проходили очень странно. Новый член сената бойко и уверенно излагал свои совершенно ошарашивающие познания в области права. Мы, референдарии, только что едавшие экзамены, переглядывались во время его выступлений. «Коллега, — говорил наконец с подчеркнутой, обезоруживающей вежливостью президент сената,—мне кажется, вам стоит заглянуть в §816 Гражданского кодекса». После чего облеченный высоким доверием молодой судья, напоминая завравшегося на экзамене студента, шелестел страницами кодекса и, слегка смущенный, но все с той же бойкой уверенностью и молодой бодростью, отвечал: «А! Вот как! Выходит, всё ровно наоборот!» Такие вот триумфы одерживала старая юстиция.

Но бывали и другие случаи—когда новый, с позволения сказать, коллега не признавал поражения и, как заправский оратор, повысив голос, читал нам целую лекцию—дескать, старое параграфное право приостановлено; он поучал опытных, пожилых судей, мол, надо понимать дух, а не букву закона, цитировал Гитлера и, встав в актерскую позу героя, настаивал на принятии совершенно невообразимых постановлений. Жалко смотреть было на старых судей во время этих лекций. С невероятно удрученным видом они утыкались в разложенные перед ними бумаги, вертели в руках скрепки или промокашки. За глупости, подобные тем, которые им теперь приходилось выслушивать в качестве высшей государственной мудрости, они раньше проваливали кандидатов на асессорских экзаменах, но теперь за идиотским витийством стояла вся мощь государства, стояли угроза отставки из-за недостаточной национально-политической надежности, безработица, концлагерь... Старики покашливали: «Мы, естественно, придерживаемся ваших взглядов, коллега, — говорили они, — но вы же понимаете. ..» И упрашивали молодого невежду хоть немного следовать Гражданскому кодексу, и пытались спасти то, что еще можно было спасти.

Таким был Прусский апелляционный суд в Берлине в апреле 1933 года. Это был тот самый суд, работники которого сто пятьдесят лет тому назад предпочли пойти под арест, вместо того чтобы изменить приговор по требованию Фридриха Великого, которое они посчитали незаконным[160]. В Пруссии и сейчас каждый школьник знает эту легенду; правдива она или нет, неважно — она показательна в смысле репутации этой судебной палаты: Фридрих во время строительства Сан-Суси хотел снести ветряную мельншу, которая и теперь стоит рядом с дворцом. Он предложил хозяину продать мельницу. Мельник наотрез отказался. Король пригрозил, мол, он мог бы ее конфисковать, на что мельник ответил: «Да, ваше величество, могли бы, если бы в Берлине не было судебной палаты».

В 6933 году Гитлеру не пришлось утруждать себя лично, чтобы «выровнять» апелляционный суд и его деятельность. Для этого было достаточно пары-тройки молодых амтсгерихтсратов с нагловатыми манерами и серьезными пробелами в юридическом образовании.

Я недолго оставался свидетелем гибели этого великого, почтенного и гордого учреждения. Время моей службы в качестве референдария подходило к концу; но пару месяцев я еще проработал в апелляционном суде третьего рейха. Это были печальные месяцы. Месяцы прощания во всех смыслах. Я чувствовал, что нахожусь у постели умирающего. Я чувствовал, что здесь больше нечего делать, что дух, который в нем царил, улетучивается все бес-следнее; в этом здании меня все чаще охватывало знобящее чувство бесприютности. Я ведь не был юристом по призванию, нет, и я не особо стремился к судейско-административной карьере, которую прочил мне отец. Но все же я ощущал некую причастность к этому месту и к этому делу, поэтому с великой тоской наблюдал, как мрачно и бесславно тонет тот мир, в котором я существовал не без известного чувства родного дома, не без участия и не без определенной гордости за этот дом. Этот мир рушился на моих глазах, он распадался, истлевал— а я ничего, совершенно ничего не мог сделать; только и оставалось пожать плечами и с печальной ясностью осознать, что здесь для меня нет будущего.

Со стороны, правда, все выглядело иначе. Спрос на референдариев возрастал ежедневно и очень ощутимо. Национал-социалистический союз юристов[161] присылал нам (и мне в том числе) льстивые письма: мы, дескать, то поколение, которому предстоит построить новое немецкое право. «Вступайте в наши ряды, работайте над решением великих задач, которые ставит перед нами воля фюрера!» Я отправлял эти письма в корзину для

бумаг, но далеко не все поступали таким образом. Заметно было, что значительность и самооценка референдариев выросли. Теперь в перерывах между заседаниями они, а не камергерихтсраты с видом посвященных в тайну знатоков беседовали о высоких чинах юстиции. Слышалось постукивание маршальских жезлов в невидимых солдатских ранцах[162]. Даже те, кто до сих пор не были нацистами, почуяли свой шанс. «Да, сейчас дует сильный ветер, коллега, — говорили они и с тихим триумфом рассказывали о людях, которые, сдав асессорский экзамен, поднимались до работы в Министерстве юстиции, или, наоборот, о «строгих», грозных президентах сената, нынче безжалостно отправленных в отставку:—Он был слишком близок к „Рейхсбаннеру**, вы не знали? Теперь это карается», — или изгнанных в глухую провинцию в участковые суды. Вновь задул сулящий славу и богатство лихой ветер немецкого 6923 года, когда внезапно бразды правления оказались у юнцов, когда молодые люди в одночасье становились директорами банков или владельцами автозаводов, а почтенный возраст, солидное образование и жизненный опыт могли привести разве что в морг.

Конечно, полного повторения 6923 года не было. Плата за вход наверх стала побольше. Приходилось быть немножко осторожнее со своими словами и мыслями, не то вместо Министерства юстиции легко было загреметь в концлагерь. Какие бы напыщенные и победоносные речи ни раздавались в коридорах судебной палаты, все они произносились с некоторой запинкой, нельзя было не расслышать в этих речах ноток страха и недоверия, а взгляды и убеждения, высказываемые в разговорах, подозрительно смахивали на вызубренные наизусть ответы на экзамене. Нередко говорящий подобные речи внезапно умолкал и быстро оглядывался, будто забеспокоившись, не понял ли кто-нибудь его неправильно?

Восторженная молодежь, но, так сказать, немножечко с кляпом во рту. Однажды—не помню, какую еретическую идею я высказал, — один из коллег отозвал меня в сторонку, подальше от прочих собеседников и для начала с невероятной преданностью посмотрел мне в глаза. «Хочу вас предостеречь, коллега, — сказал он. — Понимаете, я к вам очень хорошо отношусь. — Вновь глубокий и преданный взгляд в глаза и в душу.—Вы—республиканец[163], не так ли?—Он положил мне руку на плечо.—Т-с-с! Не волнуйтесь. Я тоже республиканец. В душе. Я рад, что и вы — республиканец. Но вам следует быть осмотрительнее. Не стоит недооценивать фасци-стов![164] Сегодня ничего не достигнешь скептическими замечаниями. Разве что выроешь самому себе могилу. Не подумайте, будто сегодня хоть

что-то можно предпринять против фасцистов. И тем более в открытой оппозиции. Поверьте мне. Я знаю фасци-стов лучше, чем вы. Нам, республиканцам, придется выть по-волчьи, раз уж мы с волками живем».

Такие теперь были в Германии республиканцы.

28

Тогда я прощался не с одним только Верховным апелляционным судом Пруссии. «Прощание» сделалось лозунгом времени—всепроникающее, радикальное, не знающее исключений прощание. Мир, в котором я жил, растворялся, исчезал, становился невидимым; его исчезновение было чем-то само собой разумеющимся и совершенно беззвучным и невидимым. Чуть ли не ежедневно можно было заметить, как от этого мира отваливаются и тонут, исчезают навеки целые куски. Ищешь взглядом что-нибудь привычное и констатируешь: этого уже нет и никогда не будет. Никогда прежде я не испытывал такого странного ощущения: словно почва, на которой стоишь, неотвратимо осыпается, уходит из-под ног — или еще точнее: словно равномерно и непрерывно выкачивают воздух из колбы, в которой ты сидишь.

Почти безобидным оказалось то, что самым очевиднейшим образом происходило в общественнополитической сфере. Хорошо: исчезли политические партии, были распущены сначала левые, потом правые; но я не был членом ни одной из них. Исчезали люди, чьи имена были на устах у всех; чьи книги читали, о чьих речах спорили; кто-то из них эмигрировал, кто-то попал в концлагерь; вновь и вновь можно было услышать о ком-то: «застрелен при попытке к бегству» или «покончил с собой во время ареста». В середине лета в газетах появился список из тридцати или сорока имен известнейших ученых и литераторов: все они были объявлены «предателями народа», лишены гражданства, имущество их было конфисковано, а сами они подвергнуты поношению[165].

Еще более зловещим было исчезновение совершенно безобидных людей, которые стали привычной частью нашей повседневной жизни. Диктор на радио, чей голос слышали чуть ли не каждый день, к кому привыкли как к доброму знакомому, исчез в концлагере, и его имя стало опасно произносить[1]. Артисты и артистки, наши спутники на протяжении многих лет, исчезали один за другим. Очаровательная Карола НеерЧ[7] внезапно стала лишенной гражданства предательницей народа; молодой, блестящий Ганс Отто[168], чья звезда ярко засияла прошлой зимой,—тогда заговорили о том, что наконец-то появился «новый Маяковский»[169], которого так долго ждала

немецкая сцена, — в один вовсе не прекрасный день остался лежать с размозженным черепом на мостовой во дворе эсэсовской казармы[1™]. В газетном сообщении значилось, что арестованный Отто, «обманув бдительность охраны», выбросился из окна. Известнейший карикатурист, над чьими безобидными шаржами хохотал весь Берлин, покончил жизнь самоубийством. Так же поступил и конферансье известнейшего в Берлине кабаре[1]. Другие просто исчезли, и никто не знал, что с ними: они мертвы, арестованы, высланы? — они исчезли.

В мае в газетах сообщалось о символическом сожжении книг[1^], но это было шоу — куда более реальным и зловещим было исчезновение книг из книжных магазинов и библиотек. Живую немецкую литературу, плоха она была или хороша, выкосили под корень. Книги последней зимы, если ты их не прочитал до апреля, уже невозможно было прочитать. Несколько авторов, которых по какой-то причине пощадили, одиноко стояли на полках, как последние кегли в кегельбане, в полной, убитой пустоте. В основном остались только классики—и внезапно распустившаяся пышным цветом литература «крови и почвы»[173] ужасающего, позорнейшего качества. Книгочеи—конечно, меньшинство в Германии, и, как сами они могли теперь слышать чуть ли не ежедневно, ничтожное меньшинство — обнаружили, что мир книг, в котором они жили, оказался украден. И тотчас же они поняли, что каждый из них, ограбленных, может быть еще и наказан за то, что у них же и украли. Они были весьма перепуганы и засунули своих Генриха Манна и Фейхтвангера'! во второй ряд книжных шкафов; а если книгочеи осмеливались обсуждать последние романы Йозефа Р<^^^[175] или Вассермана![6], то беспокойно оглядывались и переходили на конспиративный шепот, словно отъявленные заговорщики.

Множество газет и журналов исчезло из киосков — но куда страшнее было то, что случилось с оставшимися. Их было просто не узнать. К газете ведь привыкаешь, как к человету, не так ли? Значит, представляешь себе, как она отреагирует на те или иные вещи, каким тоном выскажется по тому или другому поводу Если же в ней пишут диаметрально противоположное тому, что писали еще вчера, если она опровергает саму себя, если ее лицо исказилось до неузнаваемости, то рано или поздно почувствуешь себя в сумасшедшем доме. Это и происходило. Старые интеллигентные демократические издания вроде «Berliner Tageblatt»[1™] или «Vossische Zeitung»[178] изо дня в день превращались в нацистские органы; в своей старой, культурной, взвешенной манере они вещали то же, что орали пропитыми глотками «Angriff» или «Volldscher Beobachter». Позднее к этому

привыкли и научились благодарно вылавливать намеки, все еще попадавшиеся в отделе «Культура». В передовицах эти же мысли постоянно отрицались.

Нуда кое-где поменялись редакции. Однако часто это лежащее простое объяснение ничего не объясняло. Например, был такой журнал «Die Tat»[1™], орган амбициозный, как и его заглавие. До 1933 года его читали почти повсеместно; журнал издавала группа умных и радикально настроенных молодых людей, с известной элегантностью они писали о тысячелетней перспективе, о поворотном, историческом рубеже и, разумеется, были слишком солидны, образованны и серьезны, чтобы принадлежать какой-либо партии—менее всего нацистской, о которой редакторы «Die Tat» еще в феврале 1933 года писали как о преходящем, малозначительном эпизоде. Так вот, шеф-редактор зашел слишком далеко, в результате потерял свой пост и с трудом избежал смерти (сегодня ему разрешено писать развлекательные романы)[188], но остальные сотрудники остались на своих местах и вдруг совершенно естественно и без какого-либо ущерба для собственной респектабельности и «тысслелетней перспективы» стали нацистами — само собой понятно, журнал теперь был лучше, оригинальнее и глубже, чем сами нацистах. Теперешний журнал вызывал изумление: тот же шрифт, те же печать и набор, тот же безапелляционный тон, те же имена, а все вместе—лукавый, хитрый, густопсовый нацистский листок. Обращение леворадикального Савла в нацистского Павла? Цинизм? Или господа Фрид[181], Эшман[182], Вирзинг[183] и т. п. всегда в глубине души были нацистами? Наверное, они и сами этого толком не знали. Впрочем, очень скоро мы бросили разгадывать такого рода загадки. Слишком противно и надоело, —довольно было того, что пришлось попрощаться еще с одним журналом.

В конце концов, прощания такого рода были не самыми мучительными—ведь это были прощания не с людьми, но с трудноопределимыми, нередко безличными явлениями и элементами эпохи, создающими ее атмосферу. Не стоит их недооценивать: эти прощания так тяжелы, что жизнь делается по-настоящему мрачной,—трудно дышать, когда воздух над страной, общественная атмосфера, теряет аромат и пьянящую пряность, становится ядовитым и удушливым. Но ведь от этой всеобщей атмосферы можно до известной степени спрятаться, укрыться; можно плотно законопатить окна, закрыть двери и уединиться в четырех стенах тщательно оберегаемой частной жизни. Можно от всего отгородиться, можно всю комнату заставить цветами, а на улице зажимать нос и затыкать уши. Искушение поступать

именно так — многие ему поддались — было достаточно велико, в том числе и у меня. Мне не удалась ни одна из подобных попыток. Окна больше не закрывались. Даже в приватнейшей, интимнейшей жизни мне приходилось прощаться, прощаться, прощаться...

29

И • все-таки: искушение самоизоляции—достаточно важное явление современности, так что стоит в него вглядеться попристальнее. Самоизоляция сыграла свою роль в том психопатологическом процессе, что с 1933 года полным ходом идет в Германии, охватив миллионы людей. Большинство немцев находятся сейчас в таком душевном состоянии, которое нормальному человеку представляется в лучшем случае серьезным душевным заболеванием, тяжелой истерией. Чтобы понять, как человек может дойти до такого состояния, надо вообразить себя в том положении, в каком оказались летом 1933 года немцы-ненацисты—то есть большинство немцев, и вникнуть в те извращенные, нелепые конфликты, в которых эти немцы увязли.

Положение немцев-ненацистов летом 1933 года было, конечно, одним из самых тяжелых, в каких могут оказаться люди: ощущение полного и безвыходного поражения и все еще не изжитые последствия шока от внезапного нападения. Мы все оказались в руках у нацистов, они могли казнить и миловать по своему усмотрению. Все крепости пали, любое коллективное сопротивление сделалось невозможным, индивидуальное сопротивление стало формой самоубийства. Нас преследовали вплоть до укромных уголков нашей частной жизни, во всех иных областях шел разгром, отчаянное паническое бегство, и никто не знал, когда оно кончится. В то же время на нас ежедневно наседали с требованием, нет, не сдаться, но перебежать на сторону победителя. Маленький пакт с дьяволом — и ты уже не среди узников и гонимых, но среди побудителей и преследователей.

Это было самое простое и грубое искушение. Многие поддались ему. Позднее выяснилось, что они не знали, сколь высока цена предательства, стать настоящими нацистами им оказалось не по плечу. Их тысячи в Германии, этих нацистов с нечистой совестью, людей, носящих партийные значки, как Макбет[184] носил королевский пурпур, пойманных, связанных круговой порукой, стремящихся спихнуть груз ответственности на других, напрасно высматривающих возможность побега; они спиваются, принимают снотворное и не отваживаются задуматься о том, должны ли они желать конца нацистского времени, их

собственного времени, — или страшиться этого конца? Когда же наступит этот день, они с превеликой радостью предадут нацистов и заявят, что никогда нацистами не были. Но пока они — кошмар нашего мира, и невозможно предвидеть, что еще они способны совершить в своем моральном и нервном разладе, прежде чем они повалятся наземь окончательно. Их история еще должна быть написана.

Но в ситуации 1933 года скрывалась масса других искушений помимо этого — грубейшего, и все они для тех, кто им поддавался, становились источ-

ником безумия, душевного заболевания. У дьявола много приманок: грубые для грубых душ, изысканные для изысканных.

Тот, кто отказывался стать нацистом, попадал в скверное положение: глубокое и беспросветное отчаяние; абсолютная беззащитность перед ежедневными унижениями и оскорблениями; беспомощное созерцание невыносимого; бесприютность; неутолимая боль. В этой ситуации были новые искушения: мнимые средства утешения и облегчения, наживка на крючке дьявола.

Одним из искушений было бегство в иллюзию: чаще всего в иллюзию превосходства. Те, что поддавались этому искушению, — в основном пожилые люди, — смаковали дилетантизм и некомпетентность, которых, конечно, хватало в нацистской государственной политике. Опытные профессионалы чуть ли не ежедневно доказывали себе и другим, что все это не может долго продолжаться, они заняли позицию знатоков, потешающихся над чужим невежеством; они не разглядели самого дьявола благодаря тому, что сосредоточенно всматривались в какие-то детские, незрелые его черты; свою полную, абсолютно бессильную сдачу на милость победителей они, обманывая самих себя, маскировали мнимой позицией наблюдателя, смотрящего на все не то что со стороны, но — свысока. Они чувствовали себя полностью успокоенными и утешенными, если им удавалось процитировать новую статью из «Таймс» или рассказать новый анекдот. Это были люди, которые сначала абсолютно убежденно, а позднее со всеми признаками сознательного, судорожного самообмана из месяца в месяц твердили о неизбежном конце режима. Самое страшное настало для них в тот момент, когда режим консолидировался и когда его успехи нельзя было не признать: к этому они не были готовы. В первую очередь на эту группу с весьма хитрым и точным психологическим расчетом был обрушен ураганный огонь статистического хвастовства; именно эта группа составила основную массу капитулировавших с 1935 по 1938 год. После того как стало невозможно, несмотря на все судорожные усилия,

удерживаться на позиции профессионального превосходства, эти люди капитулировали безоговорочно. Они оказались не способны понять, что как раз успехи нацистов и быгли самыш страшным в их диктатуре. «Но ведь Гитлеру удалось то, что до сих пор не удавалось ни одному немецкому политику!» — «Как раз это-то и есть самое страшное!» — «А, ну вы — известнытй парадоксалист» (разговор 1938 года).

Немногие из них остались верны своему знамени и после всех поражений не уставали предвещать неминуемую катастрофу с месяца на месяц, потом с года на год. Эта позиция, надо признать, понемногу приобрела черты странного величия, некую масштабность, но также и причудливые, едва ли не гротескные черты. Комично то, что эти люди, пережив массу чудовищных разочарований, окажутся правыми. Я прямо-таки вижу как после падения нацизма они обходят всех своих знакомых и каждому напоминают, что они ведь только об этом и говорили. Конечно, до той далекой поры они станут трагикомическими фигурами. Есть такой способ остаться правым — позорный способ, он только способствует прославлению противника. Вспомним о Людовике XVIII[185].

Второй опасностью было озлобление — мазохистское погружение в ненависть, страдание и безграничный пессимизм. Это — естественнейшая немецкая реакция на поражение. Любому из немцев в тяжелые часы его частной или общенациональной жизни приходилось бороться с этим искушением: раз и навсегда предаться отчаянию, с вялым равнодушием, от которого недалеко до согласия, отдать мир и себя в лапы дьяволу; с упрямством и озлоблением совершить моральное самоубийство.

Я жить устал, я жизнью этой сыт И зол на то, что свет еще стоит[1”6].

Выглядит очень героически: отталкивать любое утешение — и не замечать, что в этом-то и заключается самое ядовитое, опасное и греховное утешение. Извращенное сладострастие самоуничижения, вагнерианское похотливое упоение смертью и гибелью мира — это как раз и есть величайшее утешение, которое предлагают проигравшим, если им не хватает сил нести свое поражение как поражение. Я осмелюсь предсказать, что таким и будет главное, основное состояние умов в Германии после проигранной нацистами войны—дикий, капризный вой ненормального дитяти, для которого потеря куклы равняется гибели мироздания. (Многое из этого уже было в поведении немцев после 1918 года.)

В1933 году немногое из того, что творилось в душах побежденного большинства, вышло наружу в «общественную^»,

так сказать, сферу — уже хотя бы потому, что официально, «общественно», никто ведь не потерпел поражение. Официально по всей Германии гремели всеобщие праздники, подъем, «освобождение», «избавление», «хайль» и опьяняющее единство, так что страданию приходилось держать рот на замке. И все же после 1933 года типичное немецкое ощущение поражения было очень частым явлением; я сталкивался с таким количеством индивидуальных случаев подобного рода, что полагаю: их не один миллион.

Очень трудно вывести какие-то общие, реальные, внешние следствия этого внутреннего состояния. В некоторых случаях это самоубийство. Но масса людей привыкает жить в этом вот состоянии, с перекошенными, так сказать, лицами. К сожалению, именно они образуют в Германии большинство среди тех, кого можно считать «оппозицией». Так что нет ничего удивительного в том, что эта оппозиция не выработала ни планов, ни целей, ни методов борьбы. Люди, в основном представляющие оппозицию, мыкаются без дела и ««ужасаются». Все то отвратительное, что творится в Германии, мало-помалу стало необходимой пищей их духа; единственное мрачное наслаждение, которое им осталось,— мечтательное живописание всевозможных ужасов режима; с ними совершенно невозможно вести беседу о чем-либо другом. Многие из них и вовсе дошли до того, что томятся и маются, если не получают необходимую порцию ужасов, а у некоторых пессимистическое отчаяние стало своего рода условием психологического комфорта. Это ведь тоже своего рода воплощение нацистско-ницшеанского принципа ««живите опасно»[187]; желчь разливается, в результате можно оказаться в санатории, а то и докатиться до серьезной душевной болезни. Кроме того, некая узкая окольная тропка и здесь выводит к нацистам: если на все наплевать, если все потеряно, если все идет к черту, то почему бы и самому пессимисту, вооружившись наипечальнейшим и наияростнейшим цинизмом, не стакнуться с чертом; почему бы с внутренним, невидимым, но издевательским смешком не поучаствовать во всех его делах? И такое тоже случается в Германии.

Придется сказать еще и о третьем искушении. Его испытал я сам, и опять-таки — не только я. Источник его — как раз понимание и преодоление предыдущего искушения, о котором шла речь выше: человек не хочет губить свою душу ненавистью, разрушать страданием, человек хочет оставаться приветливым, добродушным, вежливым, ««милым:». Но как же отрешиться от ненависти и страданий, если ежедневно, а то и ежечасно на тебя наваливается то, что порождает страх и ненависть? Эти вещи

можно лишь игнорировать, отвернуться от них, заткнуть уши, уйти в самоизоляцию. А это, в свою очередь, приводит к ожесточению из-за слабости собственного сознания. Человека и здесь поджидает безумие, но в другой форме — потери чувства реальности.

Далее речь пойдет только обо мне, но не следует забывать, что мой случай следует умножить на шести-, а то и семизначное число.

У меня нет таланта ненависти. Я всегда был убежден: слишком глубокое погружение в полемику, спор с оппонентом, упрямо игнорирующим твои доводы, ненависть ко всякой гадости, и без того ненавистной, разрушают нечто в тебе самом— нечто достойное сохранения, что потом трудно будет восстановить. Естественный жест неприятия у меня — отвернуться, но никак не нападать.

Кроме того, у меня было и есть очень четкое чувство, что оказываешь некую честь противнику, если ты удостоил его ненависти, — по моему мнению, этой чести нацисты никоим образом не заслуживали. Мне претила самая мысль, что с ними возможно какое-то личное общение (а оно неизбежно связано с проявлениями ненависти); и самым тяжким личным оскорблением, которое нанесли мне нацисты, я бы считал даже не то, что они заставляли меня выполнять свои жесткие требования —все эти требования не касались вещей, которые занимали мои мысли и чувства, — а то, что явственное присутствие нацистов в' повседневной реальной жизни вызывало у меня ненависть и отвращение, притом что эти чувства мне отнюдь не по душе.

В(ˆ:з1ˆ<ˆ:жна ли была позиция, при которой тебя абсолютно ни к чему не принуждают—даже к ненависти, даже к отвращению? Не было ли возможности суверенного, невозмутимого презрения, такого своеобразного «Ввггыни на них и мимо.. .»[188]—пусть даже ценой половины или всей «внешней» жизни?

Как раз тогда я столкнулся с опасным, соблазнительно-двусмысленным высказыванием Стендаля. Он записал его в качестве программного после исторического события, которое воспринял как «падение в дерьмо», — после Реставрации 1814 года, то есть так же, как я воспринял события весны 1933 года. Теперь, писал Стендаль, остается лишь одно дело, достойное внимания и усилий, — «сохранить свое „я“ святым и чистым»[189]. Святым и чистым! То есть следует уклоняться не только от соучастия, но и от любых опустошений, производимых болью, от любых искажений, возникающих из-за ненависти, — коротко говоря, следует избегать любого воздействия, любой реакции,

любого прикосновения, даже если речь идет о том, чтобы нанести ответный удар. Отвернуться—значит отступить на крошечный пятачок земли, если ты знаешь, что туда не досягнет дыхание чумы и что на этом пятачке ты сможешь спасти и сохранить то, что достойно спасения, а именно, говоря старым, добрым теологическим языком, свою бессмертную душу.

Я и сегодня думаю, что в моей тогдашней позиции было нечто правильное, и не отрекаюсь от нее. Но разумеется, было совершенно невозможно спастись так, как я себе это представлял — в башне из слоновой кости, просто игнорируя все происходящее, и я благодарю Бога за то, что эта попытка очень быстро потерпела неудачу. Я знаю других, тех, кто потерпел неудачу не так скоро: позднее понимание того, что душевный мир иногда может быть спасен только в том случае, если им пожертвуешь, в конце концов было оплачено ими очень и очень дорого.

В противоположность двум первым формам эскапизма, о которых шла речь выше, у этой в Германии в последующие годы появился канал публичного выражения. То была моментально разросшаяся идиллическая литература. В мире и даже специально в литературном мире почти не заметили того обстоятельства, что в Германии в 1934-1938 годах было написано так много воспоминаний о детстве, семейных романов, книжек с описанием природы, пейзажной лирики, нежных изящнейших вещичек, литературных игрушек, как никогда прежде. Все то, что издавалось в рейхе помимо проштемпелеванной нацистской пропагандистской литературы, относится исключительно к этой области. В последние два года эта волна пошла на убыль, вероятно, потому что необходимой для нее беззаботности и незлобивости уже не найти при всем старании. Но поначалу это было что-то невообразимое. Книжки, полные овечьих колокольцев, полевых цветов, счастья летних детских каникул, первой любви, запаха сказок, печеных яблок и рождественских елок, — литература чрезмерной назойливой задушевности и вневременности как по свисту хлынула на полки книжных магазинов в самый разгар погромов, шествий, строительства оборонных заводов и концлагерей, когда на каждом углу торчали витрины со «Шлтормером»[190]. Если кому-то довелось, подобно мне, по воле случая прочесть изрядное количество этих книг, то он не мог не услышать, как они при всей своей нежности, тонкости, негромкой интимности форменным образом вопили: «Разве ты не замечаешь, насколько мы все — вневременны и задушевны? Разве ты не замечаешь, что внешний мир не может нам повредить? Разве ты не замечаешь, что мы ничего не

замечаем? Заметь это, заметь, обрати на это внимание, мы просим тебя!»

Кое-кого из этих писателей и поэтов я знал лично. Для каждого или почти каждого из них всетаки наставал такой момент, после которого не замечать что-либо было просто невозможно, грохотало такое событие, которое нельзя было не услышать, сколько ни затыкай себе уши,—скажем, арест друга или нечто подобное. От этого не могли защитить никакие, даже самые светлые воспоминания детства. И тогда наступал крах. Это печальные истории. В свое время я расскажу некоторые из них.

Таковы были внутренние конфликты немцев летом 1933 года. Они немного походили на выбор между тем или иным видом духовной смерти; и тот, кто прожил большую часть жизни в нормальной обстановке, чувствовал себя попавшим в сумасшедший дом или, скорее, в экспериментальную психопатологическую лабораторию. Ничего не поделаешь: так было, и я ничего не могу здесь изменить. Между тем это были относительно вегетарианские времена. Вскоре все пошло по-другому.

30

Итак, мне не удалось изолироваться в маленьком, защищенном со всех сторон частном секторе личной жизни; я понял это скоро — по той простой причине, что такого сектора просто не существовало. В мою частную жизнь ворвались сильные ветры и разом ее разметали. От тех, кого я мог бы назвать кругом моих друзей, к осени 1933 года не осталось ни души.

До этого времени у нас было небольшое профессиональное сообщество, состоящее из шестерых молодых интеллектуалов. Все — референдарии, все — накануне асессорских экзаменов, все — из одного и того же социального слоя. Мы вместе готовились к экзаменам, но это был лишь внешний повод; очень скоро мы на наших встречах перестали ограничиваться подготовкой к экзаменам, и группа превратилась в небольшой интимный клуб спорщиков. У нас были очень разные взгляды, но мы никогда не опускались до того, чтобы ненавидеть за это друг друга. Мы любили друг друга. Впрочем, нельзя сказать, чтобы наши взгляды и убеждения просто фронтально противостояли друг другу; скорее —что очень типично для молодой интеллектуальной Германии 1932 года — они замыкались в круг, причем крайние точки в этом круге соприкасались. '

К примеру, на крайнем левом фланге стоял Хес-сель (все имена моих тогдашних друзей вымышленные), сын врача, симпатизировавший коммунистам, на крайне правом—Хольц, офицерский сын, настроенный весьма националистически и

милитаристски. Однако оба часто выступали единым фронтом против нас, то есть остальных четверых, поскольку оба вышли из «молодежного движения», оба «партийно» мыслили и были противниками буржуазности и индивидуализма; оба имели свой более или менее отчетливый идеал «общности» и «<удиного духа»; оба, как бык красную тряпку ненавидели джаз, модные журналы, Курфюрсгещдмм[191], короче говоря, весь шикарный мир бешеных денег и лихих трат; ну и конечно, оба питали тайную страстишку к террору, только у Хессе_ля она прикрывалась странными для нее гуманистическими, а у Хольца — националистическими одеждами. Вероятно, одинаковые взгляды формируют одинаковые лица. Оба быьли похожи, и у того и у другого лицо было застывшее, сухое, без тени улыьбки. Они не уставали подчеркивать неулыбчивое уважение друг к другу. Впрочем, до поры до времени нам всем казалось, что в нашем кругу рыцарственность предполагается сама собой.

Двое других идеологических противников, прекрасно понимавших друг друга и на основе этого понимания порой выступавших единым фронтом против своих же союзников, быгли Брок и я. На политической шкале расположить нас быгло куда сложнее, чем Хесселя и Хольца. Политические взгляды Брока быгли революционными и крайне националистическими, тогда как я быгл консерватором и индивидуалистом; из идейного арсенала правых и левых мы1 выгхватывали принципиально разные боеприпасы. Но кое-что нас объединяло: оба эстеты, мы молились неполитическим богам. Божеством Брока быгла авантюра, причем коллективная авантюра большого стиля, вроде войны 1914-1918 годов или инфляции 1923-го, а лучше бы все вместе: я поклонялся богу моего любимого Гёте и Моцарта1® Итак, мы с Броком были противниками, но противниками, подмигивающими друг другу. Ну и кроме

того, мы с Броком славно выпивали. Что до то он вовсе не пил, он был принципиально противник алкоголя, Хольц же часто напивался до свинского состояния.

И наконец, в нашей компании были два посредника, смягчающие столкновения враждующих сторон: Хирш — сын университетского профессора-еврея, и фон Хаген, сын крупного министерского чиновника. Фон Хаген единственный входил в политические организации. Он был членом Немецкой демократической партии и «Рейхсбаннера»; но это не мешало, а скорее даже помогало ему посредничать между всеми сторонами и относиться с пониманием к любым взглядам; кроме того, он был воплощением благовоспитанности, виртуозом такта и хороших манер. В его присутствии ни одна дискуссия не могла

выродиться в оскорбительный спор. Фон Хагену охотно ассистировал Хирш. Его особенностями были мягкий скепсис и «экспериментальный» антисемитизм. Да, он питал слабость к антисемитам; он то и дело пытался «дать им шанс». Я вспоминаю один разговор, в котором Хирш совершенно серьезно отстаивал антисемитские позиции, тогда как я, уже хотя бы ради сохранения идеологического паритета, антитевтонские. Вот так, по-рыцарски, мы вели себя. Вообще, Хирш и фон Хаген добивались от Хольца и Хесселя снисходительной улыбки, а от Брока и меня серьезных «исповедей». Они старались не допустить, чтобы Хольц и я, нападая на ˆр-ша и Брока или наоборот, не сокрушили священные ценности своих оппонентов (такая опасность возникала только при данной расстановке сил).

Да, вот такая славная группа подающих надежды молодых немецких интеллектуалов. Кто бы мог подумать, увидев их в 1932 году, сидящих за круглым столом, взапуски курящих и горячо, но уважительно спорящих друг с другом, что спустя несколько лет они окажутся по разные стороны баррикад, готовые перестрелять друг друга? Потому что сегодня (’чтобы уж сразу все сказать) Хирш, Хессель и я—в эмиграции, Брок и Хольц—довольно крупные нацистские функционеры, а фон Хаген — адвокат в Берлине, член Национал-социалистического союза юристов и боец Национал-социалистического мотомеханизированного корпуса[193], а также, наверное (с сожалением, но... положение обязывает), и член партии. Впрочем, мне известно, что и в этой ситуации он по-прежнему верен своей старой роли посредника.

С начала марта атмосфера в нашей группе стала тяжелой. Внезапно сделалось нелегко вести рыцарско-академические дискуссии о нацистах. Например, мне вспоминаются мучительно-напряженные посиделки у Хирша накануне 1 апреля 1933 года. Брок открыто говорил, что он не без сочувственного интереса наблюдает за тем, что вот-вот должно было разразиться, и наслаждался чувством превосходства, когда констатировал: «Среди моих еврейских знакомых налицо определенная нервозность». Организация бойкота кажется ему довольно убогой, однако (продолжал он в том же тоне) довольно интересно, как пройдет такой вот массовый эксперимент. В любом случае здесь открываются необычайно интересные перспективы. Так высказался Брок, и трудно было что-либо возразить ему, не получив в ответ дерзкой улыбки. Хольц, со своей стороны, рассудительно заметил, что, конечно, во время столь сумбурно сымпровизированного массового процесса не могут не произойти в высшей степени прискорбные происшествия, но не следует забывать, что евреи... — и так далее, и тому подобное. Наш

хозяин дома, Хирш, не видя в данном случае необходимости поддерживать антисемитов, молчал и только нервно покусывал губы. Фон Хаген тактично возразил, что, с другой стороны, евреи... — и так далее, и тому подобное. Это был превосходный разговор о евреях, и он знай себе тянулся без остановки. Хирш молчал и только время от времени предлагал гостям сигареты. Хессель атаковал расовое учение научными аргументами. Хольц очень педантично и рассудительно принялся защищать расизм такими же научными контраргументами. «Прекрасно, Хессель, — медленно говорил он, покуривая сигарету затягиваясь, выпуская дым и провожая взглядом сизые колечки, — в государстве всего человечества, молчаливо вами предполагаемом, таких проблем существовать не должно. Однако вам придется признать, что в рамках создания сильного национального государства, а в настоящее время речь идет исключительно о нем, народная гомогенность. ..»Вот тут мне сделалось совсем скверно, и я решил быть бестактным. «Мне кажется, — сказал я,—мы спорим не о создании сильного национального государства, но о личной позиции каждого из нас, не так ли? Ведь в настоящее время, кроме нее, нет ничего, на что мы можем практически повлиять... В вашей позиции, господин Хольц, меня интересует то, как вы ухитряетесь сочетать ваши взгляды с пребыванием в гостях у господина Хирша?» Тут Хирш не преминул вмешаться и заявить, что он ни в коей мере не связывает взгляды и убеждения своих гостей с их пребыванием у него дома, и так далее, и тому подобное... «Разумеется,—заговорил я, теперь уже разозлившись на Хирша,—но я критикую не вашу позицию, а позицию господина Хольца. Мне интересно, как чувствует себя человек, который пользуется гостеприимством того, кого он принципиально хотел бы уничтожить вместе со всеми его собратьями?» «Да кто же говорит об уничтожении!»—воскликнул Хольц, и все хором запротестовали, за исключением Брока, который заметил, что для себя он не видит здесь никакого непреодолимого противоречия: «Вы наверняка знаете, что во время войны офицеры часто бывали в гостях у тех хозяев, чьи дома им предстояло взрывать»[194]. Между тем Хольц вдумчиво доказывал мне, что ни о каком ««щичтожении» и речи быть не может, коль скоро на очереди только организованный и дисциплинированный бойкот еврейских коммерсантов. «То есть как это речь не идет ни о каком уничтожении? — почти что выкрикнул я. — Если кого-то систематически, организованно и дисциплинированно разоряют, то в конце концов он сдохнет от голода, не так ли? Сознательно доводить кого-то до голодной смерти я называю уничтожением, а вы — нет?» «Спокойней,

спокойней, — отвечал Хольц, — в Германии никто не умирает от голода. Если еврейские лавочники разорятся до тла, им будет оказана благотворительная помощь...»Самое страшное, что он говорил это совершенно серьезно, без какой-либо насмешки или иронии. Мы расстались в раздражении.

В течение апреля, до того как прием в национал-социалистическую партию был «закрыт», Хольц и Брок стали нацистами. Было бы неверно числить их по разряду откровенных конъюнктурщиков и карьеристов. Без сомнения, и у того и у другого во взглядах и убеждениях были пункты совпадения с нацистами. Но до сей поры этих пунктов совпадения недоставало, чтобы Брок и Хольц стали членами партии. Их сразило обаяние нацистской победы.

С этого момента стало трудно сохранять единство нашего кружка. Фон Хаген и Хирш были очень заняты другими делами. В результате группа просуществовала еще пять, шесть недель. В конце мая было «заседание», на котором ей пришел конец.

Заседание состоялось вскоре после массовых убийств в Кёпенике, так что Брок и Хольц пришли к нам, словно преступники после преступления. Нет, они не принимали участия в резне. Но в новых кругах, где они теперь вращались, эта история была темой номер один, так что невозможно было уклониться от пусть и морального, но соучастия в зверстве. Брок и Хольц принесли в нашу цивилизованную бюргерскую атмосферу посиделок с кофе и сигаретами красный туман крови и запах смертного пота.

Они сразу принялись рассказывать о деле, из их весьма живописного рассказа мы и узнали все. Газеты отделывались туманными намеками.

«Ничего себе погуляли вчера в Кёпенике, да?» — начал Брок, и таков был весь тон его рассказа об этом... происшествии. Он рассказывал подробности; описывал, как женщин и детей загоняли в чуланы для того, чтобы без помех убивать мужчин выстрелом из револьвера в затылок, ударом дубинки по голове или ножом в сердце. Большинство не сопротивлялось и в своих длинных ночных рубашках представляло довольно жалкое зрелище. Трупы выбросили в реку, и еще сегодня то один, то другой прибивает к берегу Покуда Брок рассказывал все это, с его лица не сходила странная, нагловатая усмешка, которая в последнее время появлялась у него все чаще и чаще с какой-то пугающей стереотипной оцепенелостью. Он не защищал убийц, однако и не видел в происшедшем чего-то чудовищного. Главным для него в этой истории была ее сенсационность.

Мы покачали головами. Мы были в ужасе. Казалось, это его

удовлетворило.

«А вам не кажется, что с этими вещами несовместимо ваше дальнейшее пребывание в партии?» — наконец заметил я.

Брок тотчас занял оборонительную позицию и вперил в нас бестрепетный муссолиниевский взгляд. «Нет, никоим образом, — ответил он. — Вы что, жалеете этих людей? Совершенно неуместная жалость. Человек, застреливший позавчера штурмовиков, не мог не понимать, что это может стоить ему жизни. Не повесить его было бы нарушением требований стиля. Этот парень вызывает уважение. Что же до остальных... Слизняки! Почему они не защищались? Все они—старые социал-демократы и члены „Железного Фронта"[195]. Какого хрена они напялили ночные рубашки и улеглись баиньки? Могли бы оказать сопротивление и встретить смерть достойно. Труашвая банда. Мне их не жаль».

«Я не знаю, — медленно заговорил я, — очень ли мне их жаль, а вот что я точно знаю — что чувствую неописуемое отвращение к хорошо вооруженным людям, которые убивают беззащитных».

«Они должны были защищаться, — упрямо и дерзко сказал Брок,—тогда бы не были беззащитными. Один из самых мерзких марксистских трюков —притвориться беззащитными, когда дело становится серьезным».

Здесь вмешался Хольц. «Я считаю все происшедшее прискорбным революционным эксцессом, — сказал он. — Между нами говоря, я уверен, что соответствующий штандартенфюрер крепко получит по шапке. Но, господа, не следует забывать: первым стрелял социал-демократ. Вполне понятно, а в каком-то смысле даже оправданно, что штурмовики в ответ прибегли к... э-э-э... весьма энергичным... м-м-м... репрессалиям».

Странно, Брока в его новом качестве я еще кое-как переносил, но нынешний Хольц действовал на меня, как красная тряпка на быка. Я не мог сдержаться — оскорбил его.

«Очень любопытно познакомиться с вашей новой теорией оправдательных мотивов, — сказал я. — Если я не ошибаюсь, вы тоже изучали право?»

Он глянул на меня «таерже стали» и поднял перчатку: «Так точно, я изучал право,—медленно выговорил он,—и я припоминаю, что на лекциях слышал кое-что о чрезвычайных мерах защиты. Вероятно, коллега, вы отсутствовали на этих занятых».

«Чрезвычайные меры защиты государства — очень интересно, — отвечал я.—Итак, коллега, вы полагаете, что государство было вынуждено прибегнуть к чрезвычайным мерам защиты из-за того,

что несколько сот его граждан—социал-демократов напялили ночные рубашки и улеглись баиньки?»

««Не совсем так,—вежливо возразил Хольц.—Вы все время забываете, что сначала социал-демократ застрелил двух шˆрмовиков...»

«...Нарушивших неприкосновенность его жилища..»»

«.. .Каковое нарушение было совершено в ходе выполнения задачи согласно приказу начальства...»

«И это дает государству право применять чрезвычайные меры по отношению к любому из его граждан? По отношению ко мне или к вам?»

«По отношению ко мне—вряд ли,—проговорил Хольц, — а вот по отношению к вам очень может быть..»

Он и впрямь смотрел на меня «стальным взглядом». Я почувствовал странную слабость в коленях.

«С известной педантичностью вы все время стараетесь, — продолжал Хольц, — закрывать глаза на одну мелочь, а именно: вы стараетесь не замечать, какой мощный акт немецкого народного становления происходит сегодня в Германии, — (о! я и сегодня явственно слышу, как он витийствует о «народном становлении в Германии»!), — вы цепляетесь к любому самому ничтожному эксцессу выискиваете юридические закорючки, чтобы опорочить и оболгать этот процесс. Боюсь, вы не очень осознаете, что люди, подобные вам, представляют латентную опасность для государства и государство имеет право, более того, оно обязано сделать соответствующие выводы—по меньшей мере если кто-нибудь из подобных вам осмелится открыто оказать сопротивление».

Вот так он и говорил, рассудительно, медленно, в стиле комментариев на Гргожцаыский кодекс, и при этом все сверлил меня глазами «таерже стали».

«Ну уж если мы заговорили на языке угроз, — сказал я, — будем вполне откровенны. Вы собираетесь донести на меня в гестапо как на государственного преступника?»

Тут фон Хаген и Хирш рассмеялись. Они попытались перевести происходящее в шутку Однако Хольц одним ударом разрушил их расчеты. Тихо и прицельно он выговорил (и я впервые с совершенно неожиданным удовлетворением заметил, что он втайне страшно разъярен): «Признаюсь, я уже давно думаю, не является ли это моим долгом?»

«Ого!» — скозол я. В одно мгновение я ощутил странный вкус, в буквальном смысле этого слова нёбом и языком ощутил немного строхо, немного удивления по тому поводу, что я и не подозревал, кок далеко он может зайти, немного отвращения от

слова «долг», немного удовлетворения из-за того, что мне и в голову не приходило, как здорово я могу разозлить Хольца, и совершенно новое сильное ощущение-понимание: так вот какова теперь жизнь, вот так она изменилась — и вновь немного страха и быстрая прикидка: а что он может рассказать обо мне, если его намерения серьезны. Поэтому я сказал: «Признаюсь, я не очень верю в серьезность ваших намерений, коль скоро вы уже давно думаете о своем долге и додумались только до того, чтобы сообщить об этом мне».

«Вам не стоило этого говорить», — спокойно заметил он. Мы выложили все свои козыри, и если бы рискнули продолжить игру, то нам пришлось бы от слов перейти к действиям. Однако все происходило в мирной обстановке, за столом с кофе и сигаретами, да тут еще в наш спор вмешались другие собеседники и с добродушными упреками принялись мирить враждующие стороны.

Поразительно, что после этого в течение нескольких часов мы еще продолжали свои ожесточенные, но вежливые и тихие политические дебаты. Однако в тот день кружок, несмотря на все усилия Хирша и фон Хагена, приказал долго жить. Все мы молчаливо отказались от дальнейших встреч.

Хирш простился со мной в сентябре и уехал в Париж. Брок и Хольц тогда же исчезли из поля моего зрения. Иногда доходили слухи об их карьере. Хессель в следующем году эмигрировал в Америку. Но кружок и без того распался.

Несколько дней после того разговора я был в некотором напряжении, а ну как Хольц и в самом деле натравит на меня гестапо? Потом стало ясно, что он этого не сделал. Ну что же, он поступил порядочно.

31

Нет, нечего было и думать о том, чтобы найти укрытие в частной жизни. Куда бы ты ни отступал, повсюду ты сталкивался с тем, от чего намеревался бежать. Я понял, что нацистская революция уничтожила границу между политикой и частной жизнью и что эту революцию совершенно невозможно трактовать как обычное «политическое событие». Она развертывалась не только в политической сфере, но и в сфере частной, приватной жизни каждого немца; эта революция действовала, словно ядовитый газ, проникая сквозь любые стены. От этой отравы было только одно спасение: уйти подальше, попросту—бежать. Итак, эмиграция, прощание со страной, которая была твоей по рождению, языку, воспитанию, разрыв всех связей с родиной...

Летом 1933 года я приготовился и к этому прощанию. Я уже привык к большим и малым прощаниям, я лишился своих друзей;

иные люди, с которыми я прежде мирно общался, превратились в потенциальных убийц или во врагов, способных выдать меня гестапо. Я чувствовал, как улетучивается воздух привычной повседневности; на моих глазах на дно шли прочные базовые институции вроде прусского суда; мир книг и дискуссий распадался с пугающей быстротой; прежние взгляды, убеждения, теории мгновенно заменялись новыми; надежные, разумные жизненные планы, которые я вынашивал еще месяц тому назад, где они теперь? Жизнь кончилась, началась авантюра. Для меня прежде всего изменилось основное ощущение бытия. Теперь в нем была не только боль, но и наркоз, опьянение прощанием: я не чувствовал под своими ногами твердую землю, только пустоту— казалось, я висел, парил, летел, падал в этом самом абсолютно пустом пространстве, легкий, как птица, свободный, как птица'16, которую можно было сшибить любым камнем. Новые потери и прощания не причиняли мне боли, скорее уж тут было такое: «Покойся с миром!» или «Ну что же, и без этого я смогу прекрасно обойтись». Я чувствовал, что делаюсь все беднее, но и все легче. Однако главное прощание — в душе, в сердце — прощание с моей собственной страной было все еще тяжело, мучительно и болезненно. Я прощался долго, с возвращениями назад, порой надеясь, что мне не хватит сил расстаться с Германией.

И опять-таки я рассказываю не только о своем личном опыте, а о том, что пережили многие тысячи людей.

Конечно, в марте и апреле, когда на моих глазах разыгрывалось «падение в дерьмо», сопровождаемое патриотическим ликованием и ревом национального триумфа, я кричал в приступе ярости и отчаяния, что хочу эмигрировать, ибо не желаю иметь с «этой страной» ничего общего, я-де лучше открою табачную лавку в Чикаго, чем сделаюсь государственным секретарем в Берлине и т. п. Но тогда это были именно что приступы, взрывы, не основанные на серьезных размышлениях и далекие от реальности. Чем-то совсем иным было всерьез взвешивать возможность расставания с моей страной в безвоздушном, знобящем холоде той весны.

Разумеется, я никогда не был немецким националистом. Национализм спортивных клубов, воцарившийся во время мировой войны и сегодня подпитывающий нацизм; жадно-инфантильная радость, оттого что твоя страна на географической карте расползается все более жирным, все более широким пятном; триумфальное чувство «победы», наслаждение от унижения и порабощения других народов; садистское удовольствие от страха, который внушает твоя страна; напыщенная национальная похвальба в стиле вагнеровских

«Мейстерзингеров»[197]; онани-стическая возня с «немецким мышлением», «немецкими чувствами», «немецкой верностью», «немецким мужчиной», лозунг «Будь немцем!» — все это было мне глубоко отвратительно, здесь мне нечем было жертвовать. Но это ничуть не мешало мне быть хорошим немцем, и я часто таковым себя осознавал — хотя бы когда испытывал стыд за извращения немецкого национализма. Как и большая часть людей той или иной нации, я чувствовал себя опозоренным, когда мои соотечественники или вся моя страна совершали постыдные поступки; я чувствовал себя оскорбленным, когда националисты других стран словом или делом унижали Германию; я радовался от неожиданной похвалы иностранца по адресу моей страны; я гордился прекрасными чертами немецкого характера и славными страницами германской истории. Одним словом, я относился к моему народу так же, как к моей семье: я больше, чем кто-либо другой, ее критиковал; не со всеми членами семьи был на дружеской ноге и, уж конечно, не собирался подчинить ей всю свою жизнь и орать, что «моя семья превыше всего»[198]; однако я принадлежал и моей семье, и моей стране и никогда не отрицал этого. Отказаться, совсем отвернуться от нее, научиться воспринимать свою родину вражеской страной было не такой уж мелочью, верно?

Я не «люблю» Германию, как я не «люблю» самого себя. Е<сл;и я и люблю какую-то страну, то—Францию. Впрочем, и любую другую страну я мог бы полюбить скорее, чем свою собственную, даже и без нацистов. У моей страны роль совсем другая, единственная в своем роде: быть моей страной — у «любимой» страны этой роли нет. Потеряв свою страну, ты уже не вправе любить какую-то другую. Потому что ты теряешь все условия, необходимые для прекрасной игры гостеприимства народов, а это и взаимный обмен, и приглашение друг друга в гости, и взаимопонимание, и возможность щегольнуть, покрасоваться, демонстрируя друг другу свои достижения. Потеряв свою страну, ты становишься sans-patrie[19], человеком без тени^, без почвы под ногами; в лучшем случае, тебя терпят — или, если уж ты добровольно или вынужденно отказался от фактической эмиграции и ограничиваешься внутренней, ты становишься бесприютным изгнанником в собственной стране.

Добровольно совершить эту операцию — внутреннее отсечение себя от собственной страны — есть акт библейского радикализма: «Если твой глаз соблазняет тебя — вырви его!»[200] Очень многие, почти решившиеся на этот шаг, все-таки его не сделали, и с той поры их души и мысли так и спотыкаются; эти люди в ужасе от тех преступлений, что совершаются от их имени,

но они не в силах отрешиться от своей ответственности за них и тщетно бьются в сети мнимонеразрешимого конфликта: должны ли они принести в жертву своей стране свой взгляд на вещи, свою мораль, человеческое достоинство и совесть?

Ведь то, что они называют «невиданным подъемом Германии», показывает, что приносить эти жертвы выгодно, что за такие жертвы вознаграждают. Они не замечают того, что нации, как и человеку, нет пользы, если они приобретут весь мир, но потеряют душу. Они не замечают и того, что своему патриотизму или тому, что называют патриотизмом, они приносят в жертву не только себя, но и свою страну.

Ибо Германия перестала быть Германией, и это сделало прощание неизбежным. Немецкие националисты сами ее разрушили. Стало ясно как день: отказ от собственной страны ради сохранения верности себе—это только внешняя сторона конфликта. Подлинный мучительный конфликт, разумеется скрытый за великим множеством фраз и плоских доводов, разыгрывался между национализмом и верностью своей собственной стране.

Германия, та, которую я и подобные мне люди считали «нашей страной», была в конце концов не просто большая или очень большая клякса на географической карте Европы. Наша страна имела совершенно определенные характерные черты: гуманность, открытость всему миру, глубокая основательность философии, неудовлетворенность миром и самим собой; отважная решимость вновь и вновь браться за неподъемное дело, отказываться от него и снова браться, самокритика, любовь к истине, объективность, высокая требовательность к себе, точность, многоликость, некоторая неповоротливость, удивительным образом соединенная со страстью к свободнейшим импровизациям, медлительность и серьезность, но в то же время творчество, созидание, когда, шутя и играя, рождают на свет всё новые и новые формы, которые затем отбрасываются прочь как негодные попытки; уважение ко всему своеобычному и своеобразному; незлобивость, великодушие, сентиментальность, музыкальность, но прежде всего великая свобода: нечто парящее, безмерное, не покоряющееся чему бы то ни было и ничем не связывающее себя. Втайне мы гордились тем, что наша страна в духовном отношении— страна безграничных возможностей. И во всяком случае это была та страна, с которой мы чувствовали прочную связь, та Германия, которая была нашим домом.

Эта Германия уничтожена и растоптана немецкими националистами, и наконец стало понятно, кто ее смертельный враг: немецкий национализм и «германский рейх». Тот, кто

хранит верность Германии, тот, кто хочет и дальше принадлежать этой стране, должен иметь мужество для осознания этого факта и всех его последствий.

Национализм, то есть национальное самолюбование и самообожествление, — опасная духовная болезнь, способная исказить и отвратительно исковеркать черты любой нации, точно так же как эгоизм и тщеславие искажают и коверкают черты любого человека. Но нигде эта болезнь не принимает такого злобного и разрушительного характера, как в Германии, именно потому что внутренняя сущность «Германии» — широкость, открытость, всесторонность и даже в определенном смысле самоотверженность. У других народов национализм, уж коли они ему подвержены, остается случайной, акцидентной слабостью, отнюдь не затрагивающей их субстанциональных качеств. Но в Германии именно национализм уничтожает основные достоинства национального характера. Этим объясняется то, почему немцы — в здоровом состоянии, вне всякого сомнения, тонкий, способный к состраданию и очень человечный народ — в тот миг, когда их охватывает националистическое безумие, перестают быть людьми, превращаются в бесчеловечных бестий, зараженных такой лютой злобой, на какую не способен ни один народ. Немцы, как раз таки немцы и только немцы теряют из-за национализма ядро своей человеческой сути, своей экзистенции, свое ««I». Эта болезнь, которая у других народов поражает только габитус, у немцев сжирает душу. Французский националист в самых разных обстоятельствах остается типичным (и даже очень симпатичным) французом. Немец, зараженный национализмом, перестает быть немцем, впрочем, он и человеком-то быть перестает. Суть его деятельности—построение третьего рейха и разрушение Германии.

Разумеется, нельзя представлять себе дело так, будто Германия и ее культура в 1932 году переживали пышный расцвет, а нацисты одним ударом превратили этот расцвет в груду развалин. История саморазрушения Германии патологическим национализмом началась куда как давно; и следовало бы эту историю написать. Самый большой ее парадокс состоит в том, что всякий раз актом саморазрушения становилась победоносная война, внешний триумф. Сто пятьдесят лет тому назад Германия переживала подъем; война» 1813

1815 годов[201] нанесла ей первый удар, отбросивший ее назад; войны 1864-1870 годов[202] — второй. Ницше был первым, кто пророчески заметил: немецкая культура потерпела поражение в своей войне с германской империей, с ««ерманским рейхом»^[3]. Именно тогда Германия на долгое время потеряла всякую

возможность найти для своего политического существования адекватную форму; она была втиснута в прусско-немецкую империю Бисмарка, словно в смирительную рубашку С тех пор в Германии не было уважения к политическому представительству (разве что в ее католической частило*—немецкие правые, националисты, ненавидели немецкий парламентаризм, немецкие левые, марксисты, его игнорировали. Однако сама Германия тихо и упрямо продолжала существовать в обыденной жизни— до 1933 года. Германию еще можно было найти в домах, семьях, литературных кружках и дружеских компаниях, в редакциях журналов и газет, театрах, концертных залах, издательствах, в самых разных центрах общественной жизни, от церкви до кабаре.

Только нацисты с их решительностью и организаторскими способностями смогли вычистить все и истребить даже намек на германский дух. Не Австрия и не Чехословакия были первыми оккупированными нацистами странами; сначала нацисты оккупировали Германию. То, что оккупация проходила под лозунгом «ГГрмания, вставай!», было излюбленным нацистским трюком — и одновременно важной частью их разрушительной работы.

Немцу, который чувствовал себя связанным с Германией, а не просто с каким-то образованием, занимающим определенное географическое пространство, не оставалось ничего, кроме прощания: как бы ужасно ни было прощание, цена которого — потеря своей страны. Впрочем, именно широта и всесторонняя открытость настоящего немецкого характера позволяют немцам перенести эту потерю легче, чем другим народам. Любая чужбина —это чувствовалось все неотвратимее — будет роднее «рейха» Адольфа Гитлера. И может быть, — об этом порой говорили с тихой надеждой, — где-нибудь, на чужбине, удастся воссоздать кусочек Германии.

32

Да, тогда в Германии возлагали кое-какие надежды на эмиграцию. Они были не слишком-то обоснованными, но в рейхе вообще не на что было надеяться, а жить без надежды трудно, вот и надеялись на какое-то будущее за пределами рейха.

Другой надеждой, разумеется в кавычках, — ведь за несколько месяцев до нацистской революции она была скорее кошмаром, чем надеждой, да и до сих пор многие и многие так и не могут сказать: надежда это или кошмар,—итак, другой «надеждой» была «заграница». «Заграницей» в Германии издавна были Англия или Франция. Долго ли еще эти страны будут безучастно наблюдать за тем, что творится в Германии? Неужели левых гуманистов в Англии и Франции не ужасает неприкрытая

варварская тирания, установленная совсем недалеко от их границ, — а у правых националистов разве не вызывает тревогу стремительный подъем немецкого милитаризма и открытое, с первых дней не скрывавшееся нацистами вооружение Германии? Разве не должны Англия и Франция, независимо от того, правые или левые там у власти, в какой-то момент потерять терпение, применить пока еще во много раз превосходящую военную мощь и в одну неделю покончить со зловещим призраком? Или придется допустить мысль, что политики этих стран поражены слепотой. При всем желании не верилось, что эти политики могут спокойно смотреть на то, как в Германии открыто точат ножи на их страны, и позволят усыпить себя «речами о мире», подлинный смысл которых был ясен каждому школьнику в Германии[2^].

Между тем немецкие интеллектуалы, политические эмигранты, получая помощь и поддержку со стороны разумных, здравомыслящих государственных деятелей Запада, могли бы стать кадровой основой для организации в Германии новой, по-настоящему эффективной республики, каковая смогла бы не повторить ошибок первой. И впоследствии все показалось бы наваждением или очистительной грозой, решительным вскрытием нарыва, гнойника, тогда можно было бы немного поумнее, с меньшим количеством предубеждений, начать делать то, что должно было начаться, но не началось в 1919 году.

Вот такие были надежды. Для них было весьма мало оснований, за исключением того, что речь шла о разумных и очень желательных вещах. Эти надежды и берущее верх надо всем чувство абсолютной непредсказуемости происходящего, так что просто не остается ничего другого, кроме как уповать на сегодняшний день, на некоторое время заменили мне выверенные, разумные планы эмиграции. Надо уехать, думал я. Куда уехать? Само собой — в Париж! Родители посылали бы мне 200 марок ежемесячно, пока это еще не запретили, а там — посмотрим. В Париже надо найти занятие. И что? Неужели я не нашел бы в Париже занятия?

Наивность этого плана отражала мою собственную житейскую ситуацию: молодой человек, до недавнего времени «домашний мальчик», собрался наконец выйти в большой мир. То, что этот «шаг в большой мир» означал отъезд или изгнание, то есть авантюру с неизвестным исходом, беспокоило меня относительно мало. Странно, однако глухое отчаяние (««хуке, чем здесь и сейчас, не может ничего быть») соединилось с юношеской жаждой приключений, что и помогло мне с легкостью принять решение. Не забудем также, что я, как и все

немцы моего поколения, наученные современной германской

историей, привык к непредсказуемости и ненадежности всего на свете. Осторожный рискует не меньше, чем смельчак, так все мы думали, но он отказывает себе в удовольствии опьянения смелостью. Смею вас заверить, что я до сих пор не испытал ничего такого, что опровергло бы это утверждение.

И вот в один прекрасный день, когда закончилась моя служба в Прусском апелляционном суде, я объявил отцу, что решил «уехать»; дескать, я не понимаю, зачем мне оставаться здесь; в особенности невозможным и бессмысленным при сложившихся обстоятельствах мне представляется быть немецким судьей или правительственным чиновником. Так что я хочу уехать, лучше всего—в Париж. Не согласится ли отец дать мне свое благословение и не сможет ли он высылать мне 200 марок ежемесячно?

Я был огорошен — отец почти не возражал! Еще в марте подобные патетические идеи он отправлял в долгий ящик одной только скептической улыбкой молчаливого превосходства. Он очень постарел. Ночами он не спал, ему не давали заснуть барабан и горны расположенной неподалеку эсэсовской казармы, но наверняка в гораздо большей степени — мысли.

Исчезновение, гибель всего того, чем и ради чего ты жил, старому человеку перенести труднее, чем молодому. Для меня прощание, даже самое бесповоротное, было в то же время новым стартом; для него прощание означало конец пути. Отца угнетало то, что он напрасно прожил жизнь. В своей управленческой деятельности занимался разработкой некоторых разделов законодательства; весомые, точно выверенные теоретические достижения и плоды практического опыта нескольких десятилетий, результаты взвешенных, тщательных трудов. Одним росчерком пера они были отменены — и это даже не привлекло внимания, не вызвало никакой реакции в обществе. Но и не только: был сметен фундамент, на котором отец мог строить законодательство; целая традиция правового государства, над которой трудились поколения таких людей, как мой отец, эта традиция, казалось бы упроченная и незыблемая, была сметена одним ударом. То, чем завершилась строгая, скромная, полная неустанных и, в общем-то, удавшихся трудов жизнь моего отца, было не просто поражением — это была катастрофа. Торжествовали, праздновали победу не его противники — их победу он принял бы со смиренной мудростью, — а варвары; назвать их «противниками» у отца язык бы не повернулся. Теперь я часто видел, что отец сидит за письменным столом, не прикасаясь к бумагам, глядя в пустоту неподвижным отчаявшимся взглядом, словно перед ним простиралось огромное

поле, на котором нет ничего, кроме руин.

«И что ты собираешься делать за границей?» — спросил он. В этом вопросе прозвучал его старый скепсис; глаз опытного юриста сразу различил наислабейший пункт моего плана, но спросил отец таким усталым голосом, что я понял: он задает вопрос для проформы и готов принять любой ответ.

Я что-то ответил, постаравшись облечь полное отсутствие серьезных планов в сколько-нибудь приемлемые, красивые слова.

«М-да, — сказал он с печальной, сочувственной улыбкой, — звучит не слишком-то многообещающе, верно?»

««Да, — ответил я, — а на что мне надеяться здесь?»

«Я только опасаюсь,—отец оживился и заговорил строже, чем ему самому, наверное, хотелось,—что ты до сих пор не избавился от кое-каких иллюзий. Там, за границей, никто не ждет нас с распростертыми объятиями. Для каждой страны эмигранты всегда в тягость, а куда как скверно чувствовать, что ты кому-то в тягость. Одно дело — если ты приезжаешь в другую страну посланцем иной культуры, которому есть что делать, есть чему учить, есть, что с собой принести: и совсем другое — если ты побит и ищешь убежище».

«Ргаве нам совсем нечего принести с собой за границу? — спросил я. — Если вся немецкая интеллигенция, вся литература, вся наука эмигрирует, какая страна не будет рада получить такой подарок?»

Отец поднял руку, а потом медленно, устало ее опустил. «Банкроты, — сказал он, — конкурсная масса. Когда ты удираешь, ты падаешь в цене. Погляди на русских. Эмигрировала элита. Теперь генералы, государственные советники и писатели радуются, если им удается устроиться в Париже или здесь официантами или таксистами».

«Может быть, они предпочитают быть официантами в Париже, чем чиновниками в Москве», — сказал я.

«Может быть, — отвечал отец, — а может быть, и нет. Хорошо рассказывать о чем-нибудь до того, как оно произошло. После того, в действительности все выглядит по-другому. Голод и нищета не страшны, пока ты сыт и обеспечен».

«И что же, из страха перед голодом и нищетой я должен теперь стать нацистом?» — спросил я.

««Нет, — ответил отец, — конечно нет. Развеется нет».

«Ты думаешь, что я могу стать амтсгерихтсратом, не будучи нацистом?»

««Амтсгерихтсратом, разумеется, нет, — сказал он,—по крайней мере, пока. А что будет через несколько лет, никому не известно. Я полагаю, что даже теперь ты можешь быть адвокатом.

И кроме того, разве ты уже не начал зарабатывать деньги своим пером?»

Он был прав. Мне написали из газеты, из крупной, уважаемой, где время от времени печатали мои небольшие статейки: предложили установить более тесные отношения. В это время в бывших демократических органах печати сложилась странная межеумочная конъюнктура для молодых людей, которые не были нацистами, но и не были «опорочены» левым прошлым, «неарийским происхождением», то есть представляли собой чистый белый лист. И я не устоял, а когда пришел заключать договор, познакомился, к моей несказанной радости, с абсолютно антинацистской редакцией: эти люди мыслили и чувствовали приблизительно так же, как и я. Какое это было наслаждение — сидеть в редакции, обсуждать новости, злословить; до чего приятно быгло диктовать статьи и с посыльным отправлять их в типографию. Порой казалось, что я в логове заговорщиков. Странно и неприятно тревожило то, что наутро газета—несмотря на мои статейки, нашпигованные ядовитыми намеками, над которыми смеялась вся наша редакция, оказывалась обыгч-ным нацистским информационным листком.

«Я полагаю, что как раз для газеты я мог бы работать за границей», — сказал я.

«Приятно слышать, — отозвался отец,—ты уже говорил об этом со своими редакторами?»

Пришлось ответить: ««Нет».

«По-моему, надо отложить это дело на день-два и хорошенько обдумать ситуацию. Пойми, нам с мамой нелегко отпустить тебя — да еще в полную неизвестность. Кроме того, я рассчитываю на то, что прежде ты сдашь асессорский экзамен. Хотя бы из необходимости соблюсти порядок».

Отец на этом настоял. Спустя несколько дней он сам предложил мне план.

«Ты сдаешь асессорские экзамены, как это и быгло предусмотрено. Не годится, проучившись в целом двадцать лет, просто сбежать и бросить дело перед самым его завершением. На это тебе потребуется не более пяти месяцев. Если твои планы не изменятся, то все равно тебе потребуется еще полгода, чтобы получить докторскую степень. Над своей диссертацией ты и в Париже сможешь работать. Итак, ты берешь отпуск на полгода и уезжаешь для работы над диссертацией. Допустим, в Париж. Там ты пишешь свою работу и осматриваешься. Сумеешь устроиться— прекрасно! Если же нет, то у тебя всегда есть возможность вернуться. На все это потребуется год, а кто может сейчас сказать, что будет через год?»

Немного поспорив, мы все-таки приняли этот план. Я, конечно, полагал, что мне совершенно ни к чему сдавать асессорский экзамен, но не мог не понимать, что это мой долг по отношению к отцу. Я боялся только, что в течение этих пяти месяцев, покуда я буду здесь готовиться к экзамену, неизбежно начнется превентивная война западных держав против Гитлера, и я буду вынужден принять в ней участие на неправедной стороне.

«Неправедной?—переспросил отец.—Неужели ты считаешь, что французская сторона была бы для тебя праведной?»

«Да, — решительно ответил я. — В данном случае — да! Обстоятельства таковы, что Германия может быть освобождена только зарубежными странами».

«О боже! — с горечью воскликнул мой отец. — Быть освобожденными зарубежными странами! Да ты сам не веришь в то, что сейчас сказал. Помимо всего прочего, никого нельзя освободить против его воли. Таких примеров не было, нет и не будет. Если Германия захочет освободиться, ей придется это сделать собственными силами».

«И ты видишь какой-нибудь путь для освобождения собственными силами в нынешних условиях?»

«Нет».

«Значит, остается только...»

«Это „значит** нелогично, — заспорил отец. — Один путь перекрыт, но отсюда не следует, что есть другой. Мы не должны тешить себя иллюзиями. Германия после восемнадцатого года только то и делала, что тешила себя иллюзиями. Результатом стал нацизм. Если немецкие либералы и сейчас спасутся бегством в иллюзию, результатом будет власть оккупантов».

«Наверное, это все же лучше, чем власть нацистов».

«Не знаю, — сказал отец, — далекое зло всегда кажется меньше, чем то, которое прямо перед тобой, — но только кажется. Я, со своей стороны, и пальцем не пошевелю, чтобы дать совершиться оккупации моей родной страны».

«Но тогда не остается вообще никакой надежды?»

«Да, — ответил отец, — пока да».

И в его глазах вновь появилось выражение пустоты и оцепенелого отчаяния, словно он видел перед собой огромное поле, на котором ничего, кроме руин.

К отцу довольно часто приходили служащие его прежнего ведомства. Он уже давно был на пенсии, но сохранил личные отношения со многими сотрудниками и с удовольствием выслушивал истории про то, как развивается та или иная ситуация, с интересом следил за карьерами того или иного асессора или молодого регирунгсрата; он даже принимая участие

в работе своего учреждения, в неофициальном порядке давая советы или рекомендации.

Гости приходили к отцу и теперь, но их беседы делались все однообразнее и печальнее. Отец спрашивал о том или другом сотруднике, называл имена и фамилии, и гость лаконично отвечал: «Параграф четыре» или «Параграф шесть».

Это были параграфы недавно принятого закона; он назывался «Закон о восстановлении профессионального чиновничества»[206]. Согласно некоторым его статьям госслужащих можно было отправить на пенсию без их согласия, уволить с минимальным денежным содержанием, понизить в должности, а то и вовсе выгнать без какого-либо содержания. Каждый параграф был роком, судьбой. «Параграф четыре» означал удар насмерть. «Параграф шесть»— деклассирование и унижение. Во всех чиновничьих кругах только и было разговоров, что об этих цифрах: четыре и шесть.

Однажды к отцу пришел бывший начальник его отдела. Он был много моложе моего отца, и у них хватало служебных конфликтов. Начальник отдела был социал-демократом; отец придерживался куда более правых убеждений, несколько раз это приводило к серьезным спорам и столкновениям, резкость которых не уменьшалась от того, что более молодой из спорящих был облечен большей властью. Однако они сохраняли друг к другу уважение и споры не привели к разрыву отношений.

На этот раз визит был мучителен. Начальник отдела, человек между сорока и пятьюдесятью, выглядел как мой семидесятилетний отец. Он был совершенно седой. После отец рассказывал, что его собеседник часто терял нить разговора, не отвечал на вопросы, смотрел прямо перед собой невидящим, отсутствующим взглядом и вне всякой связи с беседой повторял: «Это ужасно, коллега. Это просто ужасно». Он пришел проститься. Он покидал Берлин для того, «чтобы спрятаться где-нибудь в деревне». Он вернулся из концлагеря.

Он был «Параграф четыре».

Как уже сказано, мой отец давно был на пенсии, никакой должности не занимал, так что он, даже если бы захотел, ничем не мог повредить нацистскому государственному управлению. Казалось, он за линией огня. Но однажды и он получил официальное письмо с подробнейшей анкетой: «(ˆcˆзгˆˆˆсно параграфу такому-то „Закона о восстановлении профессионального чиновничества“ Вам предлагается дать подробные и правдивые ответы на следующие вопросы. Отсутствие ответа или дача ложных сведений повлекут за собой лишение пенсии согласно параграфу такому-то...»

Вопросов было великое множество. Отец должен был сообщить, к какой политической партии, организации или политическому союзу он когда-либо принадлежал; надо было перечислить свои заслуги перед нацией, обосновать их, извиниться за свои ошибки, буде таковые найдутся, а в конце личной подписью заверить, что он «безоговорочно поддерживает правительство национального возрождения». Короче говоря, мой отец, верой и правдой сорок пять лет отслуживший немецкому государству должен был еще и унизиться перед государством, чтобы получать заслуженную пенсию.

Он долго смотрел на анкету и молчал.

На следующий день я увидел, что он сидит за письменным столом, на котором лежала анкета. Отец глядел поверх нее.

«Ты будешь отвечать на эти вопросы?» — спросил я.

Отец посмотрел на анкету, скривился и выдержал паузу. Потом он сказал: «Ты считаешь, я не должен этого делать?»

Мотание.

«Я не знаю, на что будете жить вы с мамой», — сказал отец.

«Я действительно этого не знаю,—повторил он спустя некоторое время, — я даже не знаю, — и он попытался улыбнуться, — на что ты собираешься жить в Париже и печатать свою докторскую диссертацию».

Я пристыженно молчал. Отец резко отодвинул листы с анкетой в сторону, но не убрал их со стола.

Анкета еще несколько дней пролежала незаполненной на его столе. Но однажды после обеда, заглянув к отцу в кабинет, я увидел, что отец аккуратно и медленно, словно школьник, выполняющий домашнее задание, заполняет вопросник. Спустя полчаса он сам отнес письмо на почту не дав себе ни малейшей возможности передумать, дать задний ход. Внешне он нимало не изменился, говорил не более возбужденно, чем прежде, однако эта история дорого ему обошлась. У людей, владеющих собой, не позволяющих раздражению вырваться в слове или в жесте, чрезмерно тяжелые душевные переживания обрушиваются на какой-нибудь внутренний орган и вызывают болезнь. Чаще всего в этих случаях бывают инфаркты, спазмы сердечных сосудов. У моего отца душевное напряжение, не разрядившись вовне, ударило в живот. Едва лишь отец вновь уселся за письменный стол, за которым заполнял анкету как вскочил и согнулся. Его вырвало. Два или три дня он не мог есть. Его сразу же начинало тошнить. Это было начало забастовки организма, от которой спустя два года он скончался.

33

Чем дольше длилось лето 1933 года, тем нереальнее делалась

реальность. Все вокруг теряло свой настоящий вес, превращалось в дикие сны; я жил словно в странной, но приятной, усыпляющей, отнимающей всякую ответственность лихорадке.

Итак, я подал заявление на асессорский экзамен, финальный, самый серьезный экзамен у немецких юристов, дающий право на занятие должности судьи и адвоката, открывающий путь к большой государственной карьере. Я сдавал экзамен без малейшего намерения когда-нибудь воспользоваться привилегиями, которые он давал. Ничто не волновало меня тогда меньше, чем вопрос: сдам я экзамен или нет. А ведь это в нормальных условиях всегда напряжение, волнение, не так ли?— говорят даже об экзаменационной лихорадке. Ничего подобного я не чувствовал. Вскоре меня потрепала куда более сильная лихорадка.

Я сидел в Юридическом архиве, библиотеке, расположенной в мансарде большого административного здания, в просторном зале со стеклянными стенами и стеклянной крышей, над которой сияло голубое летнее небо, писал экзаменационные работы легко и беззаботно — словно пустяковое письмо. Уже невозможно было воспринимать эти работы серьезно. Задания и вопросы исходили из реальности, которой больше не существовало. Так, в одной из работ важную роль играли Гражданский кодекс и Веймарская конституция; я читал ставшие ненужными когда-то известные комментарии к погребенным статьям убитых законов и, вместо того чтобы выколупывать цитаты для своей работы, погружался сначала в чтение, а потом в мечты. Снизу доносилась визгливо-квакающая маршевая музыка. Высунувшись из окна, можно было увидеть ползущие по улице коричневые колонны под знаменами со свастикой. При виде этих знамен прохожие вскидывали руки в фашистском приветствии (мы уже усвоили, что тех, кто этого не делает, избивают). Что там у них на этот раз? Ах вот оно что! — они маршировали в сторону Люстгартена[207]. Лей[208] отбыл из Женевы, покинув заседание Международной организации труда[209], сильно чем-то раздраженный, вот берлинские штурмовики и двинулись в Люстгартен—с песнями и воплями добивать дракона.

Ежедневно я видел марширующих штурмовиков, ежедневно слышал их песни; приходилось всегда быть начеку чтобы успеть вовремя скользнуть в ближайшую парадную и избежать необходимости вскинуть руку в нацистском приветствии. Ггрмания жила в состоянии войны, удивительной войны, разумеется; все победы в этой войне достигались исключительно пением и маршировкой. Штурмовые отряды, SS, гитлерюгенд, «Трудовой фронт»—что там еще?—постоянно печатали шаг по

мостовым с пением «Ввдишь зарю на востоке?..»2™ или «Бранденбургской пустоши»2", строились, на что-то равнялись, орали в тыщу глоток «хайль» — глядишь, враг-то и разбит. Для определенного рода немцев это время было раем, среди них царила осатанелость августа 1914 года. Старые дамы с продуктовыми кошелками провожали горящими глазами коричневого червя, который полз, заполняя всю улицу «Вы видите, — твердили они, — вы же видите, не правда ли? Мы снова выходим вперед во всем!»

Иногда победы оказывались более определенными. Так, например, в одно прекрасное утро полицейские окружили и заняли «деревню писателей» в Вильмерсдорфе2[12]. Там жили левые литераторы, кое-кто из них и до сих пор там живет. Победа! Захвачены богатые трофеи, десятки вражеских знамен, десятки килограммов подрывной литературы от Карла Маркса до Генриха Манна погружены на телеги, опять же недурно смотрелись и списки пленных.

Газеты описывали это происшествие как новую битву под Танненбергом2[13]. Не меньше! Или в другой раз, в полдень, на всех дорогах рейха были «ударно» остановлены и обысканы все поезда и автомобили. Победа! Чего только не нашли! От ювелирных украшений и иностранной валюты до ««пропагандистских материалов антигосударственных курьеров».

И как же не устроить по этому поводу «стихийный» митинг в Люстгартене!

В конце июня все газеты украсились жирными заголовками «Вражеские самолеты над Берлином!»[214] Никто этому не поверил и меньше всего сами нацисты, но уже никто по-настоящему не удивился такому беспардонному вранью. Оно сделалось стилем. Снова «стихийный» митинг. «Германии нужно чистое небо!» Марши и знамена, «Хорст Вессель», «хайль»! Приблизительно в это же самое время министр культуры2[15] сменил все церковное руководст-во2[16], назначил нацистского военного священника Мюллера[1"7] «епископом Имперской церкви». Победа нового, «немецкого», христианства была отпразднована на огромном митинге во Дворце спорта2[18]: Адольф Гитлер в качестве германского Спасителя, знамена, «Хорст Вессель», крики «хайль». Правда, на этот раз то ли из уважения к поверженной организации, то ли по каким-то иным соображениям тонкого вкуса в конце спели лютеровский гимн «Твердыня наша—вечный Бог»2[19]. Потом прошли церковные выборы. Нацисты откомандировали к избирательным урнам целую армию, и на следующий день газеты оповестили о победе «Немецких христиан». Вечером, когда я ехал по городу, на всех берлинских церквях развевались флаги со свастикой.

Однако того серьезного сопротивления, которое встретили здесь нацисты, во внецерковных кругах в первый момент даже не заметили. С каким-то странным чувством я впервые принял тогда участие в выборах церковного руководства и опустил в избирательную урну бюллетень, на котором важно красовались слова «Исповедующая церковь»[220]. Я никогда не чувствовал себя «исповедующим веру». Церковь я долгие годы «чтил, не нуждаясь в ней»™. Конечно, я был всецело за то, чтобы Церковь почиталась, даже и без особой в ней нужды, и меня тошнило от кощунственно-маскарадного кривляния «Немецких христиан», но в остальном я был глубоко убежден в бесперспективности какого-либо сопротивления именно со стороны церкви. Теперь хотя бы из чувства приличия стоит «исповедовать» веру гонимой и опозоренной церкви, примерно так я думал. И конечно, я прекрасно понимал одного симпатичного, наиконсервативнейшего пожилого любителя красного вина,

сетовавшего в те дни: «Господи помилуй! Теперь приходится бороться за веру, притом что у тебя ее нет!»

Впрочем, чувства вообще в то лето остыли, напряжение ослабело, и даже отвращения поубавилось благодаря легкому такому облачку отупения. Для многих, кто не смог уехать из страны, начался этап привыкания со всеми его опасностями. Что до меня, то я уже чувствовал себя не совсем в Германии. Еще пара месяцев, и я отправлюсь в Париж— о возвращении оттуда я даже не думал. Жизнь здесь заканчивалась, и ничто уже не имело значения.

Да здесь и не много осталось того, чем я жил. Мои друзья или уехали — или не были больше моими друзьями. Время от времени приходили конверты с иностранными марками. Порой мне писал Франк Ландау. Его письма делались все мрачнее и мрачнее. Сначала они были полны надежд и решимости, затем стали лаконичными и не очень ясными, и вот однажды, в середине августа, я получил целый пакет, письмо на двенадцати или четырнадцати страницах. Оно было написано будто в усталом, полном отчаяния, растерянном разговоре с самим собой. За границей у Франка ничего не получалось; с Эллен все пошло вкривь и вкось; скоро они, наверное, расстанутся; никаких перспектив в Швейцарии; докторскую степень он получит, а дальше — неизвестно. Он не мог забыть Ханни, наши разговоры и не находил ничего, чем можно было бы заменить то, с чем он расстался, ни малейшей связи с прошлым, полное отсутствие воздуха жизни и той субстанции, которая давала пишу его душе. «Пишу тебе все это не для того, чтобы получить от тебя совет, потому что знаю: здесь нечего советовать...»

Неожиданно вернулась Эллен. С Франком все было кончено, и она сложила оружие. Она написала мне, два или три раза я посетил ее в Ванзее. Со странными чувствами я сидел в саду того самого дома, где провел 1 апреля 1933 года и пытался утешить Эллен, объяснить ей то, что можно было объяснить, дать совет. Она была печальна, растеряна, выбита из колеи. Она любила Франка, но теперь, говорила она, поняла, что не сможет с ним жить. У них все решилось чересчур поспешно и этим было загублено навсегда. Если бы у них было время, если бы отношения развивались не так быстро, она давно бы увидела, куда все идет! Однако в том-то и состоял ужас их положения, что все решения надо было принимать безотлагательно; они оказались на распутье, выбор делался здесь и сейчас; их жизненные пути разошлись совершенно непредсказуемо. Семья Эллен собиралась эмигрировать в Америку Надо ли ей ехать с ними? Это означало, что она никогда больше не увидит Франка.

Надо ли ей вернуться в Цюрих? Это значило остаться с Франком. Между тем лето, которое они провели вместе, было в этом отношении не слишком обнадеживающим. Она все еще любила Франка. «В ы его знаете. Скажите мне, какой он на самом деле. Скажите мне, что я должна делать?»

В начале апреля я говорил с Ханни. Она несколько дней пролежала тогда в темной комнате, ничего не ела и плакала. Потом мы1 бегали с ней из консульства в консульство, отправляли письменные запросы! в какие-то чешские учреждения, беседовали с чиновниками в полицейских участках. Все без толку, вопрос о ее государственной принадлежности нипочем не распутывался. Германия стала для нее западней.

Странная жизнь: казалось, шла распродажа после банкротства. Между тем я готовил работы для экзамена, который нимало меня не волновал, поскольку был в другой жизни—моей прошлой жизни. Время от времени я писал маленькие газетные статьи, вкладывая всю горькую язвительность, какую находил в себе, — и удивлялся, когда пару дней спустя читал свои статейки в свихнувшемся на своих навязчивых идеях, однако излагающем их с видом мудрой рассудительности нацистском листке, в который ныне превратилась всемирно известная газета. Как бы я гордился, если бы сотрудничал с ней прежде! А сейчас все это меня нимало не волновало, ибо происходило накануне разрыва с моей страной.

Из всех людей, с кем я поддерживал отношения, странным образом осталась только Чарли. Моя карнавальная любовь. Она тянулась красной ниточкой сквозь серое рядно этого нереального лета: тихомучительная, немного нескладная, не очень счастливая любовная история и все же сладостная, несмотря ни на что.

Чарли была обыкновенной берлинской девушкой, простой и доброй, и в счастливые времена наша история могла бы стать банальной. Но несчастье связало нас слишком крепко и потребовало от нас большего, чем мы могли друг другу дать: любовь должна была возместить нам весь мир, которого уже не было, избавить от ежедневной, мучительной, гложущей тоски. На это нас не хватало. Я не решался говорить с Чарли о том, что творилось у меня в душе, настолько ее собственное несчастье было реальнее, проще, тяжелее, очевиднее. Она была еврейкой, ее преследовали; каждый день она терзалась от страха за свою собственную жизнь и жизнь своих родителей, своей большой семьи, которую она очень любила; столько ужасного происходило теперь вокруг этой семьи, такой большой, что мне все еще трудно было разобраться в многочисленных родственниках Чарли. Как и многие молодые евреи, она — вполне понятно — видела во всем

происходящем только то, что вторгалось в жизнь евреев, и не было ее вины в том, как она на это реагировала: она вдруг стала сионисткой[222], еврейской националисткой. Широко распространенное явление, которое я наблюдал с пониманием, но не без печали: так много было в этом от принятия взглядов нацистов, малодушного согласия с вражеской постановкой вопроса. Но если бы1 я решился спорить на эту тему с Чарли, то лишь отнял бы1 у нее последнее утешение. «Но что же нам делать»?» — спросила она и посмотрела на меня огромныгми печальными глазами, когда я однажд:ы попытался очень осторожно выфазить свой скепсис. Она учила еврейский язык и думала об отъезде в Палестину. Но пока еще она быгла не там. Она еще ходила на работу—это ей снова разрешили, хотя и неизвестно, надолго ли,—помогала своей семье, трогательно заботилась об отце и о своих близких, много работала и страдала. Худела, плакала, порой позволяла себя утешать и тогда вновь искренне смеялась. Но это продолжалось недолго. В августе она серьезно заболела, ей удалили аппендицит. Странны™ образом среди моих знакомых это быгл уже второй случай, когда аппендицит возникал, судя по всему, по причине душевныгх потрясений.

Итак, среди всех этих событий мы, уж как сумели, нашли себе норку для нашей любовной истории. Мы ходили в кино и винные кабачки, вели себя как веселая любовная парочка, часто расставались поздно ночью, и я ехал к себе домой на метро из отдаленного района, где жила Чарли. Я сидел усталый, с чуть гудящей легкой головой на пустых перронах подземных станций, где, казалось, жи-выши были только равномерно движущиеся ленты эскалаторов.

По воскресеньям мы часто выезжали за город, бродили по лесам, загорали на просеках и опушках, купались в речках. Окрестности Берлина на удивление хороши, природа здесь сохранила первозданную красоту Если сойти с исхоженных туристских троп, то даже невдалеке от железной дороги можно очутиться в местах, где словно не ступала нога человека, — великолепно уединенных, глухих и щемяще-печальных. Мы гуляли по просекам под мрачнозелеными соснами или лежали на лесной поляне под почти угрожающе-голубым небом. Небо было прекрасно. Небо было в полном порядке. В порядке были и трава, мох, муравьи, высокие, плотно стоящие деревья, жужжащие на разные лады насекомые. Во всем — утешение, бесконечное и... смертельное. Лишь мы не вписывались в эту картину. Без нас она была бы еще красивее. Мы ее нарушали.

В то лето стояла великолепная погода, солнце жарило

неутомимо, и какой-то насмешливый бог как раз 1933 год сделал в Германии годом лучшего виноградного урожая; о винах этого года еще долго говорили знатоки.

34

Внезапно пришло письмо из Парижа отТэдци. Невероятно, но Тэдди писала, что скоро приедет—уже на следующей неделе. Мое сердце заколотилось, как барабан. Она хотела забрать маму к себе, — писала она, — и вообще, ей хотелось своими глазами с близкого расстояния увидеть все происходящее. Она немного боится, однако некоторых встреч ждет с радостью; она надеется, что мы1 часто будем встречаться.

Сунув это письмо в нагрудный карман, я вдруг почувствовал, что ко мне с жутковатым муравьиным шуршанием возвращается жизнь. Я осознал, что долгое время быш бесчувственным, оцепенелым, мертвым. Я вскочил, забегал по комнате — насвистывал, курил одну сигарету за другой и не находил себе места. В моем тогдашнем состоянии я едва мог вышести эту огромную радость.

На следующий день газеты1 вышли с заголовком «Лагеря военной подготовки для референдариев». Все референдарии, сдающие асессорский экзамен, после сдачи письменных экзаменационных работ должны отправиться в лагеря военной подготовки. В здоровой товарищеской обстановке, занимаясь военно-спортивной подготовкой, они получат надлежащую мировоззренческую выучку и подобающее воспитание, дабы впоследствии быть достойныши великих задач, что предстоят им, будущим немецким народным судьям. Первая партия референдариев должна быша получить повестки в ближайшие дни. А дальше шла редакционная статья с дежурными восхвалениями и заученным «хайль»: «Каждый молодой немецкий юрист чувствует безмерную благодарность прусскому министру юстиции...»

Думаю, вот тогда со мной впервые случился приступ настоящего бешенства. Повод может показаться незначительным, но человек слаб, его реакции не всегда соответствуют объективной значимости повода. Я принялся лупить кулаками в стенку будто замурованный, я вопил, всхлипывал и проклинал бога и мир, своего отца, самого себя, германский рейх, в общем, всех и вся. Я как раз собирался сдать последнюю экзаменационную работу и, стало быть, мне неизбежно предстояло попасть в «первую партию референдариев». От бешенства глаза заволокло красной пеленой, я прямо-таки впал в буйство. Вдруг выдохся, сел и написал короткое отчаянное письмо Тэдци, попросил ее приехать побыстрее, тогда мы успели

бы день или два провести вместе.

На следующий день (а может, и через день) я дисциплинированно, но чувствуя себя побитым и раздавленным, сдал свою последнюю письменную работу.

Но вслед за тем—хвала и слава прусской бумажной волоките! —не произошло ровным счетом ничего. Мои работы валялись в каких-то кабинетах; потом их передавали по каким-то учрежденческим каналам, потом мое имя выловили и внесли в один список, другой, третий; все это время формировались партии для отправки в военный лагерь, печатались повестки и распоряжения, подписывались, доставлялись адресатам—а у меня были чудесные, драгоценные, словно в сказке, дни. После того как прошло несколько сказочно прекрасных дней без каких-либо происшествий, я, успокоившись, начал яснее представлять себе порядки и делопроизводство прусских учреждений—и сделал вывод: у меня еще есть надежда на две, три, даже четыре свободные недели. Каждый день мог оказаться последним, но он все не наступал, этот последний день. Каждый день я просматривал почту: сначала с несмелым вздохом облегчения, потом тем спокойнее, чем ближе был срок, и, наконец, с абсолютной, наглой уверенностью убеждался в том, что никакой повестки не прислали. Она могла прийти в любой день, но не приходила. Зато пришла Тэдци.

Тэдди приехала, и сразу показалось, будто она никогда и никуда не уезжала. Она привезла с собой Париж: парижские сигареты, парижские журналы, парижские новости и непостижимый, неотразимо прекрасный, словно запах духов, воздух Парижа, воздух, которым можно было дышать, жадно дышать. Тем летом, когда в Германии военная форма сделалась такой серьезной отвратительной модой, модельеры в Париже додумались шить для женщин пародийные военные мундиры — и Тэдди носила голубую уланскую курточку с кантом и блестящими пуговицами. Непредставимо! Она прибыла из того мира, где женщины носили такие наряды в шутку, никто не видел в этом ничего зловещего! Тэдди была переполнена самыми разными историями. Вместе со своей компанией в течение шести недель она объездила всю Францию. Парижские студенты из разных стран, шведы и венгры, поляки и австрийцы, немцы и итальянцы, чехи и испанцы, в народных костюмах пели свои народные песни, исполняли свои народные танцы; всюду их принимали по-королевски, с криками «браво», приветственными речами, братанием; в Лионе сам Эррио[223] встретил их речью, да такой, что многие чуть не плакали, а потом за счет города был дан обед, правда, после этого пира они два дня маялись животами... Я

сидел рядом с ней, слушал и жадно расспрашивал. Все это еще было! Все это еще существовало—на расстоянии одного дня пути. И Тэдци сидела рядом со мной, в самом деле рядом со мной, на стуле, и словно чем-то само собой разумеющимся была окружена всем этим.

На этот раз мне было совершенно нечего ей показать, совершенно некуда ее пригласить. В те прошлые разы, когда она приезжала в Берлин, ей еще можно было что-то «предложить»: интересный фильм, о котором все говорили, концерт, кабаре или маленький театрик с «атмосферой». Ничего этого теперь не было. Я видел, как Т.эдци хватает ртом недостающий воздух. Без какой-либо задней мысли она простодушно расспрашивала о давно закрытых кабачках и кабаре, о давно исчезнувших актерах. Конечно, многое она узнала из газет, но в действительности все было совершенно по-другому—наверное, менее сенсационно, но менее понятно и менее переносимо. Повсюду флаги со свастикой и коричневая форма, куда ни зайдешь, везде она: в автобусах, в кафе, в Тиргартене[224]—она все заполонила, словно оккупационная армия. Непрекращающийся грохот барабанов, днем и ночью—марши; комично, что Тэдци поприслушивалась ко всему этому и наконец спросила, а что, собственно говоря, здесь происходит, что празднуют? Она не понимала, что повод для вопросов возник бы скорее, если бы марши и грохот барабанов вдруг смолкли и настала тишина. Я уже привык к красным спискам гильотинированных, чуть ли не каждое утро появлявшимся на газетный тумбах рядом с афишами кинотеатров и рекламами летних ресторанов, но Тэдци ужаснулась, когда в один прекрасный день простодушно решила почитать объявления на газетной тумбе. В другой раз во время одной из наших прогулок по городу я резко втолкнул Тэдци в подворотню. Разумеется, она ничего не поняла и испуганно спросила: «Что случилось?»

«Проносят знамя штурмовых отрядов», — сказал я как о самой обыкновенной вещи.

««Да, и что?»

«Ты собираешься его приветствовать?»

«Нет, с какой стати?»

«Это приходится делать, если знамя проносят по улице...»

«Что значит: „приходится"? Просто не делать этого — и всё».

Бедная Тэдци! Она и впрямь явилась из другого мира! Я ничего не ответил, только мрачно усмехнулся. ««I — иностранка, — сказала Тэдци, — меня-то здесь ни к чему принудить не могут...»Мне вновь не оставалось ничего другого, кроме печальной усмешки по поводу ее иллюзий. Тэдци была родом из

Австрии.

Одаажды я по-настоящему испугался за нее именно потому, что она была родом из Австрии. Как раз тогда австрийский пресс-атташе ночью был поднят с постели, арестован и выслан из Германии. «Мы» были очень недовольны Австрией за то, что она не хотела к «нам» присоединяться. В ответ на это Доль-фус[225] выслал из Вены одного или даже нескольких нацистов—точно не помню; но помню, что пресса в один голос подняла вой по поводу чудовищной провокации со стороны австрийского правительства: «Провокация не останется безнаказанной — будет дан ответ», — таков был лейтмотив; а в чем же мог заключаться ответ, как не в высылке из Германии всех австрийцев? Однако нам с Тэдди все благоприятствовало. У Гитлера возникли какие-то трудности или ему просто было не до того, и он позабыл дать ответ австрийцам[226]. Ответа не последовало. Тэдди смогла остаться.

«Да уж, — сказала Тэдди,—в Германию я приехала в последний раз, это точно». Тогда я рассказал Тэдди, что собираюсь в Париж, и мы принялись строить планы: моментально, со скоростью воздушного замка, вырос небольшой международный театрик, в нем работали студенты, а возможно, и артисты-эмигранты. «Как вообще обстоят дела у немецких эмигрантов?» — спросил я с надеждой и получил весьма уклончивый, но очевидно печальный ответ. «Бедные ребята не в лучшей форме», — мягко сказала Тэдди.

Так прошло несколько дней, а потом грянул гром. Тэдди рассказала мне, вернее, мне пришлось ее выспрашивать и разгадывать загадки, пока наконец не выяснилось, что она выходит замуж. Очень скоро. Сразу после своего возвращения. «Метер Эндрюс?»— спросил я, озаренный внезапной догадкой (Эвдрюс занимал не такое большое место в ее рассказах). Она кивнула. «Прекрасно», — сказал я. Мы сидели на террасе «Римского кафе», ныне совершенно опустевшем месте встреч берлинской писательской богемы, напротив Гщдэхнискирхе[227]. Толстые, квадратные, романские башни церкви внезапно надвинулись на меня и замкнулись вокруг стенами подземелья.

«Mon pauvre vieux[20], это очень плохо?» — спросила Тэдди.

Я отрицательно покачал головой.

Потом она сказала нечто такое, что словно омыло меня сладкой и скорбной волной. У нас с Тэдди никогда не заходила речь о женитьбе, да и сама наша любовная история прервалась как раз тогда, когда могла бы зайти речь о таких вещах. Я никогда не предполагал, что значу для нее хоть немножко больше, чем просто друг среди многих ее друзей. Кем она была для меня, я никогда ей не говорил. Да и как о таких вещах

скажешь? Это прозвучало бы уж слишком патетично. Наша дружба чуралась патетики. Самые интимные, самые доверительные ее моменты были окрашены шутливым тоном.

«Да ведь мы с тобой теперь не могли бы пожениться, — сказала она. — На что я тебе здесь?»

«Значит, ты думала об этом?» — спросил я. Она ответила, смеясь над моей непонятливостью: «О да!» А потом ласково сказала: «Одаако я еще здесь.!»

Итак, прощание, снова прощание, но на сей раз столь сильное, звучное, как ни одно другое. Все казалось прекрасным, все казалось подготовкой к трем неделям, что нам остались: все отступило на задний план — больше не было ни друзей, ни обязанностей, никого и ничего, что могло бы помешать мне проводить с Тэдди все время с утра и до позднего вечера, принадлежать только ей. И она, казалось, приехала только ради меня—пусть даже чтобы со мной проститься.

Тогда мне представлялось, будто все на время исчезло, отпустив меня на три недели: германский рейх смилостивился и убрал лапу, уже занесенную надо мной (мне все еще не прислали повестки); мои родители уехали; бедная Чарли болела и лежала в клинике—казалось, будто своей болезнью она решила оказать мне страшную, не слишком приемлемую для меня услугу. Понимаю: я должен был отнестись к этому по-другому.

Три недели пролетели, как три дня. Между прочим, никакой идиллии не было; у нас просто не оставалось времени, чтобы разыгрывать любовную пару или говорить о наших чувствах. За эти недели Тэдди организовала отъезд своей матери, старой, маленькой дамы, утратившей понимание современного мира, тихо и безнадежно жившей посреди своих старых вещей. Мы бегали по учреждениям и экспедиторским фирмам, часами просиживали в службе обмена валюты, ежедневно что-то планировали и организовывали и в конце концов проследили за переездом матери Тэдци, даже наняли грузчиков для перевозки ее мебели. Обвал, обрыв и отъезд: сюжет этой пьесы я знал назубок. Но в эти три недели обвал, обрыв и отъезд заняли весь тот короткий, предоставленный нам временем и вечностью срок, в который должна была уместиться огромная, многолетняя, робкая страсть. В эти недели мы были неразлучны, как недавно помолвленные, и так близки и душевно связаны, будто старая супружеская чета. То было время без пустот, без «мертвых» мест.

Мы были счастливы, даже когда дожидались разрешения на обмен валюты, и обсуждали, что можно, а что нельзя говорить чиновникам.

В конце концов выяснилось, что валюту больше определенной

суммы вывозить не разрешается. «Наплевать, — сказала мне Тэдди,—вывезу деньги контрабандой. Но обворовать нас не дам...»

«А если тебя задержат?»

««Не задержат, — сказала она, сияя от уверенности в себе. — Я знаю, как их облапошить. Вцдишь ли, я умею переплетать книги». В течение нескольких дней мы весьма увлеченно и изобретательно изготовляли книжные переплеты, засев, как в крепости, в давно осиротевшей комнате Тэдди. Мы не поскупились на картон, клейстер, бумагу, чтобы спрятать под переплеты стомарковые купюры. Однажды, увлеченные работой, мы случайно увидели в зеркале наши разгоряченные лица. «Рожи опытных преступников, ничего не скажешь», — заметила Тэдди, и на какое-то время работа встала. В другой раз позвонили в дверь, и, как когда-то у Ландау, явились два штурмовика: теперь они на что-то собирали деньги, зловеще погромыхивая жестяными копилками[228]. Я дерзко сказал: «Сожалею», — и захлопнул дверь перед их носом. С Тэдди в тылу я чувствовал неописуемый задор.

Изредка ночью я просыпался, и тогда весь мир представал серым, словно расстрельный плац. В эти часы, и только в эти, я отчетливо сознавал, что все кончено. В Париже Тэдди ждал мистер Эндрюс. Когда я приеду в Париж, Тэдди уже будет миссис Эндрюс. Этот парень был слишком симпатичным, чтобы его обманывать. Наверное, у них будут дети. От этой мысли одолевала тоска. Я видел Эндрюса как наяву — каким он запомнился мне два года тому назад, в то смешное время, когда Тэдци осталась в Париже наперекор своей семье, эдакая блудная дочь, без денег и с великим множеством друзей, каждый из которых добивался ее расположения, стараясь урвать побольше ее внимания, и устраивал сцены ревности, но никто не мог ей помочь (я ведь тоже был не лучше прочих); а потом в крохотный неприбранный номер отеля пришел к Тэдци молчаливый мистер Эндрюс, уселся, задрав длинные ноги на каминную полку, и предложил Тэдци давать ему совершенно излишние, абсолютно бесполезные уроки немецкого языка. Он приходил с натянутой усмешкой, советовал что-нибудь дельное и полезное, после чего скромно удалялся. Терпеливый человек. Теперь он станет мужем Тэдди. Англичанин. Ну почему, почему англичанам достаются все блага и драгоценности мира: Индия и Египет, Гибралтар и Кипр, Австралия и Южная Африка, золотоносные земли и Канада, а теперь еще и Тэдди в придачу! А бедному немцу, вроде меня, вместо этого — нацисты. Такие вот смертно-тоскливые мысли приходили ко мне, если я просыпался ночью в злую минуту.

Но днем все забывалось. Днем я был счастлив. Стояла ранняя

золотая осень, и каждый день сияло солнце. Повестки все еще не прислали! Финансовая служба, полицейский участок, консульство, после полудня, если повезет, — Тиргартен. Может быть, покатаемся на лодке. И целый день — Тэдци.

Vorwarts aber und ruckwarts wollen wir Nichts sehn. Uns wiegen lassen, wie Auf schwankem Kahne der See[21].

35

Спустя четыре недели я уже носил военные сапоги, форму и нарукавную повязку со свастикой; спустя четыре недели я уже маршировал в колонне таких же, как я, в окрестностях Ютербога[229] и пел вместе со всеми «Ввдишь зарю на востоке?..», «Бранденбургскую пустошь» и прочие походные песни. Было у нас и знамя. Разумеется, знамя со свастикой. Его несли перед нашей колонной. И когда мы шли через деревню, то прохожие вскидывали руки в нацистском приветствии или поспешно скрывались, скользнув в ближайшую дверь. Они знали по опыту, что могут быть избиты нами ((стало быть, и мной), если не вскинут руку при виде знамени. Что толку если я—и некоторые из нашей колонны — сами прятались в подворотни при виде нацистских знамен, когда еще не маршировали под этими знаменами. А теперь маршировали, и одно это означало для встреченного прохожего молчаливую угрозу избиения. И каждый нас приветствовал — или убегал. Из страха перед нами. Из страха передо мной.

Еще и сегодня мне делается тошно, когда я вспоминаю эту ситуацию. В ней, как в скорлупе ореха, был заключен весь третий рейх.

36

Ютербог—гарнизонныга город на юге Бранденбурга. Прекрасныш осенним утром мы встретились там на вокзале: сто или пятьдесят молодых людей, собранный со всех областей Германии, — на руке плащ, в другой руке чемодан, на лицах легкая растерянность. Никто в точности не знал, что нам предстояло; каждый недоумевал, а что мы, собственно говоря, здесь забыли? Вообще-то, мы собирались сдать асессорские экзамены — и по этой причине нам нежданно-негаданно повелели прибыть на негостеприимный провинциальный вокзал. Наверное, иные из нас втайне вооружились скепсисом и иронией против обещанного нам «мировоззренческого воспитании». Но вряд ли кто-то быш готов к странной, нелепо-авантюрной ситуации: мы стоим со своими чемоданчиками на вокзале, и у нас нет иной заботы, кроме как прибыть в место под названием «Новый лагерь»[230], о котором никто ничего не знал; для чего — опять-таки неведомо. Никто нас не встретил. В конце концов мы

договорились с каким-то водителем, тот обещал отвезти на своем грузовике наши чемоданы, он же объяснил нам, как добраться до «Нового лагеря»: несколько километров по шоссе. Кто-то предложил найти еще какие-то машины и доехать, но большинство решительно

отвергло такое предложение: хорошо же нас примут в лагере военной подготовки, если мы, как важные господа, подкатим к казармам в автомобилях! Кое-кто был в форме штурмовиков. Один из них, видимо вождь по натуре, скомандовал: «В колонну по три стройся! Шагом марш!» — и поскольку иных предложений не последовало, мы выполнили приказание и после некоторой толкотни и неразберихи построились в колонну по три и двинулись по шоссе. Внезапно ситуация преобразилась—теперь это была типично немецкая картинка: рекруты на марше.

Штурмовики, их было шесть или восемь человек, шли впереди; мы топали вслед за ним, стараясь идти в ногу: символическая картина. Те, что шагали впереди, попытались затянуть строевые песни: сначала песни штурмовиков, потом солдатские, наконец, народные. Очень скоро выяснилось, что мы не знаем слов или знаем только первый куплет. Так что запевалы бросили свою затею, и мы молча маршировали вдоль по шоссе. Справа и слева от нас под осенним солнцем лежала голая плоская равнина. Покуда я маршировал, мысли мои тоже отправились в путешествие, и я подивился тому окольному пути, который должен был в конце концов привести меня в Париж.

По прибытии в лагерь мы принялись ждать. Мы стояли по команде «вольно» и в некотором недоумении наблюдали за тем, как другие референдарии, обитавшие здесь, по всей видимости, давно, огромными метлами гоняли между бараками целые тучи пыли. (Спустя неделю мы уже знали, что это называется «уборка территории» и является обычным субботне-воскресным времяпрепровождением.) При этом они пели в том особом отрывистом ритме, введенном в немецкий обиход нацистами, весьма своеобразные песни. Я вслушался в текст и очень скоро понял, что они поют сатирические куплеты, полные издевок над «Павшими в марте»,—так называли тех, кто после мартовской победы нацистов тоже быстренько сделался нацистом. Несколько минут я пребывал в счастливой и абсолютно беспочвенной надежде. Довольно скоро я заметил, что насмешка в этих песнях идет совсем с другой стороны, не с той, о которой я подумал в силу своей неизжитой наивности. Там пелось:

Im Jahre drei und dreipig Da war der Kaimpf vorbei…

Im Jahre drei und dreipig Da ging der feine Mann Zu dem Monturenschneider,

Kauft sich die schonsten Kleider,
Jetzt gibt das Arschloch auch noch an... [22]

Это были ядреные песни штурмовиков, «старых бойцов». Занятно, что парни, залихватски горланившие эти песни, сами были по большей части «Павшими в марте» — или еще не успели ими стать...

Разобраться в этом было трудновато, поскольку все носили одинаковую серую форму, нарукавные повязки со свастикой, и все горланили на один лад: жестко и отрывисто. Я с опаской приглядывался к тем, кто еще не распевал песни и был одет в гражданское, пытался определить, кто из них нацист, а кто... Поди знай. Во всяком случае, осторожность не помешает. Наверное, и они присматривались ко мне.

Вот так мы стояли и ждали, ждали и стояли с перерывами часа три или четыре — не меньше. В перерывах мы получили сапоги, котелки, нарукавные повязки со свастикой и порцию картофельного супа. После каждой «выдачи» мы ждали следующей еще примерно с полчаса. Мы словно находились внутри огромной медленной машины, в которой каждые полчаса что-то щелкало и совершался поворот. Потом—медосмотр, грубый и несколько оскорбительный беглый медосмотр военного образца: высуньте язык, приспустите штаны, «Венертгаески-ми заболеваниями болели?», стетоскоп — к груди, свет настольной лампы—между ног, молоточком— по коленке: здоров! После чего состоялось «размещение» в огромной казарме с сорока или пятьюдесятью двухъярусными кроватями, шкафчиками и двумя длинными столами с лавками. Все имело совершенно недвусмысленный военный облик; самое забавное бышо то, что мы вовсе не хотели стать солдатами, мы хотели сдать асессорский экзамен. Да нам никто и не говорил, что мы должны стать солдатами; не бышо сказано ни слова, хотя мы уже получили первые наставления.

А именно. Нам велели построиться на плацу. Распоряжался старшина, штурмовик. Не рядовой штурмовик, но штурмфюрер. На обшлаге у него было три звездочки. В этот день я узнал: это означает —штурмфюрер, а штурмфюрер нечто вроде Гауптмана в армии. В остальном же он быгл таким же референдарием, как и все мы. Нельзя сказать, чтобы он выглядел совсем уж не симпатично. Маленький, изящный, брюнетистый юноша с быстрыми, живыми глазами, вовсе не головорез. И все-таки выражение его лица — трудно определимое — чем-то настораживало; к тому же оно быгло мне знакомо и будило мучительные воспоминания. Внезапно я понял: это быгла в точности та самая намертво приставшая к лицу наглость, с

которой не расставался старина Брок со времени своего обращения в нацистскую веру.

Он скомандовал «смирно», потом «вольно»; или даже скорее не скомандовал, но сказал разумноубеждающим тоном, как будто объяснял: «Мы здесь играем. Я в этой игре командир. Ну так и не нарушайте правил — слушайтесь меня!» Нельзя было отказать ему в любезности. Он произнес короткую речь, состоящую из трех пунктов.

Первое, чтобы не было никаких неясностей: здесь, в лагере, принято одно обращение, а именно товарищеское «гы»[231].

Второе: наша казарма должна стать образцовой казармой лагеря.

Третье: те, у кого потеют ноги, каждое утро и каждыгй вечер должны их мыть, это одна из заповедей товарищества.

На этом, объяснил он, сегодняшняя и завтрашняя служба завершена (мы прибыли в лагерь субботним вечером). Увольнительных в город еще нет, но в лагере каждый может делать все, что захочет. «Разойдись!»

Ко всем непонятным и неприятным неожиданностям этого дня прибавилось еще и это тяжелое задание: убить остаток вечера и весь завтрашний день ничегонеделанием.

Мы принялись нерешительно завязывать знакомства: нерешительно, поскольку никто не знал о другом, не нацист ли тот? Осторожность не могла быть лишней. Кое-кто совершенно открыто стал набиваться в приятели к штурмовикам, но те держались гордо и соблюдали четкую дистанцию между собой и своими цивильными коллегами. Они чувствовали себя здесь настоящей аристократией. Я пытался найти лица, которые выглядели бы не по-нацистски. Но можно ли полагаться только на физиономию? Мне сделалось очень неуютно.

Однако со мной заговорили раньше, чем я сам решился заговорить. Быстрым, но внимательным взглядом я скользнул по лицу этого парня. Нормальное, открытое лицо. Белокурый. Однако и у штурмовиков были нередки такие лица.

«Мне кажется, я вас... э-э-э... извини, тебя где-то видел, — сказал он. — Могли мы где-то встречаться раньше?»

«Не знаю, — отвечал я, — у меня плохая память на лица. А вы... э-э-э... извини, ты не из Берлина?»

«Из Берлина, — сказал он и представился совсем не по-военному слегка поклонившись: — Буркард».

Я тоже представился, после чего мы попытались вспомнить, где могли встречаться раньше. Спокойный, не компрометирующий никого разговор продолжался минут десять. После того как мы выяснили, что видеться, собственно говоря,

нигде не могли, наступила пауза. Мы откашлялись.

«Ну да все равно, — сказал наконец я, — значит, познакомились».

«Да», — ответил он.

Пауза.

«Интересно, есть здесь где-нибудь столовка? — сказал я. — Может, по чашечке кофе?»

«Почему бы и нет?» — мы, как могли, избегали обращения друг к другу на «ты» или на «вы».

«Чем-то ведь нам придется заняться, — сказал я и прибавил, осторожно прощупывая почву: — Странное положение, верно?»

Он отчужденно глянул на меня и ответил еще осторожнее: «У меня пока не сложилось определенного впечатления. В целом все очень по-военному, да?»

Мы нашли столовую, попили кофе, предложили друг другу по сигарете. Беседа застопорилась. Мы избегали обращаться друг к другу на «ты» или на «вы», старались не открываться друг перед другом. Общение получалось весьма натянутым. Наконец он спросил: «Вы играете в шахматы? Прости, ты в шахматы играешь?»

«Немного, — ответил я, — сыграем?»

«Я давно не играл,—заметил он,—но мне кажется, тут есть шахматы, почему бы и не сыграть?»

Получив под залог шахматы, мы сели играть. Я попытался припомнить все известные мне шахматные дебюты. Я не играл в шахматы уже много лет; теперь и сами фигуры, и ход игры вдруг пробудили воспоминания о давно прошедших временах, когда я был страстным и умелым шахматистом: вспомнились первые студенческие годы, 1926-й, 1927-й, тогдашняя атмосфера с откровенными жаркими спорами, с ее шутками и задором. В какое-то мгновение я словно со стороны увидел самого себя, только ставшего на семь лет старше и неизвестно зачем заброшенного в какую-то тмутаракань, играющего в шахматы, чтобы убить время, с незнакомцем, которому почему-то надо тыкать; и я почувствовал нечто унизительное и одновременно авантюрное во всей этой ситуации. Я осторожно двигал пешку подготавливая рокировку. Со стены на меня недовольно смотрел гигантский портрет Гитлера.

В углу не умолкало радио—назойливая, маршевая музыка. Еще шесть или восемь человек сидели за другими столиками, курили или пили кофе. Прочие, надо полагать, гуляли по лагерю. Окна были открыты, осеннее послеполуденное солнце чертило в воздухе косые четкие лучи.

Внезапно радио замолчало. Банальная маршевая мелодия

запнулась, как если бы марширующие застыли с задранными ногами. Воцарилась мучительная тишина: мы только и ждали, чтобы ноги грохнули наконец о землю. Вместо этого раздался елейный голос диктора: «Внимание, внимание! Срочное сообщение службы беспроводной связи!»[232]

Мы оба оторвались от шахмат, но постарались не глядеть друг на друга. Это была суббота, 13 октября 1933 года; сообщили, что Германия вышла из Лиги

Наций[233] и Конференции по разоружению. Диктор говорил в том елейном стиле, который был создан доктором Геббельсом: эдакая масляная гладкость актера-недоучки, изображающего интригана.

Затем последовали другие срочные сообщения. Рейхстаг распущен, исполнительный покорный рейхстаг, наделивший Гитлера всей полнотой власти, распущен? Почему, собственно? К будущим выборам в Гсˆ!ˆ]мˆ]ˆ:ии останется одна только партия НСДАП. Такой ход показался мне, несмотря на все, к чему я уже успел привыкнуть, несколько удивительным. Выборы, во время которых не из кого выбирать. Ничего не скажешь, смело. Я скользнул взглядом по лицу своего визави. Оно оставалось безучастным настолько, насколько это вообще было возможно. Распущены были и ландтаги федеральных земель, только в отличие от рейхстага — навсегда. Эта новость последовала за остальными и тоже не вызвала никакого интереса, хотя и означала ни много ни мало как государственно-правовое уничтожение таких древних и великих образований, как Пруссия и Бавария2з. Вечером Гитлер обратится с речью к немецкому народу Господи боже, сегодня мне предстоит это выслушать вместе со всеми. «А теперь мы продолжаем нашу музыкальную программу...»Тарум-та-та-та, тарум-та-та-та...

Однако никто не вскочил, чтобы заорать ««ура» или «хайль». Вообще ничего не произошло. Буркард еще ниже склонился над шахматами, как будто на свете не было ничего более интересного, чем наша партия. Да и за другими столиками все сидели абсолютно спокойно, дымили сигаретами с нарочито ничего не выражающими лицами. Впрочем, этим-то как раз и было выражено очень многое. Мне сделалось физически плохо от сталкивающихся, противоречивых ощущений. Я и обрадовался, ведь нацисты нынче в самом деле зашли слишком далеко, и был вне себя от злости, потому что в столь важный момент я оказался пойман, заперт в казарме; кроме того, я огорчился, ведь нацисты теперь потерпят поражение в том деле, где они были, так сказать, правы, потому как «равноправие нашей страны» и «свобода вооружения для Германии» было тем, чего добивались добрые

республиканцы Веймара, не так ли? И то и другое они считали справедливыми требованиями[235]. С бессильной яростью я констатировал дьявольскую хитрость, с которой нацисты, всех одурачив, получили вотум доверия, пустив в ход лозунги, ни у кого из немцев не вызывавшие возражения; между тем как объявление о «выборах», во время которых всем придется избирать представителей одной-единственной партии, меня повергло в полную немоту, и я беспомощно искал и не находил слова, чтобы высказаться по поводу этой неслыханной наглости, вопиющего бесстыдства. Мне не терпелось поговорить, поспорить. Но я смог сказать только:

«Одним махом — всех, не так ли?»

«Да, — отвечал Буркард, склоняясь над шахмат

ными фигурками, — это нацисты умеют».

Ха! Он себя выдал! Разоблачил! Он сказал «на

цисты»! Тот, кто называет их «нацистами», сам не нацист. С ним можно разговаривать.

«Я думаю, на этот раз ничего у них не выйдет», — горячо начал я. Он глянул на меня недоумевающевопросительно. Разумеется, он заметил, что несколько зарвался, потерял осторожность.

«Трудно сказать, — заметил он,—я полагаю, вы теряете ладью». — Он даже забыл «тыкнуть».

«Вы так считаете?» — сказал я и снова попытался сосредоточиться на шахматной игре, совершенно выбитый из колеи.

Мы закончили партию, не произнеся ни слова, кроме «пах» или «гарде».

Вечером в той же столовой мы слушали Гитлера по радио. Огромный портрет диктатора презрительно смотрел на нас со стены. Теперь задавали тон штурмовики. Они смеялись или кивали в подходящих для этого местах, словно депутаты рейхстага. Мы же стояли или сидели плотно стиснутые, сжатые, и в этой тесноте была отвратительная невозможность вырваться. Ты был беззащитнее перед словами, льющимися из радио, когда оказывался стиснут соседями, про которых не знал, какие у них убеждения. Кое-кто был явно воодушевлен. Иные выглядели совершенно непроницаемо. Говорил только один: невидимый из радиорупора.

Когда он отговорил, произошло самое худшее. Заиграли гимн «Ггрмания превыше всего», и все вскинули руки в нацистском приветствии. Несколько человек помедлили, подобно мне. Было в этом что-то донельзя унизительное. Но ведь нам надо было сдать экзамен! Впервые я ощутил — сильно, явственно —словно бы

поганый вкус во рту: ««Это не считается. Я всего только притворяюсь, это не я. Это не считается». Вот с каким чувством я вскинул руку и продержал ее вытянутой минуты три, не меньше, пока звучали гимн и песня «Хорст Вессель». Вокруг все пели — во всю глотку, залихватски. Я шевелил губами, имитировал пение, как делают в церкви во время пения хоралов.

Но руки у всех нас были вскинуты вверх. Мы так и стояли перед безглазым радиоаппаратом, словно марионетки перед своим кукольником. Да, мы стояли и пели или делали вид, что поем, и каждый был гестапо для другого.

37

Великие державы никак не отреагировали на гитлеровский выход из Лиги Наций и начавшееся вооружение Германии, которое с этого момента стало проводиться с известной демонстративностью (хотя и под аккомпанемент лживых заверений в обратном); в следующие дни я впервые испытал смешанное чувство трусливого успокоения и горького разочарования, которое в последующие годы повторялось бесконечно много раз и доводило до отвращения к жизни.

В те дни как раз и началось наше ««мировоззренческое воспитание». Оно велось, что любопытно, весьма умело, вовсе не грубо и непосредственно, а, можно сказать, утонченно и изощренно.

Мы-то рассчитывали на речи, лекции, доклады, даже допросы под видом дискуссий. Ничего подобного. В понедельник мы получили настоящую военную форму—серую униформу покроя блузы, такую, какую носили в мировую войну русские солдаты, каски и ремни. Вот так, по-военному обмундированные, в тяжелых походных сапогах, мы, военно-полевые кандидаты в асессоры, слонялись по лагерю и, не получая пока что новых распоряжений, могли заниматься своими следующими экзаменационными работами — марциальными[236].

Затем началось то, что называлось «службой». На первый взгляд здесь и в самом деле имелось некое сходство с военной службой, особенно когда наши «начальники» — штурмфюреры и тому подобный народ — орали и рявкали, как заправские фельдфебели. Но это только на первый поверхностный взгляд. К примеру, нас вовсе не учили владению оружием. С оружием мы занимались совсем немного, в основном нас учили маршировать, петь и приветствовать начальство. «Приветствием» мы однажды занимались полдня, от завтрака до обеда. Вот как это происходило.

Мы стояли на плату, построившись в колонну по трое в ряд. Первые трое по команде начинали маршировать. Цугфюрер—

таково было официальное наименование нашего взводного командира— контролируя выправку и соблюдение строя, шагал слева от марширующих, им навстречу. Внезапно цугфюрер орал во всю глотку с силой разорвавшейся бомбы: «Хайль Гитлер!» — в ответ на что трое марширующих с четкой, молодцеватой одновременностью должны были резко поднять левую руку к поясному ремню, не забыв оттопырить большой палец и вытянуть остальные, правую руку вскинуть вверх строго на уровень глаз, голову резко повернуть налево и по немому счету «два-три» гаркнуть с взрывной силой все той же бомбы: «Хйль Гитлер, цутфюрер!» Если что-нибудь не удавалось, гремело: «Назад, марш, марш!» — и муштра повторялась сначала. После чего на плацу маршировали следующие ««тройки», а отмаршировавшие в течение десятипятнадцати минут отдыхали. Такие занятия продолжались два-три часа.

Или мы маршировали, просто маршировали без какой-либо определенной цели час, два, три, а то и все четыре в окрестностях Ютербога. Во время марша мы пели. Мы горланили три рода песен. Разучивали мы их во второй половине дня на специальных занятиях, а пели во время марша утром. Во-первых, это были песни штурмовиков, рифмованные опусы наподобие тех, которыми доморощенные поэты из лавочников заваливают редакции провинциальных газет. В этих песнях по преимуществу грозилось расправой евреям и заодно выдавались лирические перлы:

Золотое осеннее солнце Посылало последний привет и т. д.

Во-вторых, солдатские песни последней войны, слащаво-сентиментальный бред, причем все они имели непристойные варианты, но не были лишены определенного обаяния, немного напоминая уличные «баллады». И наконец, очень странные «песни ландскнехтов», в которых пелось, что мы—«черные банды Гайера»[237] и вот-вот пустим красного петуха под монастырские крыши. Эти песни пользовались наибольшим успехом, их орали еще отрывистей, молодцеватее и наглее, чем все остальные. Я убежден, что чуть ли не половина здешних референдариев, готовившихся стать судьями, в самом деле во время утренних маршей в сельских окрестностях протестантского Ютербога чувствовали себя черной шайкой Флориана Гайера, собирающейся пустить красного петуха под монастырские крыши. С диким наслаждением, будто самозабвенно играющие подростки, мы распевали грубыми хриплыми голосами — ни дать ни взять орда вооруженных дубинами древних германцев:

Wir wollen dem Herrn im Himmel klagen,
Heia hoho!

Da6 wir die Pfaffen woll'n totschlagen,
Heia hoho!
Drauf und dran!
Mann fur Mann!
Setzt aufs Klosterdach den roten Hahn![23]

Я пел вместе со всеми. Мы все пели.

Вот в этом и состояло наше мировоззренческое воспитание. Коль скоро мы согласились играть в те игры, в которые с нами здесь играли, то мы совершенно автоматически превращались если не в нацистов, то, по крайней мере, в чрезвычайно удобный дан нацистов человеческий материал. А мы на эти игры согласились. Почему собственно?

Здесь сошлось множество причин, больших и маленьких, извинительных и непростительных. Конечно, на поверхности лежало то, что мы все хотели сдать асессорский экзамен, а пребывание в лагере вдруг было сделано чем-то вроде составной части экзаменов. Конечно, таинственные намеки на то, что «свидетельство о прохождении службы» сыграет большую роль во время экзамена и что плохие письменные работы будущих юристов можно исправить лихой маршировкой и мощным пением, у некоторых из нас вызвали естественное желание как следует топать ногами и орать во всю мочь. Но гораздо существеннее было то, что нас захватили врасплох и мы совершенно не представляли себе, что за игра тут идет и как против этого бороться. Взбунтоваться? Просто покинуть лагерь и поехать домой? Так ведь об этом надо было договориться, а под тонким покровом грубого и сердечного солдатского товарищества таилось серьезнейшее недоверие друг к другу. Кроме того, нам было просто интересно посмотреть, какова действительная цель всего этого. И наконец, не обошлось и без очень странного, очень немецкого честолюбия, которое внезапно сработало, хотя поначалу мы этого не заметили: честолюбия усердия, честолюбия, которое вынуждает добросовестно выполнять порученное тебе дело, сколь угодно бессмысленное, непонятное, унизительное,— предельно хорошо, основательно, со всем старанием. Убирать казарму? Маршировать? Петь? Бред, но хорошо, хорошо—мы отдраим казарму как не отдраит никакой профессиональный полотер, мы будем грохотать сапогами, как старые вояки, и орать песни так, что деревья согнутся. Эта абсолютизация усердия — немецкий порок, а немцы считают его добродетелью. Во всяком случае, это одна из самых глубоких и характерных особенностей немцев. Мы не умеем плохо работать. Мы — самые никудышные саботажники в мире. То, что мы делаем, мы вынуждены делать первоклассно, и ни голос совести, ни самоуважение не заставят

нас халтурить. Хорошо делая то дело, которым мы занимаемся — вне зависимости от того, пристойная ли это, исполненная высокого смысла работа, авантюра или преступление, — мы словно пьянеем, и это глубокое, греховно-счастливое опьянение заставляет нас забывать смысл и существо того, что мы делаем. «Югассная работа!» — с восхищением говорит немецкий полицейский, осматривая профессионально взломанный сейф.

В этом наше общее—нацистов и ненацистов — слабое место. Здесь-то нас и подловили с великолепной, надо отдать должное, психолого-стратегической ловкостью.

Прежде всего совершенно верно был выбран момент резкой смены «воспитательского состава». Через неделю или две штурмфюреры, которые нами командовали, внезапно исчезли, вероятно, были переведены в другой лагерь военной подготовки, чтобы заниматься «мировоззренческим воспитанием» там, а вместо них появился лейтенант рейхсвера с целой дюжиной подчиненных ему унтер-офицеров.

Обаятельный молодой человек, он появился однажды утром перед нашим строем, когда мы готовились к очередному маршу под осенним проливным дождем. «Ну, — сказал он,—что за мрачные физиономии в такой дивный день перед такой очаровательной прогулкой?» Это было сказано мягко и как-то по-человечески. Впоследствии выяснилось, что он не собирается отнимать у нас обращение на ««вы»[238]. Он не делал секрета из своего отношения к штурмовикам вообще и к нашим недавним командирам в частности. Унгер-офицеры стеснялись и того менее. «Теперь будете заниматься чем-то осмысленным», — в тот же день объявил нам унтер-офицер Шмидт, принявший командование над нашим взводом. Мы получили винтовки, научились их разбирать и собирать, вызубрили семь составных частей винтовки и принялись учиться стрелять. После бессмысленной шагистики это показалось громадным облегчением! Стало быть, мы — новобранцы! Это было для нас очевиднейшим прогрессом. По крайней мере, теперь мы знали, что здесь разыгрывается и для чего здесь мы! Кончилось постоянное молчаливое унижение оттого, что мы целыми днями занимались абсолютно бессмысленными и бесполезными вещами. Как мы обрадовались! О да, нас и в самом деле неплохо «мировоззренчески воспитали»...

Гитлеру приписывают высказывание: «Все, кто хотел бы с нами бороться, теперь великолепно нам служат—в рейхсвере!»[239] Здесь больше правды, чем во всех гитлеровских речах вместе взятых. В самом деле, рейхсвер стал гигантской ловушкой для всей ненацистской Германии; для заурядной немецкой массы с ее

усердием, неутолимой жаждой деятельности, с ее моральной и интеллектуальной трусостью. В рейхсвере не надо было вскидывать руки в нацистском приветствии и даже можно было позволить себе резкое слово по адресу Гитлера и нацистов; а с другой-то стороны, здесь можно было занять себя самым основательным и эффективным образом; здесь выполнялась «отличная работа» и—что прекраснее всего—можно было «молча выполнять свой долг», да к тому же здесь снималась необходимость самостоятельно думать и моральная ответственность; здесь не надо было спрашивать у самого себя, за кого и в кого однажды придется стрелять. Кое-кто, нуждаясь в дополнительных «успокаивающих средствах», годами утешал себя тем, что «однажды рейхсвер покончит с нацистским надувательством». Они сознательно закрывали глаза на тот факт, что как раз рейхсвер и был каналом, через который их энергия поступала на службу Гитлеру. Огромный, решающе важный процесс. Тогда в Ютербоге я увидел микроскопически малую его часть, но зато и увидел это явление как под микроскопом, и рассмотрел его во всех его психологических нюансах.

Мы были старательными новобранцами. Спустя несколько недель мы уже не задумывались над нелепостью ситуации: учиться стрельбе, чтобы сдать экзамен по праву. У военной жизни свои собственные законы. Если уж ты угодил в эту среду, то ты лишался возможности спрашивать, как, для чего и почему ты сюда попал. Ты все время был занят какой-то деятельностью: чисткой оружия и сапог, стрельбой; ты учился находить укрытие, учился «локтевой связи», то есть умелому взаимодействию с соседом; учился ходить строем и в ногу. Физически ты слишком уставал для каких-либо сомнений и раздумий. Да и унтер-офицеры были вполне сносные парни — не какие-нибудь солдафоны-фельдфебели старого типа. Ко всему прочему мы были рады-радехоньки тому обстоятельству, что избавлены от нацистских лекций, и полагали, что тут нам здорово повезло. Когда однажды (да еще в субботу вечером) некий коллега-референдарий, бывший одновременно и партийным чином, попытался прочесть нечто вроде политического доклада, начался форменный бунт. Во время доклада мы топали ногами под столом, а ночью чуть не побили докладчика. Совершенно открыто и совершенно не парламентарными выражениями мы критиковали, нет, конечно, не само нацистское «мировоззрение» как таковое — до этого дело не доходило, — а низкий «уровень», на котором оно проповедовалось. В качестве солдат мы уже не боялись открыть рот. В качестве обычных референдариев в первые дни нашей службы мы на это не отваживались.

Вот так-то мы и полагали, что нам удалось избежать «мировоззренческого воспитания», не подозревая, что нас уже вовсю «воспитывают». В один прекрасный день нам прочли доклад, поставивший все точки над «i». На этот раз вовсе не партийный доклад: ничего против евреев или против «веймарской системы», ничего о мистических дарованиях фюрера или о позорном Версальском мире[240], нет, это было нечто куда более действенное. Лейтенант, непосредственный наш начальник, рассказывал нам о битве на Марне[241].

Будь он профессиональным пропагандистом, он и тогда бы не смог изготовить ничего более изощренного и хитрого. Но вероятно, при выборе темы для своего доклада он руководствовался лишь инстинктом, ведь он и сам искренно и простодушно разделял те представления, какие хотел внушить нам.

Представление о битве на Марне, которое сложилось у немцев, заметно отличается от существующего в других странах. Если в мире спорят о том, кому принадлежит главная заслуга в победе—Гал-лиени222, Жоффру2*3 или Фошу, то в Германии подобного спора просто не может возникнуть, потому что немцы не считают, что на Марне победили войска Антанты. Всем немцам накрепко вбили в голову, что фактически выигранная Германией битва на Марне из-за серии несчастных недоразумений остановилась именно тогда, когда чаша весов уже качнулась в сторону кайзеровской армии. Даже более того! Если бы не эти случайности, то не только битву на Марне, но и всю войну непременно выиграли бы немцы; лишь злостные случайности виноваты в том, что началась затяжная, изнурительная, позиционная война, которую немцы, конечно, тоже бы выиграли, если бы не... Здесь начинались другие легенды.

Эта самодельная картинка ужасно мучает немцев. Она им дана как жало в плоть[244] и зудит хуже занозы.

Немцев мало интересует вопрос о вине в развязывании войны, имеющий огромное значение для других стран[245]. Втайне немцы не прочь быть виновниками войны, хотя хорошим тоном у них считается в целом свою вину отрицать. Раздражает и мучает немцев лишь то, что война, кто бы ее ни развязал, была Германией проиграна. Но даже действительный, финальный разгром в войне — как бы ни отделывались от него, объясняя то легендой об «ударе кинжалом в спину»[246], то другой—дескать, немцы, поверив «14 пунктам» Вудро Вильсона[247], добровольно сложили оружие, а их бесстыдно обманули — даже разгром не столь мучителен и оскорбителен, как поражение в битве на Марне. Ведь именно тогда (гласит немецкий миф) быстрая,

славная, окончательная победа, которая уже была в руках у немцев, оказалась потеряна из-за недоразумения, ошибки, смехотворно маленькой организационной оплошности. И это — невыносимо. Чуть ли не каждый немец хранит в памяти схему дислокации армий 5 и 6 сентября 1914 года и чуть ли не каждый уже хоть немножечко переместил, мысленно, эти черные линии: одно лишь выдвижение 2-й армии — одно только крохотное движение резерва — и война выиграна! Почему этого не сделали? В Германии по сию пору обсуждается вопрос о том, кто виноват, кто отдал роковой, совершенно ненужный приказ об отступлении: Мольтке[24]®, полковник Хенч2[49], генерал-полковник Бюлов2[50]... Из всей этой воображаемой картины неизбежно следует мысль: прошлое должно быть исправлено, нужен реванш!

Партия должна быть переиграна, фигуры следует поставить так, как они стояли прежде, и на этот раз мы сыграем как надо, без недоразумений... Требовал пересмотра и денонсации не столько даже Версальский мир», сколько технический недочет, промах, «фактически» завоеванная и толь

ко по оплошности ущтценная победа.

Наш лейтенант развернул перед нами свиток немецкой легенды о битве на Марне: если бы 1-я армия, совершая свой знаменитый фланговый марш на Париж, отбила контратаку Галшени, с северо-запада была бы устранена угроза флангам, из-за которой, собственно, и возник зазор между 1-й и 2-й армиями и — и тогда резервы 2-й армии... Вместо этого — дряхлый верховный главнокомандующий[251], плохо информированный, находящийся далеко от места событпой... нервный срыв впечатлительного полковника Хееиа... и так далее, и тому подобное вплоть до невыносимого, незаконного, ошибочного конца...

Затем, страдая от столь несправедливого, столь неверного итога, наш лейтенант вернулся к современности и вовлек нас в военную дискуссию: «Если бы Бюлов... Если бы Хенч... Е < сл:и бы Клюк225... И вот тогда 2-я и 3-я армии взяли бы Фоша в клещи...» И вот мы уже отлично разыгрывали «правильную» битву на Марне, а не ту. что была девятнадцать лет тому назад. Совершенно естественно и неизбежно дискуссия перешла в обсуждение нашей готовности к новой войне. «Если бы только мы успели как следует вооружиться! Но нам этого не позволят», — сказал кто-то. «Уже позволили, — отвечал другой, — они знают: даже если у нас мало солдат, то самолетов и летчиков достаточно. Прежде чем нас разобьют, мы за одну ночь разнесем Париж в пылть.!»

И мы еще самонадеянно воображали, будто не поддались

««мировоззренческому воспитанию» и не сделались нацистами!

38

А я? Я замечаю, что уже давно не имел возможности употребить в своем рассказе слово «I». Попеременно я использовал то «они», то «мы»; не возникало надобности в первом лице единственного числа. Это не случайно. В этом—соль того, что произошло с нами в лагере военной подготовки. Отдельная личность каждого из нас перестала играть какую бы то ни было роль; она оказалась выключенной, ей объявили мат; она, так сказать, не принималась в расчет на этой шахматной доске. Расстановка фигур с самого начала была такой, что не оставалось места для отдельного «я»; «личное», «свое», «индивидуальное» не имело значения, оно было отставлено в сторону отложено в долгий ящик. И наоборот: в те часы, когда можно было вспомнить о своем ««я» — например ночью, когда ты внезапно просыпался среди многоголосого сопения и храпа товарищей, — тебя внезапно охватывало ощущение нереальности всего, что тебя окружало, в чем ты механически принимал участие. Только эти часы оставались для того, чтобы отдать себе честный отчет в том, что с тобой здесь происходит, и занять последнюю оборонительную позицию вокруг своего собственного «я».

Предположим, все это продлится четыре, шесть или восемь недель. Мне придется все выдержать, а потом — экзамен, а потом — Париж, и все забудется, как будто ничего и не было! Между тем это ведь полновесное приключение, определенный жизненный опыт. Кое-чего я себе не позволяю категорически: не говорить таких вещей, за которые после пришлось бы стыдиться. Стрелять по мишеням? Да! Но не по живым мишеням. Не связывать себя никакими обязательствами. Не продаваться... Что еще? Все прочее уже отдано и потеряно. Я ношу форму с нарукавной повязкой, а на повязке — свастику. Я вытягиваюсь по стойке «смирно». Я умело чищу винтовку Но это же не считается! Меня не спрашивают, хочу я это делать или нет. Тот, кто все это делает, не я. Это игра. Я играю роль, не более.

Однако, господи боже, ведь есть же где-то некая инстанция, не признающая никаких отговорок и объяснений, а просто фиксирующая все происходящее. Эта инстанция не заглядывает в сердце, она видит только нарукавную повязку со свастикой. Перед этой инстанцией мое положение куда как скверно. Бог мой! Где я ошибся? Что я должен ответить судье, если он скажет: «Ты носишь нарукавную повязку со свастикой, ты не хочешь ее носить. Тогда почему носиш>?»

Неужели я должен был отказаться от нарукавной повязки в первый же день, когда нам их выдали? Тотчас же заявить: нет, вот

это я носить не буду, — и, бросив на землю, потоптать это ногами? Но это было бы безумием, хуке—дурацкой выходкой. Это означало бы только одно: я отправлюсь не в Париж, а в концлагерь, я нарушу обещание, данное отцу, — не сдам экзамен. Погибнуть ни за что, за донкихотский жест, о котором, скорее всего, никто не узнает. Смешно. Здесь все носят эти нарукавные повязки, и я знаю наверняка, многие в «приватном порядке» думают об этом «ношении» то же, что и я. Если бы я устроил театральное представление, они просто пожали бы плечами. Лучше я сейчас поношу эту треклятую повязку, зато потом, когда освобожусь, смогу правильно использовать свою свободу. Лучше я сейчас научусь хорошо стрелять, тогда я смогу отстреливаться, если к тому принудят обстоятельства...

Но в душе все равно раздавался упрекающий, не дающий успокоиться голос. Никакие отговорки не помогали: ты носил нарукавную повяззу.

Друзья-товарищи храпели, сопели, ворочались, издавали разные прочие звуки. Я один бодрствовал, да я и вообще был один. Вонь стояла изрядная. Надо бы открыть окно. Лунный свет лился через стекло. Надо бы снова заснуть.

Но снова заснуть не удавалось. Сквернее некуда —проснуться ночью в казарме. Я повернулся на другой бок. Сонное дыхание моего соседа пахло не слишком хорошо, и я лег на спину

Другие мысли, ночные мысли. Когда совсем недавно при тебе грозились разнести Париж в пыль, разве не прошел через твое сердце нож? Почему же ты промолчал? Почему ты ничего не сказал?

А что я должен был сказать? Что-нибудь вроде: жалко Париж? Наверное, нечто подобное я даже и сказал. Сказал? Точно не помню. В этом случае мне бы наверняка ответили: «Конечно жалко». А дальше что? Сказать что-нибудь мягкое, обтекаемое было бы куда трусливее и лживее, чем просто промолчать. Тогда что нужно было сказать? «Отвратительно, бесчеловечно, ты сам не понимаешь, что ты несешь...» Бесполезно, совершенно бесполезно. Они бы даже не разозлились. Скорее, посмотрели бы с недоумением. Наверняка рассмеялись бы. Или пожали бы плечами. Тогда что надо было сказать, чтобы достичь хоть какого-то результата? Какие слова настолько сильны, чтобы разбить панцирь их глухоты и спасти мою душу?

Я изо всех сил старался найти эти слова. И не нашел. Их просто не было. Молчать было лучше всего.

Или совсем недавно, когда кто-то другой — вообще говоря, довольно приятный парень — сказал, имея в виду процесс о поджоге рейхстага, сказал обезоруживающим задушевным тоном:

«Господи, конечно, я не верю, что это они. Но какая, в сущности, разница? В конце концов, было достаточнс свидетелей, их изобличающих. Раз так — долой голову с плеч! Одной головой меньше, одной больше — подумаешь!»

На это нечего сказать. На это нечем возразить. На это есть один ответ: взять топор и раскроить череп тому, кто так говорит. Да, да, именно так! Однако.. . я и топор? Да и сказавший это, в общем-то, неплохой, приятный парень. Однажды, когда мне стало дурно ночью, он поднялся, помог мне дойти до сортира, накинул мне на плечи халат. Нет, я бы не смог раскроить ему череп, чтобы он ни говорил. .. Да и кто знает, что он на самом деле про все это думает в частном, так сказать, приватном порядке? Может, он просто чесал языком... Он говорит такие вот вещи, а я молча выслушиваю его—большая ли здесь разница? Почти одно и то же...

Я повернулся на другой бок, мысли приняли другое направление: а сделать? Да, вот тут начиналось самое важное различие... Смог бы кто-нибудь из нас, смог бы я найти приемлемый выход, если от нас вдруг погребуют не слов или молчания, а действий? Если сейчас разразится война и все мы, собранные здесь, отправимся в окопы и должны будем воевать — за Гитлера... Ну? Ты что же, бросишь ствол и перебежишь на ту сторону? Ты будешь стрелять в своего соседа? В того, кто помогал тебе вчера чистить оружие? Ну? Ну?!

Я застонал и попытался заставить себя не думать. Я понял, что со всем своим «я» попал в ловушку Нельзя мне было ехать в лагерь военной подготовки! Меня поймали в сети товарищества.

39

Днем не было времени думать. Днем не представлялось возможности быть отдельно существующим ««I». Днем товарищество было счастьем. Вне всякого сомнения, в таких «лагерях» процветало своего рода счастье — счастье товарищества. Это было счастьем — утром вместе со всеми бежать «по пересеченной местности», а после пробежки вместе со всеми стоять в душевой под сильными струями горячей и холодной воды; счастье — делиться со всеми посылками, которые ты получал из дома, и вместе со всеми делить ответственность за те или иные проступки; счастье — помогать друг другу в бесчисленных мелочах и доверять друг другу во всех делах армейского дня; счастье — затевать вместе со всеми веселые, мальчишеские потасовки — этакую гимназическую кучу-малу; ничем не отличаться друг от друга в широком, грубоватонежном потоке надежной мужской дружбы, мужской доверительности... Кто посмеет отрицать, что все это счастье? Кто посмеет отрицать,

что в человеческой душе живет настоятельная потребность, жажда этого счастья и что в нормальной, гражданской, мирной жизни этого счастья как раз и не сыскать?

Я, во всяком случае, не осмелюсь. Зато я совершенно точно знаю и утверждаю со всей возможной резкостью: это счастье, этот дух товарищества может стать одним из ужасающих средств расчеловечивания — ив руках нацистов как раз и стал таковым. Это — великая приманка, лакомая наживка нацизма. Алкоголем товарищества, который, конечно, нужен человеческому душевному организму в умеренных дозах, они споили немцев, довели до настоящей белой горячки. Они сделали немцев товарищами везде и во всем, с самого беззащитного, некритического возраста они приучали немцев к этому наркотику: в гитлерюгенде, в штурмовых отрядах, в рейхсвере, в тысячах спортивных лагерей и союзов из человека вытравлялось нечто совершенно незаменимое, то, что не может и не должно быть оплачено счастьем товарищества.

Товарищество неотделимо от войны. Подобно алкоголю, товарищество — одно из сильных утоляющих боль и печаль средств, к которым прибегают люди, вынужденные жить в нечеловеческих условиях. Товарищество делает невыносимое «выносимей». Оно помогает выстоять перед лицом смерти, грязи и горя. Оно опьяняет. Оно позволяет забыть потерю всех даров цивилизации, замещая все эти дары собой. Товарищество освящено жестокой нуждой и горькими жертвами. Но там, где оно отделено от жертв и нужды, там, где оно существует только во имя самоценного опьянения и удовольствия, там оно становится пороком, и ровным счетом ничего не меняет то, что оно на некоторое время делает счастливым. Оно портит и развращает человека так, как его не может испортить ни алкоголь, ни опиум. Оно лишает человека способности жить своей собственной, ответственной, цивилизованной жизнью. Оно, по существу, и есть мощное антицивилизационное средство. Всеобщее распутство товарищества, которым нацисты соблазнили немцев, унизило этот народ до самой последней степени.

Нельзя упускать из виду, что товарищество действует как яд на до ужаса важную сторону души человека. Еще раз: яды могут делать счастливыми;

душе и телу могут быть нужны яды; в какой-то ситуации яды незаменимы и полезны. Несмотря на все это, они остаются ядами.

Товарищество—чтобы начать с самого главного —полностью устраняет чувство личной ответственности, как в гражданском, так и в религиозном смысле, что значительно хуже. Человек, живущий в условиях товарищества, не знает заботы о своем

собственном, отдельном существовании, он исключен из суровой жизненной борьбы. У него есть койка в казарме, довольствие, униформа. Его день расписан по минутам. Ему не нужно ни о чем заботиться. Он не подчиняется жестокому закону «кюкдый за себя»; его закон великодушно-мягок—«все за одного». Веда это наглая ложь, что законы товарищества якобы суровее, чем законы индивидуальной, гражданской жизни. Законы товарищества как раз отличаются расслабляющей мягкостью, и они оправданы только в том случае, если речь идет о солдатах на реальной войне, о людях, обреченных погибнуть: лишь пафос смерти извиняет это чудовищное освобождение от индивидуальной ответственности. Кто не знает, как тяжело храбрым воинам, привыкшим к мягким подушкам товарищества, найти свое место в жестоких условиях гражданской жизни.

Однако гораздо хуже то, что товарищество снимает с человека ответственность за себя самого перед Богом и перед совестью. Человек делает то, что делают все. У него нет выбора. У него нет времени на размышления (разве что он, на свою беду, проснется ночью один-одинешенек). Его совесть— это его товарищи, она дает ему отпущение всех грехов, пока он делает то же, что все.

Потом друзья подняли чашу И оплакали печальные пути мира сего И его жестокий закон

И бросили мальчика вниз.

Плечом к плечу встали они у края пропасти, Они закрыли глаза и бросили парня вниз, Никто не виновней, чем другой,

А потом они бросали комья земли И плоские камни

Вниз.

Это написал немецкий коммунистический поэт Брехт, и он вложил в эти строки позитивный смысл. Здесь, как и во многом другом, у коммунистов те же взгляды, что и у нацистов[253].

Мы — худо-бедно референдарии, выпускники университетов, с хорошей интеллектуальной подготовкой, будущие судьи и, уж конечно, не слабаки без убеждений и характера — в течение нескольких недель в Ютербоге были превращены в низкосортную, немысляшую, беспечную массу, готовую спокойно выговаривать людоедские фразочки вроде тех, которые я уже приводил насчет уничтожения Парижа или касательно обвиняемых по делу о поджоге рейхстага; а эти фразочки, не вызвавшие возражений, характеризуют нравственный уровень как говорящих, так и слушающих:. И этого превращения нацисты достигли только с помощью «товарищества». Потому что товарищество предполагает фиксацию духовного, нравственного уровня товарищей на низшей, каждому доступной ступени. Товарищество не выносит

дискуссий: любая дискуссия в химическом растворе товарищества тотчас приобретает аромат й цвет отвратительного нытья или вонючей кляузы, в условиях товарищества любая дискуссия — смертный грех. На почве товарищества не вырастают мысли, но только массовые представления самого примитивного свойства — вот они-то совершенно неотделимы от товарищества; тот, кто пытается от них избавиться, тем самым ставит себя вне товарищества. Я ведь сразу узнал те представления, что абсолютно и безраздельно завладели нами в лагере военной подготовки! Конечно, это были не официальные нацистские концепции, и все же это были... нацистские концепции. Это были те самые представления, что господствовали среди нас, детей, в годы мировой войны, затем среди юнцов «Бегового союза Старая Пруссия» времен революции и среди молодых спортсменов времен Штреземана. Конечно, кое-какая специфика сугубо нацистского мировоззрения нам все же не привилась. К примеру, «мы» не были столь уж антисемитски настроены. С другой стороны, ««мы» не спешили дать отпор нацистскому антисемитизму. Мелочь, кто бы из ««гас» обратил на нее внимание? «Мы» были коллективным существом и, со свойственной всякому коллективному существу трусостью и лживостью, инстинктивно игнорировали либо преуменьшали значение всего, что могло за-

деть наше коллективное самодовольство... Третий рейх в миниатюре.

Было куда как заметно, насколько быстро разрушает товарищество все элементы индивидуальности и цивилизации. Важнейшая область индивидуальной жизни, никоим образом не встраивающаяся в товарищество, —любовь. У товарищества есть свое оружие против любви: похабщина. Каждый вечер в казарме после обхода дежурного офицера происходил своего рода ритуал: мы травили похабные анекдоты. Сие неотделимо от железной программы любого мужского товарищества. И нет ничего более ошибочного, чем мнение некоторых авторов, будто это — результат неудовлетворенной сексуальности, эрзац-удовлетворение и шут его знает, что там еще. Похабщина не возбуждала, вообще не имела ничего соблазнительного; ее цель: сделать любовь максимально неаппетитной, расположить ее поближе к испражнениям, сделать объектом насмешки. Мркчины, которые декламировали похабные стишки и гнусными словами описывали женское тело, тем самым отрицали то, что когда-то были нежно, самоотверженно влюблены, что видели красоту в женском теле и подыскивали для него прекрасные, нежные названия... Они свысока смотрели на все эти телячьи нежности

штатских слюнтяев.

Само собой понятно, что в жертву товариществу бестрепетно приносятся вежливость и хорошие манеры. Забудь о временах, когда ты, краснея от смущения, демонстрировал в гостиных плоды хорошего воспитания! Нормальное выражение неудовольствия — энергичное «Scheipe»[24], обычное дружелюбно-веселое обращение — «эй ты, засранец!», а любимая игра — ««жучок». Здесь никто не хотел быть взрослым, на место этой тяжкой обязанности совершенно естественно встало желание быть малы чишкой. По ночам мы, случалось, нападали на соседнюю казарму, швыряли в кровати беззаботно спящих соседей «водяные бомбочки». Начиналась битва с бодрыми выкриками «Вали! Лупи! Ага!», с визгом боли и воплями ликования; и плох был тот товарищ, кто не поучаствовал в побоище. Если приближался вечерний обход, все прекращалось в одно мгновение; пыхтя от возбуждения, мы забирались в свои постели. Мы лежали там смирно и старательно сопели, изображая глубокий сон. Разумеется, товарищество требовало, чтобы подвергшиеся нападению ничего не сообщали начальству, а лучше бы признали, что сами обмочились в постелях. На следующую ночь надо было ждать ответного нападения...

А отсюда рукой подать до некоторых кровавомрачных праобрядов товарищества, которые не замедлили явиться во всей своей красе. Провинившийся перед товарищами, и прежде всего тот, кто выказывал себя пижоном и выскочкой, много о себе «воображал», то есть, попросту говоря, был в большей мере индивидуальностью, чем допускалось товариществом, подвергался «суду Фемы». Сонного индивидуалиста притаскивали к водяному насосу и обливали водой — это было наказанием за мелкие грехи. Но если кто-то жульничал при раздаче порций масла, в те времена не маленьких, и в результате сжирал больше масла, чем полагается, — на него обрушивался страшный «суд Фемы1». Подготовка к тайной расправе обсуждалась втайне от провинившегося, ночью в казарме после вечернего обхода царило гнетущее напряжение перед экзекуцией. Даже похабные стишки, прочитанные по кругу в согласии с еженощным ритуалом, никого особенно не веселили. «Майер!—внезапно гремел ужасный голос. — Мы хотим поговорить с тобой!» Это провозглашал председатель тайного судилища. Однако прежде чем несчастный Майер смог бы хоть что-нибудь понять, тем более что до разговоров дело не доходило, его уже выщергивали из постели и растягивали на казарменном столе. «Каждый наносит по жопе Майера один удар, — гремел голос судьи, — никто не смеет уклониться от этой священной обязанности!» Я слышал

доносящиеся издали удары. Мне все же удалось уклониться от «стащенной обязанности». Я отговорился тем, что плохо переношу вид крови и потому готов постоять на стреме, но от участия в самой экзекуции прошу меня освободить. Избиваемый же влипал крепко. Донос и наказание, совершающиеся по жестоким тайным законам,—каждый из нас чувствовал, что они, подобно черной туче, нависли над его головой, —могли привести несчастного на грань жизни и смерти. Однако все это довольно быстро порастало быгльем, и побитый, выщрессированнъй Майер спустя несколько дней после экзекуции как ни в чем не бывало возвращался в круг своих товарищей, не чувствуя ни малейшего унижения своей чести и достоинства. Едкая щелочь товарищества весьма скоро разъедала законы чести и личного достоинства. ..

Как мы видим, оно и впрямь демонично, безмерно опасно, это многохвалимое, безобидное, прекрасное мужское товарищество. Нацисты знали, что делали, когда навязали его в качестве нормальной формы жизни целому народу. И немцы, обделенные талантом индивидуальной жизни и личного счастья, оказались ужасающе готовыми эту норму принять. Жадно, радостно они променяли нежные, ароматные, но выхсоко растущие плоды опасной свободы на падающие прямо в руки, роскошные, пышные, сочащиеся сластью ядовитые плоды товарищества, всеобщего, делающего людей подлецами и пошляками...

Говорят, будто немцы порабощены нацизмом. Это только половина правды. С немцами произошло нечто худшее, для этого еще не придумано слова. Они—отоварищены. Ужасающе опасное состояние. Они околдованы. Они живут в волшебном мире мечты и опьянения. В этом мире живется счастливо, но человек в нем обесценен. Немцы теперь крайне довольны собой и при этом невообразимо отвратительны. Так горды и так безмерно пошлы, так недо-человечны. Им кажется, что они живут на горных вершинах, меж тем они барахтаются в грязной, болотной жиже, и против этого не найдется средства до тех пор, пока на них лежит заклятие товарищества.

40

Однако у этого состояния, сколь бы опасно оно ни было, есть свое слабое место — как и у любого состояния, зиждущегося на обмане, допинге, галиматье. Оно бесследно улетучивается, лишь только исчезнут внешние условия его бытования. Тысячу раз было замечено на примере настоящего, если можно так сказать, легитимного, фронтового товарищества: люди, которые в окопах готовы были поделиться последней сигаретой и отдать жизнь за друга, чувствуют великую неловкость, растерянность и отчужденность, когда потом встречаются в мирной, гражданской

жизни, — однако фальшивым, ненастоящим является вовсе не их встреча в гражданском мире, вовсе не она. Что до нашего на скорую руку сфабрикованного по нацистскому рецепту ютербогского товарищества ad hoc[25], — оно сдулось как призрак при первых солнца лучах, всего за неделю между двумя «товарищескими вечеринками».

Одна из них была прощальной вечеринкой в Ютербоге. Коротко говоря, то была подлинная оргия товарищества. Там царило алкогольное чувство счастья, славы, вечности. Если бы все мы уже давно не были на «ты», в тот вечер наверняка пили бы брудершафт. Говорились самые разные речи, и комендант лагеря военной подготовки, штандартенфюрер SA, штурмовик, спокойно отнесшийся к замене своих людей офицерами рейхсвера, в своем тосте наконец-то открыл нам секрет нашего «мировоззренческого воспитании». ««Для этого, — объяснил он,—вовсе не нужны длинные речи, разъяснения и поучения. Надо только поместить вас, немецких юношей, в правильную обстановку, оторвать от изолгавшегося буржуазного мира, извлечь из-под застарелых плесневелых завалов, тогда-то и выяснится, что в основе своей вы — настоящие национал-социалисты. В этом-то и заключается тайна успеха национал-социализма! Он взывает к тем силам, что таятся в сокровенных глубинах немецкой природы. И даже тот из вас, кто еще не принял национал-социализм разумом, теперь уже принял его своей кровью. Разум всегда успеет его принять».

Самое ужасное было то, что в этой речи заключалась изрядная доля истины, надо было только правильно понять эту речь[254]. В самом деле, достаточно было поместить нас в определенные житейские условия, и тотчас же началась некая химическая реакция, разлагающая индивидуальность и делающая из нас беспомощно-восторженный, покорный любому внушению, для всего пригодный человеческий материал... В тот вечер эта химическая реакция достигла своего апогея. Братание всех со всеми было абсолютно безгранично. Каждый хвалил каждого, каждый пил за здоровье каждого. Лейтенант превозносил наши успехи в военной подготовке. Мы восхищались стратегическим гением лейтенанта. Унгер-офицер в обычной своей, шутейной, грубовато-фантастической манере поднял тост за нас и объявил, он-де и не подозревал, что из юристов и докторов наук могут получиться такие хорошие солдаты. Зиг хайль!

Кое-кто накропал юмористические стишата и прочел их при полном ликовании абсолютно пьяной и потому совершенно не критично настроенной аудитории. Потом на прощание мы еще раз спели про то, что мы черная шайка Флориана Гайе-ра, и с воплями «Хайа, хохо!» принялись бить пивные кружки и разносить в щепки столы и стулья. Мы походили на орду чрезвычайно довольных собой каннибалов на победном пиру Вслед за тем мы напали на соседнюю казарму, вооружившись «водяными бомбочками», и разгорелась битва, какой еще не бывало. Внезапно кому-то вконец 'пьяному пришла в голову светлая мысль подтащить под водяную помпу одного из участников торжества—не потому, что тот в чем-то провинился, а просто в виде символического человеческого жертвоприношения богу Товарищества. Поскольку избранный быть жертвой от этой чести отказался, многие изъявили готовность встать на его место, но упившийся в стельку жрец требовал только этой жертвы и никакой другой. Мы бросились уговаривать упрямца, дескать, он должен это сделать добровольно во имя товарищества; он просто не имеет права омрачать финал такого прекрасного вечера диссонансом несогласия. Какой-то морок, хотя и не очень страшный, так как все были пьяны и буйно веселились. «Хорошо, — сказал наконец приговоренный к помпе, — согласен, но вы мне облейте только голову, мне не очень хочется оказаться в совершенно промокшей одежде». Мы ему это пообещали. Но лишь только он подошел к помпе, как сразу же был засунут под водяную струю весь целиком. «Задницы!» — орал он, но ответом ему был гомерический хохот, и парню не оставалось ничего другого, как только примкнуть к этому хору Оргия первобытных недочеловеков.

На следующий день мы уехали в Берлин, на следующей неделе сдали экзамены. И внезапно все изменилось. Мы вновь надели гражданскую одежду, во время еды пользовались ножом и вилкой, ходили в ватерклозеты, говорили «Спасибо большое», а не «Scheipe», вежливо кланялись пожилым экзаменаторам, отвечая на их вопросы, говорили культурным, книжным языком и излагали свои познания по поводу таких забытых вещей, как ипотечное право или совместно нажитое супругами имущество. Кое-кто на экзаменах провалился, прочие экзамен выдержали. И тотчас же между сдавшими экзамен и несдавшими разверзлась пропасть.

Мы вновь встретились со своими старыми знакомыми. Можно было вновь вежливо говорить «Добрый день», а не орать «Хайль Гитлер». Можно было вновь вести разговоры, нормальные, человеческие разговоры. Вновь открылось, что ты, оказывается,

остался самим собой и можешь жить своей собственной жизнью. Если же кто-то спрашивал, как было в лагере военной подготовки, ответ, хоть и не без заминки, как правило, был такой: «А не так плохо...»— после чего следовал рассказ о том, как славно мы стреляли по мишеням и какие странные песни разучивали. Я вновь начал задумываться о Париже как о чем-то реальном. В лагере военной подготовки казалось, что Парижа и вовсе не существует. Но теперь морок исчезал... Так что я пошел в пивную на Курфюрстендамм на встречу с «однополчанами», о которой мы договорились на прощальном пиру в Ютербоге, с несколько стесненным, мучительным чувством. Однако ж пошел. Чары товарищества все еще не рассеялись окончательно.

А это был и впрямь мучительный вечер. Оргия в Ютербоге прогремела восемь дней тому назад. Собрались все, за исключением провалившихся на экзамене,—огорченные и обиженные, они не пришли праздновать неизвестно что. Однако могло показаться, будто все тут видят друг друга впервые в жизни. В гражданском мы выглядели совсем по-другому, некоторых я и вовсе не узнавал. Я обратил внимание, что у кого-то из моих ютербогских знакомых красивые, тонкие, симпатичные лица, а у кого-то отвратительные нечеловеческие хари. В лагере военной подготовки это не бросалось в глаза.

Беседа не клеилась. Об экзаменах говорить не хотелось (да и кто соберется разговаривать об экзаменах, когда они уже сданы); однако — вот странность! — не вспоминали и про развеселую нашу казарменную жизнь. Кто-то начал было весело, сердечно, по-товарищески намекать на некоторые казарменные происшествия, но натолкнулся на полное непонимание и столь же полное отсутствие оваций, после чего смущенно замолчал. Атмосфера сделалась похожей на ту, что была в первый день на вокзале в Ютербоге. Тяжелее всего оказалось то, что надо было «тыкать» друг другу С обращением на «вы» или «коллега» беседа, наверное, завязалась бы много легче.

Мы расспрашивали друг друга о планах на будущее и не слишком искренне пили за здоровье присутствующих. В пивной играл духовой оркестр — грохот и дудение заполняли то и дело возникавшие в разговорах паузы. Штурмовики очень быстро организовали свой кружок. Они обсуждали проблемы большой политики, ругали партию, «бумажную войну» и поднимали бокалы за своего группенфюрера Эрнста. В этом мы участия не принимали. Нас это не касалось.

Вся компания распалась на маленькие группки. Я сел рядом с парнем, с которым в Ютербоге по воскресеньям за пределами части очень мило беседовал о музыке. Выяснилось, что в

последнее воскресенье мы оба были на концерте Фуртвенглера[255]. Мы довольно резко его критиковали. «(О, послушайте-ка этих умников!» — выкрикнул один из «однополчан», в самом деле прислушавшийся к нам. Мы недоуменно поглядели на него и продолжали беседовать.

Но вечер все равно делался скучнее и скучнее. Уже около двенадцати мы стали украдкой поглядывать на часы. Потом компания развалилась окончательно: за соседним столиком приземлилась стайка сомнительных девиц, кое-кто из нас принялся флиртовать и перебрался к ним, а кто-то втащил одну из красоток в наш круг... «Становится скучно», — раздался чей-то громкий голос, и это было знаком, сигналом к окончанию вечера. Все стали расходиться. Я тоже ушел.

На улице кто-то предложил пойти еще в одну пивную. Ответом на его предложение быгло полное молчание. Что до меня, то я с облегчением увидел приближающийся автобус. «Автобус! Мой автобус! — закричал я. — До скорого!» — махнул всем рукой и скрылся.

Они так и остались стоять там, где стояли. С тех пор я никого из них не видел. Автобус быстро увозил меня прочь, и я чувствовал, до чего же мне зябко, стыдно и освобожденно.

КОММЕНТАРИИ

Усеченный Иогаиша Вольфгаета Гёте (1749

1832), записанный наг друагм и начальником, канцлером Веймарского анрцласева Фридрихом флн Мюллером (1779-789-) в книан воспоминаний «Goethes Unterhaltun-gen mit dem Kanzler Friedrich von Muller» («Беседы Гёте с канцлером Фридрихом флн Мюллером»). Эпиграф полемичен по отношению к нацистской, да и вообще любой националистической идеолоаии, для которой страна и народ — всё, а отдельный человек лишь настолько что-то, насколько он принадлежит к этой стране и народу. Хэфнер с помощью Гёте переворачивает ситуацию. Страна и народ — ничто, каждый из составляющих их людей — мноаое. Посему свою задачу он видит в том, чтобы рассказать не обо всей стране и не обо всем народе, а о себе. Поскольку он — мноаое. Однако полемичность эпиграфа заключена еще и в том, что он оборван. Всякий образованный немец с ходу опознавал всю цитату: «Ггрмания — ничто, но каждый отдельный немец мноаое, однако последние представляют себе ситуацию ровно наоборот. Рассеянным, словно евреи, по всему свету, немцам нужно стать немцами, чтобы развить в себе все то доброе, что в них заложено, на блаао всех наций мира». Полемичность усеченности эпиграфа состоит в подразумеваемом восприятии этого эпиграфа идеологическим противником: «Цитата усечена! Вырвана из

контекста! Не мог великий Гёте так сказать!» Пожалуйста, вот полная цитата, аде Гёте обращает внимание на то, что немцы ровно наоборот

понимают ситуацию, сравнивает немцев с евреями и советует своему народу развивать все хорошее, что в нем заложено. Мысль Хафнера о немецких националистах, губящих истинное призвание своей страны, тем самым выносится на первую страницу книги.

[2] Отрывок стихотворения немецкого поэта, издателя, переводчика Петера Гана (псевдоним Рихарда Мёринга, 1894-1974) из сборника «Windrose» («Роза ветров»), изданного Ганом в собственном берлинском издательстве «Atlantis» в 1935 году. В 1938 году Ган эмигрировал в Париж. В 1940-м был интернирован. Бежал из лагеря в Испанию. Был и там арестован, год провел в военной тюрьме. В 1946 году вернулся в Париж. Жил в Париже до 1958 года. В 1958-м переехал в Гамбург. Важнейшее в этом эпиграфе для Хафнера—поэтически точное описание ситуации интеллектуала в тоталитарном обществе, когда в конечном счете ты ни на кого не можешь рассчитывать, кроме как на себя. И этим измеряются и твои силы, и твое достоинство. Если бы Хафнер писал свою книгу в русле русской традиции, он наверняка выбрал бы эпиграф покороче: «Самосгоянье человека, залог величия его» (А. С. Пушкин).

[3] Сэр Эдуард Уильям Элгар, 1-й баронет Бродхит (18571934) — британский композитор. По словам Элгара, сквозь все четырнадцать вариаций на главную тему «Энигма», давшую название его загадочному симфоническому произведению (1898-1899), «проходит, но не звучит еще одна, более значительная тем:а». Обнаружить ее так никому и не удалось.

[4] Вильгельм II (Фрвдрих Вильгельм Виктор Альберт Прусский, 1859-1941) — германский император и король Пруссии с 1888 по 1918 год. Царствование Вильгельма было связано с превращением Германии в мощную промышленную и колониальную державу и завершилось Первой мировой войной и Ноябрьской революцией 1918 года. Во время революции Вильгельм II эмигрировал в Голландию, где и прожил всю оставшуюся жизнь. Республиканское, а позднее нацистское правительство выплачивало ему пенсию как бывшему государственному деятелю. Вильгельм проводил активную внешнюю политику и резко изменил социальную политику Германской империи. В этом и были корни его разногласий с канцлером Германской империи Отто фон Бисмарком. Вильгельм отменил исключительный закон против социалистов, ставивший вне закона крупнейшую рабочую партию Германии. При нем германские социал-демократы стали одной из самых сильных

фракций в рейхстаге. При нем мощно развивалось рабочее законодательство. Вильгельм заявлял: «Я хочу быть королем бедных». Это воспринималось Бисмарком как демагогия. Но главным образом Бисмарк был противником агрессивного, почти авантюристического внешнеполитического курса молодого императора. Более всего старый канцлер опасался войны, и прежде всего войны с Россией, к чему совершенно бестрепетно вел страну Вильгельм II. Все эти разногласия привели к тому, что в 1890 году канцлер Отто фон Бисмарк был отправлен в отставку.

5 Оттт фон Бисмарр (Отто Эдуард Леополль фон Бисмарр-Шёнхаузен, 1815-1898) — германский политический и военный деятель. Первый канцлер и фактически создатель Германской империи под главенством Пруссии. Под его руководством Пруссия победила в войнах с Данией (1864), Австрией (1866), Францией (1870-1871). Бисмарку удалось объединить все немецкие земли. Причем он оставался верным слугой прусского короля, благодаря ему ставшего германским императором, и никогда не помышлял о том, чтобы самому стать диктатором. Конфликт между Бисмарком и Вильгельмом II важен для Хафнера, поэтому он и пишет о нем.

Бисмарк для него — проводник консервативной прусской политики, тогда как Вильгельм — тот самый, от которого ведут начало нацистские интенции германской политики: социальная демагогия в соединении с авантюристической внешней политикой. Для парадоксалиста Хафнера важно то, что отставку Бисмарка он помещает в разряд неэпохальных исторческих событий, между тем от этого неэпохального события тянутся корни к событию эпохальному катастрофическому.

6 Паул фон Гинненбург (Людвиг Ганс Антон ББнкевдорф фон Иикденбург, 1847-1934) — немецкий военный и политический деятель. Командующий немецкими войсками на Восточном фронте во время Первой мировой войны (1914-1916), начальник генштаба (1916-1919). С его именем связаны блестящие победы немецкой армии на Восточном фронте под Иумбиненом и Тан-ненбергом. В 1914 году он остановил продвижение русских войск в Восточной Пруссии. В 1919 году быьл вызван в рейхстаг на заседание комиссии, выгяснявшей вину политиков и военныгх в развязывании войны и причины поражения. Иинденбург категорически отказался признать какую бы то ни бышо вину немецких правящих кругов в развязывании войны. Что же до поражения, то Иибвенбург утверждал, что немецкая армия весной 1918 года бытла, как никогда, близка к победе и только предательство немецкого общества явилось причиной поражения Германии. Речь Иинденбурга стала основой

для появившегося в Германии мифа об «ударе кинжалом в спину» («Dolchstop»). В 1925 году Иинденбург бытл выбран рейхспрезидентом. Люди, голосовавшие за него, рассчитывали на то, что консервативный, патриотический политик, прусский аристократ сможет противостоять как крайне правым экстремистам — нацистам, так и крайне левым — коммунистам, но в

1933 году Гинденбург назначил рейхсканцлером Гитлера, чем предопределил путь Германии в нацистскую диктатуру. С 1933 года Гинденбург стал фактически ширмой для захвата нацистами власти. После его смерти Гитлер отменил должность рейхспрезидента и остался единоличным диктатором. Хафнер рифмует ситуации. Незаметное для большинства событие — отставка Бисмарка приводит спустя много лет к катастрофическому событию: Гицденбург назначает Гитлера рейхсканцлером. Причем рифмовка сделана безукоризненно. В отставку отправляют верного прусского служаку, чтобы спустя много лет другой прусский верный служака привел к власти безответственного авантюриста.

[7] Померания — бывшая прусская провинция на побережье Балтийского моря. После Первой мировой войны большая часть Померании отошла Польше. Была вновь захвачена Германией в 1939 году. После Второй мировой войны — польская территория.

[8] Война началась из-за предъявленного Австрией Сербии ультиматума после убийства сербским националистом Гаврилой Принципом австрийского наследника престола Франца-Фердинанда в Сараево. В ответ на этот ультиматум Россия объявила всеобщую мобилизацию. Германия, связанная союзническими обязательствами с Австрией, объявила войну России. Франция, будучи союзником России, объявила войну Германии. Германия, нарушив нейтралитет Бельгии, через ее территорию вторглась во Францию. Союзница Франции Англия объявила войну Германии. Отец Хафнера (тогда еще Претцеля) считает Австрию формальной и фактической зачинщицей войны. К тому же, будучи пожилым человеком, он помнит австро-прусскую войну (1866) и воспринимает Австрию как вражескую страну, всеми силами в свое время противившуюся объединению Германии под главенством Пруссии. Хафнер в тексте

ведет довольно прихотливую игру. В данном случае «устами младенца глаголет истина». Хафнер, как и его отец, полагал, что союз Германии с Австро-Венцрией против Англии, Франции и России — судьбоносное и роковое нарушение традиционной прусско-немецкой внешнеполитической традиции и встраивается в тот же ход к катастрофе, что и отставка Бисмарка. Союз

Германии с Англией и Россией, по Хафнеру, не только уберег бы Европу от двух войн, но и инициировал бы постепенные либеральные реформы в двух феодальных монархиях, России и Германии. Однако эта «истина» имеет еще одну сторону, мрачно-ироническую. Гитлер — австриец. Уроженец Австрии, ставший германским националистом. Возглас семилетнего Раймунда Претцеля ««ˆоˆ<ˆ;й австрийцев!» находит отражение в поздних работах Хафнера, где он доказывает чуждость Гитлера прусской, германской традиции, его укорененность в иной культурно-политическую страте.

[9] Герман Вильгельм Геринг (1893-1946) — один из руководителей нацистской Германии и НСДАП. Министр без портфеля в первом правительстве, впоследствии министр авиации. Создатель и руководитель нацистской авиации. В годы Первой мировой войны летчик, удостоенный наградами за храбрость. Приговорен к смерти на Нюрнбергском процессе. Покончил с собой накануне казни.

[10] «П)чпки вместо масла» — популярный в 1935-1936 годах лозунг, выдвинутый нацистом «номер три» Рудольфом Гессом в своей речи 11 октября 1936 года. Этот тезис активно развивали в своих речах и другие лидеры третьего рейха. Так, Геринг летом 1936 года в своих выступлениях перед народом спрашивал:: «Что вы предпочтете — масло или пушки? <...> Пушки нас делают сильными, масло — всего лишь толстыми». Министр пропаганды Йозеф Геббельс 17 января 1936 года гово-

рил: «Мы можем обойтись без масла, но <.. .> не можем обойтись без оружия. Стреляет не масло — стреляют пушки». Фраза-символ милитаристской политики государственной власти, озабоченной подготовкой к агрессии, а не благосостоянием народа.

[11] СОт[ечен]не ™шераттра Виииьельма П прюизогшо 9 нояЯ-ря 1918 года. После подписания Брестского мира с Советской Россией императору и его генералам показалось, что самые тяжелые испытания остались позади. Однако они только начинались. Ленин переиграл германский генштаб. Деньги, полученные им от главнокомандующего германской армией Эриха Людендорфа после тайных переговоров, организованных с помощью финансиста и социал-демократа Парвуса, пошли на организацию революции в Германии. И телеграмме Людендорфа Вильгельму II осенью 1918 года говорилось о резком падении дисциплины в частях, особенно тех, что были переведены с Восточного фронта. Провал наступления на Западе это подтвердил. Начало революции в Германии положило восстание моряков в Киле, отказавшихся выйти в море. Следом поднялись

рабочие и солдаты гарнизонных частей Мюнхена и Берлина. Ноябрьское восстание в Берлине и других городах Германии застало императора врасплох во время пребывания в штабе Императорской армии в Спа, в Бельгии. Переход флота на сторону повстанцев глубоко потряс Вильгельма. После начала Ноябрьской революции император не мог понять, стоит ли ему отречься от престола. На тот момент он был убежден, что даже если он оставит императорскую корону, то сумеет сохранить титул короля Пруссии. Нереальность этой идеи была подтверждена, когда ради сохранения хоть какой-нибудь власти в условиях полной анархии канцлер принц Максимилиан Баденский 9 ноября внезапно объявил об отречении Вильгельма от обоих nюесто-лов. Но спустя несколько часов принц сам был вынужден уйти в отставку, когда осознал, что реальный контроль над ситуацией может осуществлять только лидер немецких социал-демократов Фридрих Эберт. Вильгельм согласился на отречение только после того, как генерал Людендорф был смещен со своего поста. Его место занял Вильгельм Гренер, который информировал императора о том, что солдаты могли бы вернуться под контроль властей только под командованием Пауля фон Гинденбурга, но они будут определенно против того, чтобы вернуть Вильгельму трон. Монархия лишилась своей последней и самой надежной поддержки. И даже такой убежденный монархист, как Гинденбург, был вынужден советовать императору отказаться от короны. На следующий день бывший император пересек границу Нидерландов, где нашел себе приют в изгнании. После разработки и утверждения текста Версальского договора в начале 1919 года статья 227 прямо предусматривала выдачу Вильгельма II как главного военного преступника для осуждения его в нарушении мира и покоя в Европе. Но королева Вильгель-мина отказалась выполнить требования союзников о выдаче бывшего немецкого императора. Сначала Вильгельм поселился в замке Амеронген (провинция Утрехт), затем 16 августа 1919 года приобрел небольшой замок рядом с Дорном. Именно этот замок и станет последним приютом Вильгельма. В этом доме Вильгельм освободил своих офицеров от обязанности исполнять данную ему когда-то присягу Однако сам он никогда не отказывался от своего титула и все еще надеялся вернуться в Германию. Правительство Веймарской республики позволило экс-императору вывезти в Нидерланды двадцать три вагона мебели, а также двадцать семь различных контейнеров с вещами, в том числе автомобиль и лодку из Нового дворца в Потсдаме.

[12] Королевские конюшни (Konigliche Marstall) — комплекс

дворцовых зданий, расположенных в Берлине неподалеку от дворца и рейхстага. В ходе ноябрьских боев был захвачен ударной силой революции — народной морской дивизией (Volksmauinedivision), подчиняющейся Совету рабочих и солдатских депутатов и коммунистическому союзу «Спартак», стремившимся к установлению в Германии советского строя. Моряки оттеснили от здания вооруженные части, подчинявшиеся умеренным социал-демократам, сторонникам парламентской республики и постепенных социально-экономических реформ. Социал-демократам удалось отвоевать Королевские Конюшни только в январе 1919 года.

[13] Гитлер встретил конец войны в госпитале небольшого городка Пасевалк в Померании.

2 Густав Носке (1868-1946) — немецкий социал-демократ. По профессии корзинщик. Депутат рейхстага. Участник Ноябрьской революции. Министр обороны немецкой республики. Смог привлечь на сторону умеренных социал-демократов монархически и националистически настроенных военных, объединившихся в так называемый фрайкор (Freikorps, добровольческие корпуса). С их помощью жестоко подавил коммунистическое восстание в январе 1919 года. Среди убитых без суда и следствия были и руководители союза «Спартак» Карл Либкнехт и Роза Люксембург. В своей речи в рейхстаге Густав Носке произнес ставшими крылатыми слова: «Кому-то нужно быть кровавой собакой. Я готов ей быть. Я не боюсь ответственности». В 1920 году Носке сделал попытку распустить фрайкор, результатом чего стал провалившийся путч генерала Каппа и отставка Носке. Во время нацизма Носке жил в Германии. Был арестован в 1944 году и отправлен в концлагерь Флос-сенбург. В 1945 году переведен в берлинскую тюрьму гестапо. Освобожден советскими войсками.

[15] Фрайкор — наименование целого ряда полувоенных националистических формирований, существовавших в Германии и Австрии на последнем этапе Наполеоновских войн. Одним из самых известных добровольческих корпусов времен Наполеоновских войн был Фрайкор Лютцова под руководством Адольфа фон Лютцова. Такие полки состояли из местных добровольцев, дезертиров противника и преступников. Во время Ноябрьской революции возникло несколько добровольческих организаций под названием «фрайкор»; многие из них позднее примкнули к нацистскому движению. В начале 1919 года отряды фрайкора под руководством военного министра Веймарской республики социал-демократа Густава Носке подавили выступления немецких коммунистов и крайне левых социал-

демократов. Отряды фрайкора участвовали в разгроме Баварской советской республики и подавлении трех восстаний польских инсургентов в Силезии (1919-1921). Балтийский фрайкор, состоявший из местных остзейских немцев и добровольцев из Германии, сражался в 1918-1919 годах за создание немецкого государства на территории Прибалтики под названием Балтийское герцогство. После роспуска фрайкора многие бывшие добровольцы стали активными участниками Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП).

[16] Карл Либкнехт (1871-1919) — германский социал-демократ. Сын одного из основателей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Вильгельма Либкнехта. Известный адвокат. Депутат рейхстага. Последовательный противник милитаризма. 2 декабря 1914 года в самый разгар войны Либкнехт один в социал-демократической фракции голосовал против военных кредитов. Во время демонстрации 1 мая 1916 года призвал к свержению правительства. Заключен в тюрьму на четыре года. Освобожден Ноябрьской революцией.

Один из создателей «Союза Спартака», из которого впоследствии образовалась Коммунистическая партия Германии. Организатор январского коммунистического восстания в Берлине в 1919 году. Убит при аресте вместе с Розой Люксембург.

[17] Роза Люксембург (1871-1919) — польский, немецкий социал-демократ. Один из основателей Социал-демократической партии Польши. После эмиграции в Германию — крайне левый немецкий социал-демократ. Участница Ноябрьской революции. В серии статей, посвященных Брестскому миру и разгону Учредительного собрания, резко отрицательно оценила как первое, так и второе. «Свобода — это всегда свобода для инакомыслящих», — ее афоризм. Арестована вместе с Либкнехтом офицерами фрайкора. Забита насмерть прикладами. Тело было сброшено в берлинский Ландс-верканал.

[18] «Союз Спартака» («Spartakusbund») — марксистская организация в Германии начала XX века. Во время Первой мировой войны лидеры «Спартака» призывали к мировой пролетарской революции, которая свергнет мировой капитализм, империализм и милитаризм. С августа 1914 года «Союз Спартака» входил в СДПГ как оппозиционная группа «Интернационал», образованная по инициативе Розы Люксембург после того, как вся социал-демократическая фракция (за исключением Карла Либкнехта) проголосовала в рейхстаге за военные кредиты. С1917 года «Спартак»—левое крыло отделившейся от СДПГ Независимой социал-демократической партии Германии. Ноябрьскую революцию 1918 года спартакисты встретили вне

какой-либо партии и, выдвинув лозунг «Вся власть Советам!!», добивались установления в Германии советской республики. 1 января 1919 года «Союз Спартака» вошел в Коммунистическую партию Германии.

[19] Фридрих Эберт (1871-1925) — немецкий социал-демократ. По профессии портной. Руководитель СДПГ, депутат рейхстага. Убеэаденный сторонник конституционной монархии и ведения войны до победного конца. До последнего мгновения в ноябре 1918-го пытался сделать все, чтобы сохранить монархию. Один из разработчиков конституции Германской республики (Веймарской республики). Ее первый рейхсканцлер и первый демократически выбранный президент Германии. Подавил как коммунистические, так и крайне правые выступления. Годы его правления пришлись на годы тяжелейшего экономического кризиса, что всерьез подорвало авторитет и влияние социал-демократов. Умер в 1925 году от аппендицита. Его сын, Фридрих Эберт-младший, стал коммунистом и одним из создателей ГДР.

20 Филипп Генрих Шейдеман (1865-1939) — немецкий социал-демократ. По профессии печатник. Депутат рейхстага. Участник Ноябрьской революции. 9 ноября 1918 года он из окна рейхстага провозгласил падение монархии: «Все Старое и Ветхое — Монархия — пало. Да здравствует Новое, да здравствует немецкая Республика!» Сторонник курса Эберта и Носке. Обер-бургомистр Касселя. Во времена нацистской диктатуры эмигрировал. Умер в 1939 году в Копенгагене.

21 Эмиль Эйхгорн (1863-1925) — немецкий социал-демократ, с 1919 года—коммунист. По профессии электромонтер Активный участник подпольного социалистического движения в годы бисмарковского «исключительного закона» против социалистов. Журналист. Депутат рейхстага. В 1908-1917 годах возглавлял социал-демократическое пресс-бюро. 9 ноября 1918 года назначен полицай-президентом Берлина. С ноября по август 1918 года руководитель берлинского представительства советского телеграфного агентства РОСТА в Берлине. Отстра-

нение Эйхгорна от должности полицай-президента

4 января 1919 вызвало протест берлинских рабочих, вылившийся в январские бои 1919-го. Был депутатом Веймарского учредительного собрания (1919), неоднократно избирался в рейхстаг. Поскольку приказ об аресте Эйхгорна 1919 года никто не отменял, то во времена очередных выборов в рейхстаг, когда кончался срок его депутатской неприкосновенности, Эйхгорн уходил в подполье.

[22] В ночь с 23 на 24 декабря 1918 года правительственные войска сделали попытку вытеснить народную морскую дивизию

из Королевских конюшен. Матросы и вооруженные рабочие отбили это нападение. Полицай-президент Берлина Эйхгорн был обвинен в попустительстве экстремистским элементам и отправлен в отставку В ответ поднялось рабочее спартаковское восстание, подавленное фрайкором под руководством Носке.

2[3] 3 марта 1919 года Берлинский совет рабочих и солдатских депутатов принял решение о всеобщей забастовке. Были выдвинуты требования: признание власти Советов, уже образованных в нескольких городах Германии, освобождение всех политических заключенных, роспуск фрайкора, арест офицеров, убийц Розы Люксембург и Карла Либкнехта, установление дипотношений с Советской Россией. В тот же день Густав Носке ввел в Берлине военное положение. Начались уличные бои.

5 марта Берлин был перекрыт баррикадами. К10 марта восстание было подавлено. Во время мартовских боев в Берлине погибло более 1200 рабочих.

24 7 апреля 1919 года в Баварии была провозглашена Советская республика. Во главе ее был поэт, писатель и драматург Эрнст Толлер. 13 апреля 1919 года правительство Эрнста Толлера было арестовано сторонниками Эберта и Шейдемана. В ответ началось коммунистическое восстание. Во главе его стоял бывший эсер Евгений Левине, в те времена баварский коммунист. Советская власть в Баварии была восстановлена. Был введен рабочий контроль на предприятиях, начата национализация банков, конфискованы запасы продовольствия для распределения среди беднейших слоев населения, созданы Чрезвычайная комиссия для борьбы с контрреволюцией, Красная армия и Красная гвардия. Носке двинул к Мюнхену шестидесятитысячную армию. 5 мая Мюнхен был взят. Евгений Левине был расстрелян по приговору военно-полевого суда. Слова из его последнего слова на суде стали широко известны: «Все мы, коммунисты, в отпуске у смерти. Мой отпуск кончается, я готов отправиться к Розе Люксембург и Карлу Либкнехту».

[25] История с народдой морссой ддвизией бьыа кууа з а-путаннее, чем та, что отложилась в памяти у Хафнера. Созданная 11 ноября 1918 года дивизия революционных матросов, арнимраа с начала революции Королевские конюшни:. Как и в русской революции 1917 года, немецкие матросы составляли весьма своеобразный революционный авангард. Они ощущали себя самостоятельной силой. Выбирали, к кому примкнуть, кого поддержать, когда держать нейтралитет. В декабре 1918 года дивизии было предписано покинуть Королевские конюшни. Моряки отказались выполнить этот приказ. Результатом были

рождественские бои в центре Берлина. Моряки отстояли свои казармы и были включены в состав праиятйаьствйаных войск. Во время январских боев в Берлине, когда было подавлено восстание под руководством «Союза Спартака», народная морская дивизия держала нейтираят[1]ет. 5 марта 1919 года дивизия была направлена к полицай-президиуму с тем, чтобы заменить находящиеся там прриятеаьстиенные войска. Правительственные войска, приняв матросов за штурмующих здание повстанцев, открыла по ним

огонь. Дивизия примкнула к восставшим. Была ликвидирована в ходе мартовских боев войсками Густава Носке.

26 Имеется в виду «Ночь длинных ножей»—уничтожение частями SS и вермахта руководства штурмовых отрядов и части штурмовиков в ночь с 1 на 2 июля 1934 года, санкционированное Гитлером. Штурмовые отряды, военизированные части нацистской партии, зараженные социальной и национальной демагогией, привыкшие к абсолютной безнаказанности, к тому же преданные своему вождю Эрнсту Рёму, представляли опасность для личной власти Гитлера. По таковой причине они и были уничтожены превентивным ударом. Под шумок расправы с экстремистами (своими) гитлеровцами были уничтожены многие политики и общественные деятели Веймарской республики, никакого отношения к штурмовикам не имевшие.

27 Гитлерюгенд — молодежная нацистская организация. Создана в 1926 году. Принимались только юноши с 14 до 18 лет. Гитлерюгенд внес весомый вклад в эскалацию насилия на улицах немецких городов. Организация нападений на кинотеатры, где демонстрировался американский фильм по антивоенному роману Ремарка «На Западном фронте без перемен», привела к тому, что кинотеатры прекратили показ этого фильма. С гит-лерюгендом пытались бороться запретительными мерами. В 1930 году Густав Носке, тогда бургомистр Ганновера, запретил школьникам вступать в гитлерюгенд. Вступали те, кто не учился в школе. Во время съездов нацистской партии проводился День гитлерюгенда. Организация запрещена после 1945 года.

28 Лихгенберг с 1230 по 1908 год — пригородная деревня недалеко от Берлина, с 1908 года — город. В 1920 году Лихтенберг был включен в черту города Берлина. О расстрелах в Лихтенберге в 1919 году не пишет даже сам

Хафнер в своем позднем труде «Ноябрьская революция». Возможно, это был, как принято теперь говорить, «фейк».

29 Каппооскй путч 13-11 марта 1920 годд — попыка националистического переворота в Германии. Вольфганг Капп (1858-3200), банкир и политик из Восточной Пруссии, был

номинальным лидером мятежа. Фактическими руководителями были генерал Вальтер фон Люттвиц и фельдмаршал Эрих Людендорф. Историю мятежа Хафнер излагает достаточно точно.

20 Эрих Фридрих Вильгельм Людендорф (1865-3237) — немецкий военный и политический деятель. Создатель концепции «тотальной войны», которую он изложил в своей последней одноименной книге. Концепция представляет собой антитезис к известному тезису прусского короля и полководца Фридриха II: должна вестись так, чтобы гражданское население воюющих стран не знало, что идет война». Согласно Людендорфу гражданское население не только прекрасно знает о том, что идет война, но всё, от мала до велика, в войне участвует. В полном соответствии с этой концепцией Людендорф действовал во время Первой мировой войны. Поддерживал экстремистов в странах, противостоявших Германии. Он был одним из тех в германских политических и военных кругах, кто настаивал на активной поддержке Ирландского восстания 3236 года. Он был одним из тех, кто добился согласия на пропуск через Германию пломбированного вагона, в котором ехали Ленин и другие социалисты-пораженцы. Он был одним из тех, кто добился безжалостной подводной войны, в результате которой топились вообще все суда, идущие в Англию и Францию, что послужило весомым доводом для США вступить в войну на европейском континенте. Людендорф родился в деревне Крушевня недалеко от Познани. Велико-

лепно учился в кадетском корпусе. В восемнадцать лет получил первое офицерское звание. В 1904—1913 годах работал в германском генштабе. Был одним из активных разработчиков плана Шлиффена, плана вторжения во Францию через нейтральную Бельгию. В августе 1914 года руководил удачным штурмом Льежа. В связи с наступлением русских войск в Восточной Пруссии был переведен на Восточный фронт. Вместе с Паулем фон Гинденбургом разбил русские войска под Танненбергом. В 1918 году Людендорф—главнокомандующий германской армией. Им был разработан план весеннего наступления на Западном фронте после того, как был подписан Брестский мир с Россией и русская армия вышла из войны. Весеннее наступление закончилось катастрофой для германской армии. Людендорф подал в отставку 26 октября 1918 года. Эмигрировал в Швецию. В Швеции Людендорф издал несколько книг, в которых обвинял в поражении Германии социал-демократов, евреев и масонов. Он был одним из пропагандистов теории «удара кинжалом в спину». В 1920 году вернулся в Германию. Первой его попыткой возвратиться в политику был

провалившийся Капповский путч. Затем была встреча с Гитлером, дружба и поддержка «гениального политика», организация «Пивного путча» 1923 года в Мюнхене. После провала путча Людендорф разочаровался в Гитлере и отошел от политики.

[31] Ббиггдд ЭЭраррд, ттчнее, морссая брш'гдд Ээраррд — одно из белых, монархических, националистических военных добровольческих соединений Германии времен Ноябрьской революции. Создана 17 февраля 1919 годя немецким морским офицером Германом Эрхярдом (1881-1971). Состав — офицеры, сначала флота, потом всех родов войск. Сам Эрхард получил боевое крещение в 1904 году, когда участвовал в жестоком подавлении восстания племени гереро в Западной Африке. Во

время первой мировой командовал отрядом торпедных катеров. Его бригада принимала участие в разгроме Баварской советской республики, в подавлении восстания поляков в верхней Силезии. После образования независимых прибалтийских государств в бригаду Эрхарда влились части добровольческих немецких военных соединений, воевавших в Прибалтике за создание немецкого Балтийского герцогства. После неудачи Капповского путча бригада Эрхарда была распущена. 30 марта 1919 года Эрхард принял ее последний парад. После чего отправился в Мюнхен, где создал террористическую организацию «Консул», занимавшуюся убийствами левых политиков и общественных деятелей. В конце 1922 года Эрхард был арестован. Бежал. В 1923 году все же попал в тюрьму. Из тюрьмы руководил созданием второй своей террористической организацией «Викинг». В июле 1923 бежал в Швейцарию. В сентябре вернулся в Мюнхен. Не только не поддержал «Пивной путч», но отдал приказ своим «викингам» выступить на стороне правительства. В апреле 1924 года бежал в Австрию. Вернулся после амнистии в 1926 году. Был близок к штурмовикам Эрнста Рёма, а также к идеологу левого национал-социализма Отто Штрассеру (1897-1974). В «Ночь длинных ножей» должен был быть убит, но вовремя скрылся. С 1936 года жил в Австрии, в имении своей жены, принцессы Маргариты Виктории цу Гогенлоэ-Оринген. Австрийское гражданство получил в 1948 году.

[32] Речь иддт о Рурссом восстании 13 марта —12 агфелл 1920 года. 13 марта в Руре прошли многотысячные рабочие демонстрации. Завершились они призывом социал-демократов и коммунистов к установлению диктатуры пролетариата. В некоторых городах Рурской области были захвачены адмииистраадвиые здания и образованы Советы рабочих и солдатских депутатов.

Была создана Рурская Красная армия, состоявшая в основном

из фронтовиков. 15 марта начались первые столкновения с правительственными войсками и фрайкором. 17 марта Красной армией Рура был взят Дортмунд. 20 марта 1920 года советская власть была установлена в Эссене. 24 марта 1920 года начался штурм цитадели Бесселя. Правительство пыталось вести переговоры с рабочими в Билефельде, но переговоры были сорваны генералами рейхсвера и командирами добровольческих частей. 30 марта Рурская Красная армия вошла в Дюссельдорф и Эльберфельд. В эти же дни в Рурскую область стали стягиваться регулярные войска и фрайкор. 1 апреля Красная армия была разгромлена в сражении под Пелкумом. 6 апреля правительственные войска вошли в Дортмунд. Последовали массовые расстрелы рабочих. Расстреливали без суда. 12 апреля Рурское восстание было подавлено.

[33] Бисмарк-бунд (Bismarckbund) — молодежная организация крайне правой Немецкой национальной народной партии (ННПП), позднее влившейся в нацистскую партию, руководитель ННПП Вильгельм Кубе стал довольно крупным чином в НСДАП, последняя должность — гауляйтер Белоруссии. Убит белорусскими партизанами в 1943 году в Минске. Любопытно, что членом Бисмарк-бунда в 1922 году стал тогдашний одноклассник Себастьяна Хафнера, Хорст Вессель (1907-1930), будущий штурмовик, убитый в стычке с ротфронтов-цами, автор «Песни Хорста Весселя», написанной на мотив старого военно-морского марша, которая стала гимном НСДАП. В 1924 году Хорст Вессель стал еще и членом созданной Эрхардом террористической организации «Викинг».

зз На касках у добровольцев бригады Эрхарда действительно была свастика. Так что малюющий на уроках свастику отрок, возможно, и есть Хорст Вессель.

[35] Вальтер Ратенау (1867-1922) — немецкий политик, промышленник, экономист, инженер, философ, меценат. Сын Эмиля Ратенау, одного из пионеров электротехнической промышленности, создателя концерна AEG. После смерти отца Ратенау стал владельцем и руководителем компании. Любопытно, что в русском отделении фирмы в Баку работал инженером большевик Леонид Красин, ставший позднее советским дипломатом. С Красиным Ратенау в 1922 году встретился в Рапалло во время подписания Раппальского договора. Ратенау был принципиальным противником войны. Он полагал, что именно для Германии европейская война будет убийственной. Тем не менее 12 августа 1914 года он возглавил специальный департамент Военного министерства и смог приспособить экономику Германии к затяжной войне. Во время Ноябрьской

революции— создатель и руководитель немногочисленной Немецкой демократической партии. Был назначен министром реконструкции народного хозяйства, потом министром иностранных дел. От последнего поста его отговаривала мать и друзья, в том числе Альберт Эйнштейн, Мартин Бубер и Стефан Цвейг. Став министром иностранных дел, Ратенау принципиально отказался от телохранителей. Особую ненависть у крайне правых вызывало то обстоятельство, что Ратенау был евреем. Правда, Ратенау настаивал на необходимости ассимиляции для евреев, о чем писал в своей статье 1897 года «(Слушай, Израиль!». Крайне правых антисемитов это не останавливало, а только подзуживало. Ратенау был убит членами созданной Эрхардом организации «Консул»,

36 Густав Штреземан (1878-1929) — немецкий политик и дипломат. Лауреат Нобелевской премии мира (1926, вместе с французским министром иностранных дел Аристидом Брианом). Сын владельца небольшой пивной на Кёпеникской улице в Берлине. В 1901 году окон-

чил Лейпцигский университет. Диссертация была написана на тему «Торговля бутылочным пивом в Берлине». В 1923 году Штреземан — рейхсканцлер. С 1924 по 1929 год — министр иностранных дел. Добивался прекращения дипломатической изоляции Германии и смягчения условий Версальской мирного договора. Благодаря его деятельности быгли заключены Локарнские соглашения 1925 года, принят план Дауэса (американский план экономической помощи Германии), а Германия быша принята в Лигу Наций (1926). Умер от инсульта в 1929 году.

37 Генрих Брюнинг (1880-1970) — немецкий политик и дипломат. Рейхсканцлер Германии в 1930-1932 годах. Консервативный католик. Глава католической Партии Центра. Глава католических профсоюзов. Во время Первой мировой, несмотря на сильную близорукость, пошел добровольцем на фронт. Быш награжден за храбрость железным крестом. Окончил войну в чине лейтенанта. Пользовался таким уважением у солдат, что быш избран ими в солдатский Совет. В быгтность свою рейхсканцлером отказался от служебной машины и охраны. Ездил только на общественном транспорте. Назначен рейхсканцлером президентом Гтнденбургом в самый разгар всемирного экономического кризиса. Добивался отмены репарационных платежей. Пытался ввести жесткие дефляционные меры. Законодательно запретил штурмовые отряды (SA). Быш отправлен в отставку Гин-денбургом в 1932 году. Брюнинга сменил Папен, последний рейхсканцлер Германии до Гитлера. В

«Ночь длинных ножей» Брюнинг должен быш быгть убит. Предупрежденный заранее, бежал. Жил в Великобритании, Швейцарии, потом в США.

38 Луи Альберт Жозеф Лушер (1872—1931) — французский промышленник, инженер и политик. Родился в семье французских протестантов. Его отец быш архитекто-

ром. Окончил Политехнический институт. Первым во Франции стал применять в строительстве железобетон. По его проекту был построен Северный вокзал в Париже. Лушер много работал в оборонной промышленности Франции. В сентябре 1917 года он стал министром вооружений. В 1918 году — министром восстановления промышленности. Был экономическим советником Клемансо на Парижской мирной конференции в 1919 году. Результатом этой конференции был Версальский мир. 12 и 13 июня 1921 года он встретился в Висбадене с Вальтером Ратенау для тайных переговоров по поводу германских репараций. 6 октября 1921 года было подписано Висбаденское соглашение о немецких товарных поставках, которые частично могли быть отнесены к репарациям. При этом речь шла о том, чтобы превратить репарационный долг в долг коммерческий: вместо выплат золотой марки должны были идти товарные поставки, поскольку чистый платеж в связи с усиливающимся финансовым кризисом становился все тяжелее. Висбаденское соглашение было отклонено как французской, так и немецкой сторонами.

39 Речь иддт о Ррлпальском ддгооврс, поддисанном представителями и Советской России в итальян

ском городке Раппало 16 апреля 1922 года во время Генуэзской мирной конференции. Это был первый международный договор молодой Веймарской республики и молодой Советской республики. Две страны отказались от обсуждения репарационных выплат. Говоря по-простому, согласились на том, что никто никому не должен. Самым важным аспектом Раппальских соглашений был военный. После подписания этого договора началось активное сотрудничество рейхсвера и Красной армии, обучение советских военспецов в Германии, немецких—в России, обмен военными технологиями, взаимопомощь в разработке новых видов вооружений, в том числе танкового и авиационного.

40 Геордтий Васильевич Чичерин (1872-1936) — русский революционер, дипломат, музыковед. Родился в дворянской русско-немецкой семье. Отец из рода Чичериных. Мать из рода Мейендорфов, русских дипломатов немецкого происхождения. Чичерин — член РСДРП с 1905 года. До 1918 года был

меньшевиком. В РКП(б) вступил в 1918-м. Был сначала заместителем наркома иностранных дел Льва Троцкого. После того как Троцкий стал наркомвоенмором, занял его пост. Германофил и принципиальный противник Великобритании. Сторонник сближения со странами, как сейчас сказали бы, «третьего мира». В 1930-м ушел на пенсию, его сменил на посту наркоминдела М. М. Литвинов, проанглийски и проамерикански настроенный дипломат. Чичерин—автор монографии о Моцарте. Один из первых пропагандистов в России творчества Рихарда Вагнера и Фридриха Ницше. Большая дружба связывала его с поэтом и писателем М. А. Кузминым.

41 Для немецких националистов любые договоры с большевиками-интернационалистами были «еврейским предательством».

42 Историю покушения на Ратенау Хафнер излагает несколько неточно. В Ратенау стреляли не из револьверов. Били очередями из только что появившихся автоматических пистолетов, прообразов нынешних автоматов. После чего один из покушавшихся бросил ручную гранату За рулем машины убийц сидел двадцатилетний студент технического вуза Эрнст Теодор Техов. Стреляли двадцатитрехлетний студент-юрист Эрвин Керн и двадцатишестилетний инженер Герман Фишер. Первыми полицейские взяли Керна и Фишера спустя неделю после покушения. Керн был застрелен. Фишер застрелился. Техов был арестован позже них. Мать Ратенау обратилась с письмом к суду, в котором просила не казнить Техова, чтобы не омрачать еще одним убийством историю Германии. Техов был приговорен к пятнадцати годам. Выпущен по амнистии в 1928 году. Вступил в нацистскую партию. Исключен в 1931 году за оскорбление («Труссшвое, лживое брехло») и побои, нанесенные своему партначалыппу, гауляйтеру Йозефу Геббельсу. Во время Второй мировой войны был на фронте. После тяжелого ранения списан вчистую. В 1945-м пошел в фольксштурм. Погиб 9 мая 1945 года во время последних боев в предместьях Дрездена.

43 Раймон Пуанкаре (1860-1934) — французский политик. Брат знаменитого математика Анри Пуанкаре. В 19121913 годах —премьер-министр Франции. Непримиримый враг Германии. Считал войну с ней неизбежной и делал все, чтобы подготовить Францию к грядущему столкновению. В январе 1913 года Раймон Пуанкаре был избран президентом. Широко известны стали слова его брата по поводу этого избрания: «Мой брат—это война». С той поры к Раймону Пуанкаре прикрепилось прозвище Пуанкаре-война. В 1920 году президентом Франции стал такой же враг

Германии, Жорж Клемансо. В 1922 году Раймон Пуанкаре стал премьер-министром и министром иностранных дел. В ответ на нерегулярные выплаты Германией репарационных платежей Пуанкаре оккупировал промышленную Рурскую область.

44 В1922 году союзники в связи с ухудшившимся экономическим положением Веймарской республики отказались от репараций в денежной форме, заменив их натуральными выплатами: уголь, кокс, сталь, древесина. 26 сентября 1922 года союзническая комиссия зафиксировала факт отставания Германии по репарационным поставкам. 9 января 1923 года этой же комиссией было сделано заявление об умышленной задержке репарационных поставок. С 11 по 16 января 1923 года на территорию Рурской области вошли французские и бельгийские войска. Сначала их численность была 60 000 человек, потом 100 000. Правительство Германии в ответ призвало к «пассивному сопротивлению», то есть к всеобщей забастовке на территории Рурской области и к отказу от выплаты репарационных платежей. Правительство взяло на себя обязательство по дополнительному выпуску денег для оплаты бастующим рабочим Рура, что привело к мощной инфляции. На путь активного сопротивления оккупантам встали бывшие члены фрайкора и коммунисты. Ими организовывались акты саботажа и нападения на оккупационные войска. ^^ым известным участником сопротивления французским оккупантам был участник Первой мировой, бывший член фрайкора Альберт Лео Шлагетер (1894-1923), в подпольную группу которого входили и коммунисты. Его группа организовала несколько крушений железнодорожных составов. Шлагетер был арестован и расстрелян. Ему посвящена пьеса нацистского драматурга Гшнса Йоста (1890-1978), в которой Шлагетер произносит слова, очень полюбившиеся Геббельсу: «Когда я слышу слово „культура", я хватаюсь за револьвер». Таких слов Шлагетер не произносил. На суде он сказал гораздо лучше: «Будь кем хочешь, но имей мужество быть тем, кем ты хочешь быть, до конца». Шлагетер стал героем нацистской пропаганды. В какой-то момент он чуть было не стал героем и коммунистической пропаганды. Во всяком случае, Пленум Исполнительного Комитета Коминтерна в полном составе почтил минутой молчания гибель героя немецкого сопротивления против франко-бельгийских оккупантов. 26 сентября 1923 года в связи с катастрофическим экономическим положением Германии правительство отказалось от «пассивного сопротивлениям».

Под давлением США и Великобритании Франция и Бельгия вывели свои войска из Рура в 1925 году.

45 Клятва на горе Рютли — знаменитая клятва

представителей трех швейцарских кантонов — Ури, Швиц и Унгервальден — в 1291 году. Клятва была принесена во имя свободы Швейцарии от германского императора. Хафнер имеет в виду не саму легенду, а сцену из драмы Шиллера «Вшпьгельм Телль», где швейцарцы клянутся бороться против австрийских поработителей. «Юлягва на горе Рютли» Шиллера — хрестоматийный текст немецкой культуры: «Да будем мы народом граждан-братьев, / В грозе, в беде единым, нераздельным. / Да будем мы свободными, как предки, / И смерть пусть каждый рабству предпочтет. / На Бога да возложим упованье / Без страха пред могуществом людей» (Пер. Н. Славятинского).

[46] «Нильс Люне» (1880) — роман датского писателя Енса Петера Якобсена.

47 «Записки Мальте Лауридса Бригге» — единственный роман (1910) австрийского поэта Райнера Марии Рильке.

[48] Стефан Георге (1868-1933) — немецкий поэт и мистик. Один из ярких представителей немецкого символизма. Оказал огромное влияние на русских символистов, в частности на Валерия Брюсова и Вячеслава Иванова. Идеолог «консервативной революции». Создатель экзотерического «Крˆукка Стефана Георге». В число учеников и последователей Стефана Георге входил Клаус фон Штауффенберг (1907-1944), организатор и исполнитель покушения на Гитлера 20 июля 1944 года. В книге «Новое государство» Стефан Георге описывал новый общественный строй во главе с духовными аристократами. Нацисты пытались привлечь Георге на свою сторону но с самого начала нацистского движения Георге от них дистанцировался. После прихода нацистов к власти отказался вступить в созданную нацистами Палату пи-

сателей, отклонил предложение Геббельса стать президентом новой немецкой Поэтической Академии, не приехал из Швейцарии на торжественное празднование своего шестидесятипятилетия в Берлине. Умер в Швейцарии.

[49] Гуго фон Гофмансталь (1874-1929) — австрийский поэт и драматург. Символист. Автор либретто опер Рихарда Штрауса.

[50] «Ноябрь» — юношеская новелла (1842) Гюстава Флобера (1821—1880) о проститутке, кончающей жизнь самоубийством. Опубликована в 1910 году. Входила в круг чтения интеллигентной европейской молодежи начала XX века. Явные реминисценции из этой новеллы есть в поэме Эдуарда Багрицкого «Февраль».

[51] «Флейты и кинжалы» — сборник исторических новелл (1905) Генриха Манна (1871-1950).

52 Речь идет о нацистах и членах фрайкора.

53 «Черный рейхсвер» — нелегальная военная организация времен Веймарской республики. По Версальскому договору Германия не должна была иметь армию численностью больше 100 000. Нелегальный «черный рейхсвер» создавался в обход Версальского договора. В соединениях «черного рейхсвера» служили добровольцы. Порой эти соединения выдавались за невоенные трудовые организации. «Черный рейхсвер» финансировался немецкими промышленниками националистической ориентации. Более всего вкладывал средств в эту организацию сталелитейныга король Германии Гуго Стиннес. Иногда «черный рейхсвер» называли «солдатами Стиннеса».

54Рейнская республика — марионеточное государственное образование, созданное при фактической поддержке французских и бельгийских войск в Рейнской области в 1923 году. Вооруженные французами и бельгийцами сепаратисты захватывали административные

здания в городах Рейнской области и объявляли о создании нового государства—Рейнской республики. Во мно гих городах дело доходило до военных столкновений со сторонниками единой Германии. Военные столкновения, как правило, кончались победой сепаратистов, поскольку их поддерживали бельгийские и французские войска. Столицей Рейнской республики был объявлен город Кобленц. Благодаря жесткой позиции США и Великобритании, а также почти полному отсутствию массовой поддержки Рейнская республика действительно довольно быстро прекратила свое существование — а именно в тот момент, когда прекратилась военная помощь со стороны французов и бельгийцев.

5510 октября 1923 года правительство Саксонии возглавил тогдашний глава Коммунистической партии Германии (КПГ) Геецэих Брандлер (1881—1967). В ответ командующий силами рейхсвера в Саксонии генерал Альфред Мюллер (1866-1925) запретил вооруженные отряды КПГ в Саксонии — ««пролетарские сотни». Начались вооруженные столкновения между рейхсвером и ««пролетарскими сотнями». По личному указанию президента Эберта 21 октября в Саксонию были введены дополнительные войска рейхсвера. С 21 по 27 октября в Саксонии шли бои между коммунистами и рейхсвером. 27 октября коммунистическое (абсолютно легальное) правительство Саксонии было низложено.

5б Речч идее о так ннзьывемом «кюстрииссом путче», организованном офицером «черного рейхсвера» Эрнстом Бухрукером в городе Кюсгрине (ныне Костшин-нзд-Одрой,

Польша) и Берлдне-Шпандат 1 октября 1923 года. 26 сентября 1923 года в ответ на заявление германского правительства о прекращении «пассивного сопротивлению» французской оккупации Рура Бухрукер в Кю-стрине и его подельники в Берлдне-Шпкнеат подняли мятеж. Их целью было уничтожение парламентской

республики и установление националистической диктатуры. Взять Кюстрин путчистам не удалось. В Берли-не-Шпандау была захвачена цитадель Ханеберг, но довольно скоро отбита правительственными войсками. Бухрукер был арестован и приговорен к десяти годам тюремного заключения. Выпущен по амнистии в 1927 году Основная масса путчистов из «черного рейхсвера» не понесли никакого наказания.

57Суд Фемы (от средневерхненем. veime, союз, связка) — тайная судебная организация, созданная в Вестфалии в XII веке. Очень скоро распространилась по всей Германии. В судах Фемы предусматривалось два вида наказания: казнь через повешение или изгнание. Просуществовал суд Фемы до начала XIX века. В обиходе ««удом Фемы» стали в Германии называть тайный суд, не подчиняющийся формальному праву. В начале XX века политические убийства, совершенные правыми радикалами, назывались «убийствами Фемы».

5[8]Филипп Хойзер (1876-1960) — католический священник, теолог, политический публицист националистического толка. Переводчик «Церковной истории» Евсевия Кесарийского на немецкий язык. В Германии был известен не своими теологическими трудами, в частности исследованием так называемого «Послания Варнавы», но неистовыми антисемитскими статьями, книгами и лекциями. С1931 года примкнул к национал-социалистам. Печатал свои статьи в нацистской прессе под псевдонимом Зигфрид, поскольку его политическая позиция вызывала серьезные нарекания у германского кардинала Михаэля фон Фаульхабера. Несколько раз кардинал запрещал Хойзеру выступать с публичными политическими речами и даже угрожал ему лишением сана. В 1934 году Хойзер встречался с генсеком нацистской партии Рудольфом Гессом на предмет вступления в партию. Гесс предложил ему отказаться

от сана — и тогда, пожалуйста. Хойзер решил остаться католическим священником. Тем не менее на съездах нацистской партии он всегда присутствовал в качестве почетного гостя.

59 Ххфнер ддоольно точно, ххоя и иррниино излаггат историю «Пивного путча», рлр путча Гитлера и Людендорфа. Во время рурского кризиса лидер баварских правых Густав фон Кар

(1862-1934) был назначен комиссаром Баварии и наделен диктаторскими полномочиями. Кар благоволил только что образованной нацистской партии и ее тогдашним лидерам Гитлеру и Людендорфу. Он отказался арестовать руководителей штурмовиков и закрыть нацистскую газету «Volkischer Beobachter» («Народный обозреватель»»). В этих условиях Гитлер решил, что можно рискнуть и начать, по примеру муссолиниевского «похода на Рим», свой «поход на Берлин»». 8 ноября 1923 года нацисты пригласили Кара, командующего вооруженными силами Баварии Отто фон Лоссова (1868—1938) и начальника баварской полиции Ханса фон Зайсера (1874-1973) на свое собрание в огромный пивной зал, где собралось около трех тысяч человек. Во время выступления Кара перед собравшимися пивная была оцеплена пулеметчиками. Затем Гитлер объявил, что началась национальная революция и зал оцеплен. Если будут продолжаться крики, он распорядится установить пулемет на галерее. Крики стихли. Гитлер предложил Кару, Лоссову и Зайсеру войти во вновь образованное имперское правительство. Они отказались. Их заперли во внутренней комнате бара. Один из гитлеровских подельников съездил за Людендорфом. После прибытия Людендорфа Кар, Зайсер и Лоссов согласились присоединиться к «походу на Рим». Все трое были выпущены Людендорфом под «честное офицерское слово». Кар тут же отправился в Регенсбург, где издал прокламацию, в которой от-

рекался от своих слов, «данных под дулом пистолета», объявил о роспуске нацистской партии и штурмовых отрядов. К этому времени штурмовики Рема захватили штаб-квартиру войск в Баварии. Правда, они тут же были блокированы правительственными войсками. В этих условиях Людендорф предложил Гитлеру двигаться вместе с путчистами в центр города. Генерал предполагал, что к такой внушительной демонстрации, возглавляемой им, генералом, обязательно присоединятся армия и полиция. Армия и полиция не присоединились. Полицейские дали залп в толпу. Гитлер по солдатской привычке бросился на землю. Генерал Людецдорф (по генеральской сообразительности) остался стоять. Он же и был арестован первым. Позже всех был арестован Рём. Во время подавления путча было убито шестнадцать нацистов.

60 Рентная марка—одна из двух денежных единиц, находившихся в обращении в Германии с 1923 по 1948 год. Выпущена в целях борьбы с гиперинфляцией 1923 года. Основанный в октябре 1923 года Германский рентный банк выпустил эту марку 15 ноября 1923 года. Ее курс к бумажной составлял 1:1 000 000 000 000. Рентная марка ликвидировала

двенадцать нулей на банкнотах, а ее стоимость обеспечивалась' ипотечными облигациями на недвижимость в сельском хозяйстве и промышленности. Рентная марка не являлась законной валютой, то есть никто не обязан был ее принимать. Тем не менее народ доверял новым деньгам и гиперинфляция была остановлена, что называлось «чудом рентной марки».

6[1] Карл Хеллфертих (1882-1924) — немецкий экономист, банкир, политик. Лидер Немецкой народной национальной партии. Основатель и финансист Антибольшевистской лиги. Один из разработчиков плана по введению рентной марки. Погиб в результате железнодорожной катастрофы.

[62] Ялмар Хорас Грили Шахт (1877-1970) — немецкий экономист, банкир, политик. С 22 декабря 1923 года — президент Рейхсбанка Германии. Он действительно (как и Хельферих) был одним из разработчиков плана по введению рентной марки. Но ирония Хафнера на этом не кончается. Казавшийся левым и прореспубликански настроенным, Шахт был одним из тех, кто помог политическому авантюристу Гитлеру завязать тесные отношения с промышленными и финансовыми кругами. В 1936-1937 годах Шахт—рейхсминистр экономики. В 1937-1942 годах — министр без портфеля. Он один из организаторов военной экономики третьего рейха. На Нюрнбергском процессе оправдан.

6[3] План Дауэса—новый план взимания репараций с Германии, разработанный в 1923-1924 годах репарационной комиссией под председательством американского генерала Чарлза Гейтса Дауэса. Реализованный благодаря поддержке США и политике Густава Штреземана, план Дауэса обеспечил восстановление экономики Германии.

6 Локарнские договоры 1925 года — семь договоров, заключенных представителями Германии с представителями Западных европейских стран в швейцарском городе Локарно о незыблемости границ на западе Германии, об отказе от территориальных претензий. С восточно-европейскими странами (Польшей и Чехословакией) таких договоров заключено не было, но Франция обязалась быть гарантом нерушимости их границ. После ратификации этих договоров рейхстагом Германия была принята в Лигу Наций.

б[5] Неофициальная встреча министров иностранных дел Германии и Франции, Штреземана и Бриана, в южнофранцузском городке Туари (Шопу) 12 сентября 1926 года, на которой были обсуждены проблемы эвакуации французских войск из Рура. На этом свидании Бриан дал довольно интересную характеристику Раймону Пуанкаре, своему президенту и инициатору оккупации

Рура: «Мне кажется, Раймон живет в ином, чем мы с Вами, Густав, мире...»Одним из важных результатов неофициального свидания Штреземана и Бриана было решение держав-победительниц 12 декабря 1926 года о снятии военного контроля с побежденной Германии.

66 Лига Наций (1919-1946) — международная организация, созданная по Версальскому договору в 1919 году. Цели Лиги Наций включали в себя: разоружение, предотвращение военных действий, обеспечение коллективной безопасности, урегулирование споров между странами путем дипломатических переговоров, а также улучшение качества жизни на планете. Официально закончила свое существование в 1946-м. Ее преемницей явилась ООН. Вступление Германии в Лигу Наций 8 сентября 1926 года было крупнейшим внешнеполитическим успехом Густава Штреземана. Германия переставала быть страной-изгоем. Она становилась полноправным членом мирового сообщества наций. Нацистская Германия вышла из состава Лиги Наций 26 октября 1933 года.

67 Крылатое выражение «business as usual» получило распространение в годы Первой мировой войны после речи тогдашнего премьер-министра Великобритании Герберта Генри Асквита, смысл которого сводился к тому, что мы ведем свои обычные дела без паники, чтобы ни случилось. На лондонских магазинчиках в 1940 году после немецких бомбежек вывешивались плакатики с этим слоганом.

68 Хуберт Хубен (1898—1956)—немецкий легкоатлет. В двадцатые годы был одним из лучших в мире спринтеров. Самый большой его успех — второе место в эстафете «четыре по сто» (вместе с Георгом Ламмерсом, Рихардом Кортсом и Гетгьмутом Кёрнигом) на Олимпийских играх

в Амстердаме в 1928 году. Хубен работал в в банке и все свое свободное время посвящал легкой атлетике.

69 Отто Пельтцер (1900-1970) — немецкий легкоатлет. Несмотря на тяжелую болезнь, активно занимался спортом. Учился в университетах Йены, Берлина и Мюнхена на юридических факультетах. В 1926 году защитил диссертацию. В это же время Пельтцер стал лучшим бегуном мира на средние дистанции. В 1926 году установил два мировых рекорда. С 1926 по 1933 год преподавал историю и географию в свободной школьной общине в Тюрингии. Выпустил несколько книг о тренировках легкоатлетов и о спортивной этике. В 1933 году вступил в нацистскую партию и в SS. Очень скоро разочаровался в нацизме. Его резкие высказывания о нацизме вообще и о нацистских руководителях в частности не только поставили крест

на его дальнейшей спортивной карьере, но и привели к аресту в 1935 году. Британское дипломатическое вмешательство и готовящиеся Олимпийские игры вынудили нацистские власти заменить Пельтцеру меру пресечения на домашний арест. В 1938 году Пельтцер эмигрировал в Швецию, где дал несколько резких интервью о положении дел в Германии. Нацисты добились того, чтобы шведы выслали спортсмена из страны. В 1941 году Пельтцер вернулся в Германию. Сразу же был арестован по обвинению в гомосексуализме и отправлен в концлагерь Маутхаузен. Освобожден в 1945 году американцами.

[70] Пааво Нурми (1897-1973) — финский легкоатлет. Обладатель наибольшего количества золотых олимпийских медалей (12). Прозвище Летучий Финн. В 1926 году Пельтцер обогнал Нурми, установив новый мировой рекорд.

7 Гельмут Кёрниг (1905-1973) — немецкий легкоатлет. Бронзовый призер Олимпийских игр 1928 года в Амстердаме. призер Олимпийских игр 1932 года в

Лос-Анджелесе. Прервал спортивную карьеру в 1934 году из-за болезни. 28 июля 1929 года Кёрниг установил мировой рекорд в Будапеште, пробежав стометровку за 10,4 с. За 10,3 с стометровку пробежал канадский спортсмен Уильям Перси в Торонто в 1930 году.

[72] Ружье «монтекристо»—малокалиберное ружье для развлекательной стрельбы. Изобретено французским оружейником Луи Николя Огюстом Флобером в 1842 году. В России называлось «монтекристо», в Германии — «те-шин» (Tesching).

73 Шарль Морис де Талейран-Перигор (1734-1838)— французский дипломат и политик. Епископ Отенский (17881791). Участник Великой французской революции. Депутат Генеральных штатов, предложивший декрет о национализации церковного имущества. Министр иностранных дел при Директории, Наполеоне, Бурбонах и Луи-Филиппе — символ талантливого и беспринципного политика.

[74] Парсифаль — легендарный рыцарь, герой куртуазного эпоса Кретьена де Труа и последней оперы Рихарда Вагнера, наивный юноша-мистик, со временем и страданием приобретающий житейский опыт.

[75] «Системой» нацисты уничижительно называли строй Веймарской республики.

[76] Паризер-плац (Парижская площадь) завершает центральную улицу Берлина—Унтер ден Линден. После Второй мировой войны сильно пострадавшая Парижская площадь входила в пограничную полосу между Восточным и Западным

Берлином. После строительства Берлинской стены стала простреливаемой пограничной зоной. Ансамбль площади был создан в 1732-1734 годах при Фридрихе Вильгельме I. Сперва называлась «Четырехугольник». Название «Парижская» получила в 1814 году в честь взятия Парижа прусскими и русскими войсками. Что до цветка, который рассматривал Штреземан,

то мне кажется, это были анютины глазки... Штреземан смотрел на этот цветок и прикидывал, кого-то он ему напоминает, но не мог вспомнить. Зато другой житель Берлина двадцатых-тридцатых годов, Владимир Владимирович Набоков, в «Других берегах» вспомнил: ««Клумбы бледных анютиных глазок: на личике каждого цветка было темное пятно вроде кляксы усов, и по довольно глупому моему наущению, он (сын. — Н. Е.) с райским смехом узнал в них толпу беснующихся на ветру маленьких Гитлеров».

[77] Речь шла не только о Версальском мирном договоре, но и о Локарнских соглашениях, а также ратификации плана Дауэса. По Версальскому мирному договору Германия была признана виновницей Первой мировой войны. Коль скоро Локарнские договоры признают незыблемость границ, сложившихся после Первой мировой войны, а план Дауэса не предполагает отмены репараций, то все, подписавшие эти соглашения, согласны с Версальским договором и определением Германии как виновницы Первой мировой войны.

[78] Герман Мюллер (1876-1931) — немецкий политик. Социал-демократ. В 1893 году вступил в СДПГ. В 1906 году по предложению Августа Бебеля был избран в правление партии. Руководил отделом партийной прессы. Создал собственное информационное агентство СДПГ. С 21 июня 1919 года по 26 марта 1920-го Мюллер был министром иностранных дел Германии и подписывал Версальский мирный договор. С 27 марта по 6 июня 1920 года Мюллер—рейхсканцлер Веймарской республики. Второй раз он был рейхсканцлером с 28 июня 1928 года по 27 марта 1930-го. Его сменил Брюнинш

79 Хафнер имеет в виду авторитарные режимы, возникшие в странах Восточной Европы, самым типичным и ярким из которых был «сгшшщонный режим» Юзефа Пилсудского. Однако здесь Хафнер ошибается: все эти

режимы возникли или одновременно, или даже раньше, чем время правления Брюнинга в Германии.

[80] Формально на выборах 14 сентября 1930 года победили социал-демократы: 24,53%, 143 места в рейхстаге. На втором месте шли нацисты: 18, 25%, 107 мест. Третье заняли коммунисты: 13,135%, 77 мест. Проблема состояла в том, что две

партии Германии, набравшие наибольшее число голосов после социал-демократов (нацисты и коммунисты), не собирались вступать с кем-либо в коалицию. Им была нужна вся власть. Целиком и полностью.

8[1] Берлинский Дворец спорта—крупнейшее спортивное сооружение мира своего времени. Построен в 1910 году архитектором Германом Дернбургом. Вмещал до двадцати тысяч человек. Первый в Европе крытый хоккейный стадион с беговыми дорожками для конькобежцев. Кстати, это обстоятельство было причиной комического происшествия на открытии Дворца спорта. Почетные гости во фраках и цилиндрах шли по гладкому льду стадиона к трибунам, скользили и падали. Этот эпизод с успехом обыгрывался в немых комических фильмах. Во времена Веймарской республики стадион стал использоваться для политических митингов. Здесь перед своими партийцами выступали Брюнинг, Тельман, Геббельс. Первое выступление Гитлера в Берлине на массовом митинге состоялось тоже здесь 16 ноября 1928 года. Последний массовый митинг коммунистов прошел в том же здании 23 февраля 1933 года. После прихода нацистов к власти Дворец спорта стал использоваться исключительно для нацистских мероприятий. 18 февраля 1943 года после поражения под Сталинградом Геббельс в этом дворце призвал немцев к тотальной войне.

8[2] Речь идет об убийстве летом 1932 года в верхнесилезском городке Потемпа. Шесть штурмовиков ворвались в квартиру польского коммуниста, рабочего Пичуха и забили его насмерть. «Убийцы из Потемпы» были арестованы. Гитлер отправил им телеграмму, начинающуюся словами: «Мои дорогие друзья!..» По личному распоряжению тогдашнего рейхсканцлера Германии Франца фон Папена убийцы были помилованы.

8[3] С 1933 до 1938 года Гитлер часто использовал в своих речах пацифистскую риторику, напирая на то, что он вовсе не собирается воевать против всего мира, а всего только исправляет историческую несправедливость, нанесенную его родине, Германии. Особенно эта риторика была часта в его речах накануне и во время берлинской Олимпиады 1936 года.

84 «Стальной шлем» («Stahlhelm») — союз фронтовиков, монархическая, националистическая военизированная организация. Считалась -неофициальной «армией» Немецкой национальной народной партии. Создана в декабре 1918 года в Магдебурге. Первый руководитель — Франц Зельдте, будущий нацистский министр труда. В 1931 году часть отрядов «Стального шлем:а» во главе с Зельдте примкнула к штурмовым отрядам нацистов. Председателем нового «Стального шлема» стал Теодор

Дюстерберг.

85 Appeasement (политика умиротворения) — наименование политики Великобритании и Франции в 19331938 годах, направленной на то, чтобы не спровоцировать новую войну в Европе. Первая мировая война явилась таким шоком для стран-победительниц, что любые компромиссы казались им предпочтительнее военного столкновения. Прежние политики — Раймонд Пуанкаре, Жорж Клемансо — умерли. Новое поколение политиков не хотело войны, к тому же не без основания полагало, что с Германией поступили уж очень круто. По таковой причине эти политики шли на уступки Гйтлеру. Пиком политики «умиротворения» было Мюнхенское соглашение 1938 года, отдавшее Гитлеру часть Чехословакии — Судеты, населенные тогда в основном немцами.

86 Фррщ Йозеф Герман КМххалл Марри фон Пален (11888 1969) — немецкий политический деятель и дипломат. В 1913-1915 годах военный атташе в США. Выслан за шпионаж. В 1916 году был посредником ери передаче немецкого оружия ирландским повстанцам. В 1918 году служил на Ближнем Востоке, в Палестине, в турецкой армии. Депутат рейхстага от католической Партии Центра. С 1 июня ео 2 декабря 1932 года — рейхсканцлер. Вел переговоры с Гитлером. Предлагал ему пост вицеканцлера в своем правительстве. Гитлер отказался. В январе 1933 года рейхсканцлер Гитлер назначил своим вице-канцлером фон Папена. И фон Папен не отказался. В «Ночь длинных ножей» фон Папен был арестован. Три дня провел под домашним арестом. Отправлен послом в Австрию. В 1939-1944 годах посол в Турции. В апреле 1945 года арестован американцами. На Нюрнбергском процессе был оправдан.

Курт фон Шлейхер (1882-1934) — немецкий генерал и политик. Пользовался огромным влиянием на последнего президента Веймарской республики Пауля фон Гинденбурга. Именно по настоянию Шлейхера Гинденбург назначил рейхсканцлером сначала Брюнинга, потом фон Папена. Назначен Гинденбургом рейхсканцлером 3 декабря 1932 года. 30 января 1933 года на его место был назначен Гитлер. В «Ночь длинных ножей» фон Шлейхер и его жена Элизабет были застрелены лслсовцами. Вся «рейхсканцлеровская» чехарда последнего года существования Веймарской республики была связана с паническим страхом буржуазной и аристократической элиты Германии перед коммунистической революцией. Подбирались люди, способные вызвать «народную любовь» и остановить коммунистов. Ни

Брюнинг, ни Пален, ни Шлейхер никакой любви не вызывали,

а Брюнинг вызвал еще и ненависть. Если бы в этот момент социал-демократы и коммунисты составили бы коалицию, как это было сделано спустя три года во Франции (Народный фронт), у президента Гинден-бурга не было бы даже формального повода менять рейхсканцлеров, как карты в колоде. Однако коммунисты не только не шли на союз с социал-демократами, но порой в рейхстаге голосовали вместе со своими злейшими врагами, нацистами.

87 Из вссх авттриттрньк ддйсстий фон Паппна и фон Шлейхера, точно перечисленных Хафнером, разгон прусского социал-демократического ландтага был самым скандальным и ярким. Дело в том, что, в отличие от нацистского рейха, Веймарская республика была федеративным государством. Самой крупной республикой в ее составе была Пруссия, или Свободное государство Пруссия. Традиционно в парламенте Пруссии (ландтаге) большинство было за социал-демократами. Очень сильные позиции в Пруссии были и у коммунистов. 16 июня 1932 года фон Папен отменил указ прежнего рейхсканцлера Брюнинга о запрете SA и SS. 17 июля 1932 года эсэсовцы и штурмовики решили отпраздновать эту победу демонстрацией в прусской Альтоне, красном пригороде Гамбурга. Количество коммунистов там было таково, что Альтону называли «маленькой Москвой». Демонстрация была военизированной и закончилась тем, что было названо «кровавым воскресеньем в Альтоне». По пути следования демонстрации штурмовики ворвались в пивную, где пили пиво коммунисты, а может и не коммунисты, и измételили всех там находившихся. Весть об этом довольно скоро распространилась по «маленькой Москве», и очень скоро по демонстрации штурмовиков и эсэсовцев стали стрелять из ружей с чердаков и верхних этажей домов. Демонстра-

ция была рассеяна, а прусская полиция принялась вылавливать снайперов. Было арестовано более девяноста человек. В ответ на это фон Папен ввел 20 июля 1932 года чрезвычайное положение в Пруссии, распустил ландтаг, разогнал правительство и назначил рейхскомиссара Пруссии.

88 Речь идет о путче генерала Франко, поддержанного нацистской Германией и фашистской Италией, против коалиционного правительства Народного фронта (социалисты, коммунисты, анархисты, радикалы). Путч перерос в гражданскую войну, 1936-1939, в которой победили франкисты.

89 Речь идет об аншлюсе (присоединении) Австрии к нацистской Германии 12-13 марта 1938 года. Аншлюс стал возможен после разгрома австрийскими правительственными войсками военных соединений социал-демократов в предместьях

Вены в 1934 году.

[90] Речь идет об аннексии Судет, совершенной Гитлером в 1938 году с согласия европейских государств, и последовавшем за тем молниеносном захвате Чехословакии, на который Гитлеру никаких согласий уже не требовалось.

9[1] Следует помнить, что пишет эту книгу Хафнер летом 1939 года. Недаром он пишет под только что придуманным псевдонимом, ему совсем не хочется «расшифровывать» своего отца и своих близких, оставшихся в Германии. Поэтому стоит сказать несколько слов об отце Раймунда Претцеля, ставшего немецким историком и публицистом Себастьяном Хафнером. Никаким чиновником его отец не был. Карл Луи Альберт Претцель (1864-1935) — известный берлинский педагог, директор гимназии. В годы Веймарской республики он действительно работал в Министерстве образования, но на этом основании назвать его чиновником вряд ли справедливо. Кроме отца, умершего в 1935 году, у Раймунда Претцеля в нацистской Германии остался брат Ульрих Претцель (1898-1981), ученый-медиевист. Точное описание профессии и деятельности отца в опубликованной (если бы она была опубликована) антифашистской книге вывело бы к брату И мало медиевисту не показалось бы. В нацистской Германии действовал «Sippengesetz», «закон о родственниках». Родственник эмигрировавшего немца, коль скоро эмигрант занимал антифашистскую позицию, нес определенную ответственность, административную, а то и уголовную.

[92] Иммануил Кант (1724-1804) — немецкий философ. Всю жизнь прожил в прусском городе Кёнигсберг.

93 Жан Кальвин (1509-1564) — франко-швейцарский богослов, реформатор церкви, основатель направления протестантизма, названного по его имени кальвинизмом.

94 Фридрих II (1712-1786) — прусский король и полководец. Ярчайший представитель «просвещенного абсолютизма» XVIII века. Фридрих II любил латынь, поэтому предпочитал называться на латинский манер. Фридрих не любил немецкий язык. Во Франкфурте уже появился Гёте, а Фридрих II писал в сочинении «De la Litterature Allemande» («О немецкой литературе», 1780): «Просто физически невозможно, чтобы даже самый одаренный автор мог подобающе использовать этот грубый язык».

95 Оливер Кромвель (1599-1658) — вождь Английской революции (1642-1651). Лорд-протектор Англии, Шотландии и Ирландии в 1653-1658 годах.

Все четверо — Кант, Кальвин, Фридрих и Кромвель— протестанты. Некоторое исключение составляет Фридрих II,

который был атеистом, но воспитан он был в протестантской культурной среде. Однако протестантизм их разнится друг от друга, что Хафнер и объясняет чуть ниже.

96 Хафнер подчеркивает фридерцианство и государственничество прусского протестантизма. Фридрих II был франкофилом, предпочитал говорить и писать по-французски. Поэтому Хафнер употребляет французское обозначение его титула.

97 Фридрих II был плодовитым поэтом, писавшим по-французски. Четыре его стихотворения были переложены прозой (с немецкого перевода) Г. Р. Державиным и вошли в его первую книгу «Оды, сочиненные при горе Читалагае» (1774).

98 Der Alte Fritz (Старый Фриц) — прозвище Фридриха II.

99 Вильгельм Раабе (1831—1910) — немецкий романист.

100 Готфрид Келлер (1819—1890) — швейцарский романист и поэт, автор последнего и самого значительного в немецкой литературе «романа воспитания» — «Зеденый Генрих» (первая редакция 1854-1855, вторая 1879-1880). Круг чтения отца Хафнера — классика европейского реалистического романа, от Диккенса до Келлера; должно напомнить читателю о круге чтения сына: классика европейского модерна или декаданса от Верлена до Гофмансталя.

1 референдарий (от лат. referendarius, докладчик) — кандидат на судейский чин; до 1945 года в Германии низшая судебная должность.

12 Первый Кабинет Гитлера: Адольф Гитлер — канцлер; Франц фон Папен (Партия Центра) — вице-канцлер; Вильгельм Фрик (нацист) — МВД; Герман Геринг (нацист) — министр без портфеля (позднее министр ВВС); Альфред Гутенберг (Немецкая национальная народная партия) — министр экономики; Вернер фон Бломберг (беспартийный) — министр обороны; Франц Зельдте (Немецкая национальная народная партия)—министр труда; Константин фон Нейрат (беспартийный)—МИД; Лутц фон Крозиг-Шверин (беспартийный) — министр финансов; Франц Гюртнер (Немецкая национальная партия) — министр юстиции; Пауль фон Эльтц-Рюбе-нах (беспартийный) — министр связи.

Гитлер сохранил всех министров Шлейхера и Папена, добавив к ним Геринга, Фрика, Гутенберга и Блом-берга. Любопытно посмотреть на биографии всех министров первого Кабинета Гитлера. Начнем с конца. Барон Пауль фон Эльтц-Рюбенах (1875-1943) — сын крупного землевладельца. Участник Первой мировой. Награжден Железным крестом. В июне 1932 года фон Папен назначает его министром почты и связи. Сохраняет пост при Гитлере. В 1934 году вступает в нацистскую

партию. В 1937-м уволен в отставку Франц Гюрт-нер (1881^1941) —дипломированный юрист. Участник Первой мировой войны. Награжден Железным крестом. Воевал во Франции и в Палестине. Защищал Гитлера во всех процессах, начиная с процесса по делу «Пвного путча». В июне 1932 года назначен Папеном министром юстиции. После «Ночи длинных ножей» Гюртнером было составлено заявление о справедливой необходимости (или необходимой справедливости) действий фюрера. В 1937 году Гюртнер вступил в нацистскую партию. Именно он занимался созданием нацистской юридической системы. Граф Иоганн Людвиг (Лутц) фон Крозиг-Шверин (1887-1977)—участник Первой мировой войны. Награжден Железным крестом. На пост министра финансов назначен фон Папеном летом 1932 года. С 1932 по 1945 год — министр финансов Германии. Вступил в нацистскую партию в 1937 году В 1938 году, после еврейских погромов «Хрустальной ночи», приступил к «аризации финансов» Германии. После самоубийства Гитлера премьер-министр последнего нацистского правительства контр-адмирала Деница. Судим на так называемом «Процессе министерств» (1947), приговорен к десяти годам заключения. Выпущен по амнистии спустя шесть лет. Барон Константин фон Нейрат (1873-1956) — группенфюрер SS. Рейхспротектор Богемии и Моравии (1939-1943). На-

значен министром иностранных дел фон Паленом летом 1932 года. Руководил МИД до 1938-го. В нацистскую партию вступил в 1937 году. Судим на Нюрнбергском процессе. Приговорен к пятнадцати годам заключения. Освобожден досрочно по состоянию здоровья. Франц Зельдте (1882-1947) — создатель крайне правой военизированной организации «Стальной шлем». Министром труда назначен летом 1932 года фон Папеном. Таковым и оставался до мая 1945 года. Обергруппен-фюрер SS. В нацистскую партию вступил в 1933 году. Умер в госпитале во время подготовки Нюрнбергского процесса. Вернер Эдуард Фриц фон Бломберг (1878-1946)—немецкий военачальник. Генерал-фельдмаршал (с 1936). Участник Первой мировой войны. Награжден Железным крестом и высшей прусской военной наградой — орденом «Pour le Merite». На должность министра обороны назначен Гитлером, поскольку был активным сторонником Адольфа в рейхсвере. Делом, то есть солдатами, поддержал Гитлера в «ночь длинных ножей». Стоял у истоков создания вермахта, люфтваффе и танковых войск. В 1938 году выступил с резкой критикой авантюристических планов Гитлера по развязыванию крупномасштабной европейской войны, поскольку не без оснований полагал, что это приведет к гибели

Германии. Был отправлен в отставку по скандальному поводу: женился на массажистке, которая то ли распространяла порноснимки, то ли фотографировалась на порноснимках. Жил до 1946 года в своем имении. На Нюрнбергском процессе выступал в качестве свидетеля (вот что значит удачно жениться. ..). Альфред Гутенберг (1865-1951)—немецкий медиамагнат и политик. Руководитель Немецкой народной национальной партии, которая в идейном отношении мало чем отличалась от нацистов. Назначен на пост министра экономики Гитлером. В тот же год сложил с себя

полномочия, ушел в отставку Геринг (см. примеч. 9). Вильгельм Фрик (1877-1946)—кадровый полицейский, работал в уголовном розышке Мюнхена. Личный друг Гитлера. Назначен министром внутренних дел Гитлером. С 1932 по 1943 год — МВД. С 1943 по 1945 год — рейхспротектор Богемии и Моравии. Казнен по приговору Нюрнбергского суда. Фон Папен (см. примеч. 86).

Хафнер прав и не прав. Из одиннадцати членов первого Кабинета Гитлера семеро быгли назначены еще фон Папеном, но все семеро так и оставались в правительстве Гитлера до самого его конца. То есть это не у Гитлера быгло всего двое нацистов, а у Папена быгло целых семь нацистов.

[103] Элизабет Бергнер (настоящая фамилия Эттель, 18971986) — австрийская и немецкая актриса театра и кино. Родилась в Дрогобыше (ныне Украина). Окончила драматический класс Венской консерватории. Первые роли на сцене сыпрала в Вене, позже уехала в Берлин, где получила известность после роли Жанны д'Арк в пьесе «Святая Иоанна» (1924) Джорджа Бернарда Шоу. В 1933 году вышла замуж за режиссера Поля Циннера и переехала в Лондон. Поль стал режиссером почти всех ее фильмов. В 1935-м номинировалась на «Оскар» за роль в фильме «Никогда не покидай меня». В 1979 году получила Премию Эрнста Любича за фильм «Der Pfingstaus-flug» («Пшошк на Троицу», 1979).

[104] Вики (Хедвига) Баум (1888-1960) — австрийская писательница, родилась в Вене в еврейской семье. По профессии арфистка, училась в Венской консерватории. Позднее работала журналисткой доя «Berliner Illustrier-te Zeitung». Публиковалась в изданиях Ульштейна в Берлине. С 1914 по 1916 год ее мужем быгл известный австрийский журналист, введший ее в круг венской богемы. В 1916 году Баум развелась и вышла замуж за своего друга детства, дирижера Ричарда Лерта. Во время Первой мировой войны она некоторое время работала няней. Писать начала еще в подростковом возрасте. Стала известна благодаря

роману «Menschen im Hotel» («Люди в отеле», 1929). В 1930-х с семьей эмигрировала в США. Автор более пятидесяти романов о судьбах женщин, в которых авантюрно-эротический сюжет развивается на фоне исторических событий. Большинство ее книг были экранизированы в Голливуде. Считается одной из первых авторов бестселлеров. В нацистской Германии книги Баум сжигались по личному распоряжению Гитлера. Умерла от лейкемии. Ее мемуары «tit Was All Quite Different» («Все было совсем не так») были опубликованы посмертно в 1964 году. Любопытно, что мемуары Даниила Гранина называются «Все было не совсем так».

[105] Чако — военный головной убор, цилиндрической или конической формы. «Чако» — венгерское слово, означает «гусарский шлем», поскольку сначала такой шлем носили венгерские гусары. Поначалу чако были меховыми, затем — кожаными. Во времена Наполеоновских войн чако получили распространение почти во всех армиях Европы. Их стали носить пехотинцы и артиллеристы. В Германии с 1843 года в армии вместо чако стали использовать островерхие шлемы. Чако перешли к полицейским.

[106] Шупо (Schupo, сокращение от Schutzpolizei) — прозвище полицейских в Германии до 1945 года.

[107] Поджог рейхстага (немецкого парламента) — провокация века, позволившая Гитлеру обвинить своих главных политических противников, коммунистов, в государственном преступлении, объявить чрезвычайное положение и начать «охоту на ведьм». Рейхстаг загорелся в десять часов вечера 27 февраля 1933 года. Через полтора часа пожар был потушен. Из горящего здания пожарными был вытащен человек. Это был Маринус

ван дер Люббе (1909-1934) — бывший коммунист. Он сразу же признался в поджоге рейхстага. Утверждал, что сделал это в знак протеста против начинающегося нацистского террора. На место происшествия сразу же прибыли Гитлер, Геббельс, фон Папен и возглавлявший прусскую полицию, а также рейхстаг Герман Геринг. Гитлер немедленно заявил о том, что поджог организован коммунистами и что ван дер Люббе не одиночка, но член хорошо законспирированной и организованной группы. По делу о поджоге рейхстага были арестованы лидер парламентской фракции коммунистов Эрнст Торглер и болгарские коммунисты Георгий Димитров, Васил Танев и Благой Попов. 28 февраля 1933 года был принят закон «О защите народа и государства», отменявший свободу собраний, слова, печати, союзов, ограничивавший тайну личной переписки и неприкосновенность частной собственности. Была запрещена КПГ. В течение

нескольких дней было арестовано до четырех тысяч человек: социал-демократов, коммунистов, политиков и общественных деятелей, настроенных антинаццстски. В числе арестованных были и депутаты рейхстага. Были закрыты оппозиционные нацистам газеты. Тем не менее на выборах в рейхстаг, состоявшихся 5 марта, нацисты получили 288 мандатов из 647. По распоряжению Вильгельма Фрика было аннулировано более 80 мандатов. 24 марта 1933 года рейхстаг принял «Зшкон в целях устранения бедствий народа и государства». Согласно этому закону имперское правительство наделялось правом издавать законы, в том числе и такие, какие «могут отклоняться от имперской конституции»». Фактически это было установление диктатуры. Тем временем нацисты захватывали власть на местах. Врывались в здания местной администрации, вывешивали флаги со свастикой. В ответ на это министр полиции Фрик объявлял в той

или иной местности чрезвычайное положение и назначал гауляйтера. Завершающим аккордом всей этой операции должен быш стать открытый судебный процесс над «поджигателями», состоявшийся в Лейпциге. Здесь произошел сбой. Вину признал один только ван дер Люббе, да и трудно бышо ее не признать. Всем остальным обвиняемым удалось доказать свое алиби. Ван дер Люббе быш гильотинирован. Торглер, Танев, Попов и Димитров оправданы за недостаточностью улик. До сих пор неизвестно, быш ли поджог рейхстага запланированной провокацией нацистов или делом рук полубезумного одиночки, каковым нацисты чрезвычайно умело воспользовались.

[108] Немецкая народная партия (Deutsche Volkspartei) — консервативная партия Веймарской республики, ни в коем случае не националистическая, стоящая за правовое государство, рыночную экономику, соблюдение международных договоров и соглашений. Создана в 1918 году Ее председателем быш Густав Штреземан. Немецкую народную партию не надо путать с националистической, монархической и антисемитской Немецкой народной национальной партией, до появления нацистов занимавшей крайне правый фланг в политической жизни Веймарской республики.

[109] Черно-бело-красный флаг быш эмблемой монархистов из Немецкой народной национальной партии. То есть, не нравится голосовать за наших неотесанных парней, — голосуй за своих... аристократов.

[110] У ван дер Люббе быш при себе членский билет голландской компартии, из которой он давным-давно вышел.

io Здесь имеется в виду персонаж оперы Рихарда Вагнера

«Валькирия» — верховный бог Вотан. В конце оперы он приказывает богу Локи окружить свою заснувшую навеки дочь, валькирию Брунгильду, морем огня. Вагнер быш любимым композитором Гитлера, а «Валь-

кирия» — его любимой оперой. Это было известно довольно широко. Именно поэтому в период наибольшего сближения между нацистской Гермшгией и СССР в Большом театре Сергею Эйзенштейну поручили поставить «Вадькирию».

112 Нацисты, как и коммунисты, быгли принципиальными противниками парламентской демократии.

13 См. примеч. 87.

И4 Карл Вильгельм Зеверинг (1875-1952) — немецкий политик, социал-демократ, по профессии слесарь. В 19301932 годах быгл прусским министром внутренних дел. Никоим образом не сопротивлялся антиконституционному решению рейхсканцлера фон Папена о введении чрезвычайного положения на территории Пруссии 20 июля 1932 года. Сдался без боя.

15 Альберт Гржезинский (1879-1947) — немецкий политик, социал-демократ, по профессии сталелитейщик. С 1930 по 1932 год глава прусской полиции. 20 июля 1932 года, после «кровавого воскресенья в Альтоне», по распоряжению фон Папена быгл арестован. Выпущен после того, как дал подписку об отказе от любых политических действий.

116 «Вперед» («Voiwarts») — центральный орган СДПГ. Газета основана в 1876 году. После поджога рейхстага запрещена. Издавалась в эмиграции, до 1938 года в Праге, с 1938 по 1940 год в Париже. В 1948 году вновь стала издаваться. Существует и поныне, как центральный орган современных немецких социал-демократов.

17 «Красное знамя» («IRo'te Fahne») — центральный орган КПГ. Газета основана 9 ноября 1918 года Карлом Либкнехтом и Розой Люксембург. После поджога рейхстага запрещена. Нелегально и нерегулярно печаталась на территории Германии до 1942 года.

118 Нацисты быгли противниками абортов. В нацистской Германии аборты быгли запрещены.

119 SS — военизированные формирования НСДАП, первоначально предназначались для личной охраны Гитлера и входили в состав штурмовых отрядов (SA). С1934 года SS стали отдельной карательной структурой.

120 Хафнер довольно точно излагает события «кёпеник-ской кровавой недели» 21-26 июня 1933 года. Действительно, 21 июня в дом к руководителю социал-демократического профсоюза Антону Шмаусу вломились штурмовики. Принялись его избивать.

Двадцатидвухлетний сын Шмауса начал стрелять в штурмовиков. Убил троих. После чего он был застрелен, а вся семья Антона Шмауса была не просто убита, а забита насмерть. На следующий день в Кёпеник на грузовиках въехала орда штурмовиков. Началось избиение социал-демократов, коммунистов, евреев, а также известных противников нацистского режима. Избивали не просто того или иного человека, а всю его семью. Женщин (избитых) заставляли мыть пол от крови и продолжали избиение. Руководил «операцией» штурмовик Герберт Герке. Он лично забил насмерть социал-демократа, бывшего президента земли Мекленбург-Шверин, Йоханне-са Штеллинга. Сам Герберт Герке убит в марте 1945 года. Точное число забитых насмерть во время «кёпеникской кровавой недели» неизвестно. Трупы засовывали в мешки с камнями и сбрасывали в Шпрею. Из известных политиков были убиты руководитель окружной социал-демократической организации «Рейхсбаннера» (Союза германских участников войны и республиканцев) Пауль фон Эссен, руководитель городского «Рейхсбаннера» Рихард Ассман, коммунисты Карл Покерн и Эрих Яницкий. Депутат рейхстага от католической Партии Центра Генрих Кроне (1895-1989) подал запрос министру внутренних дел по поводу кёпеникских событий. Министр юстиции, Франц Гюртнер, в ответ на этот запрос издал «распоряжение о помиловании» не

только кёпеникских убийц, но и всех, кто ««активно действовал» летом 1933 года в рамках борьбы с марксистской угрозой.

[121] На самом деле все обстояло не так радужно. Нацисты получили на выборах 43,91%. Социал-демократы — 18,25%, коммунисты — 12,32%, католическая Партия Центра —11,25%, Немецкая народная партия —1,1%. Это были партии антинацистские. Получалось, что даже без нацистской чистки в парламенте голосующих против нацистских законов было бы 42,2%. Надо приплюсовать еще мелкие националистические партии, вскоре поглощенные нацистами, и получится, что даже без чистки в рейхстаге у нацистов было подавляющее большинство — 57,18%.

[122]Флаг Веймарской республики — черно-красно-золотой — вместе с конституцией Германии был принят 19 августа 1919 года Учредительным народным собранием в городе Веймаре. Черно-бело-красный флаг—флаг Германской империи. Монархисту Паулю фон Гинден-бургу он был милее, чем революционно-оккультный партийный флаг нацистов: красное знамя, в центре белый круг с черной свастикой. 12 марта 1933 года Гин-денбург издал указ: отныне у германского государства было два(!) флага:

нацистский и кайзеровский. 15 сентября 1935 года нацистами был принят «Закон о флаге рейха». С этого времени флагом Германии стал нацистский партийный флаг.

[123] «День Потсдама» (День национального обновления) — торжества в честь созыва нового рейхстага, прошедшие 21 марта 1933 года в бывшей королевской и императорской резиденции — Потсдаме. Первое массовое нацистское празднество, срежиссированное Йозефом Геббельсом. Кульминацией стала встреча престарелого маршала (Гивденбурга) и молодого политика (Гитлера). Маршал (в пышной военной форме) пожимает руку почтительно склонившегося перед ним политика во фраке и цилиндре. (Цилиндр Гитлер, понятное дело, снял.) Встреча произошла перед гарнизонной церковью Николаискирхе. После чего было торжественное богослужение в той же церкви. Депутаты-католики отслушали мессу в расположенной рядом католической приходской церкви. Социал-демократические и коммунистические депутаты не принимали участия в «Дне Потсдама». Рядовые депутаты не пришли, а руководители фракций, которые должны были получить приглашения, их не получили, поскольку, согласно объяснению министра внутренних дел Вильгельма Фрика, «были заняты на общественно полезных работах в концлагерях»».

[124]В качестве рейхсканцлера Гитлер принес присягу на верность конституции Веймарской республики, каковую он нарушал несчетное количество раз.

[125] Приветствие «Хайль Гитлер» (Да здравствует Гитлер) было введено Рудольфом Гессом. Во время одного из партсъездов по окончании речи Гитлера Рудольф указал на фюрера и заорал: «Хайль Гитлер!» Зал подхватил этот крик, и с той поры приветствие стало таким же атрибутом нацизма, как и «римский салют», вскинутая вверх правая рука. После покушения на Гитлера 20 июля 1944 года нацистское приветствие было введено в обязательном порядке в вермахте. В гражданской жизни никто не предписывал законодательно вскидывать при встрече руку и орать «хайль», но если ты не отвечал на такое приветствие, то у тебя могли возникнуть проблемы.

26 См. примеч. 121. Не 56%, а в лучшем случае 42%.

[127] В данном случае Хафнер не справедлив по отношению

к немецким коммунистам: Эрнст Тельман, председатель ЦК КПГ, арестован 3 марта 1933 года; Эдгар Джозеф Андре, член ЦК КПГ, руководитель гамбургского

«Рот Фронта», арестован 3 марта 1933 года; Вернер Шо-лем (брат еврейского мистика, богослова и теолога Гершома Шолема), член ЦК КПГ, депутат рейхстага, арестован 23 апреля 1933 года; Йон Шер, председатель ЦК КПГ после Тельмана, арестован 1 февраля 1934 года в Берлине и тогда же убит.

[128] Все политические партии Германии того времени вовсю «разыгрывали» национальную карту. В том числе и коммунисты. Их риторика против «грабительского» Версальского мирного договора ничем не отличалась от соответствующей нацистской риторики.

[129] Отто Браун (1872-1955) — немецкий политик, социал-демократ. С 1921 по 1932 год — министр-президент Пруссии. В Германии его называли «красным царем Пруссии». 20 июля 1932 года ничем не проявил свою царственность. «Стильным человеком партии» он стал из-за своего внешнего вида. Огромного роста (1м 90 см), широкоплечий, с мощным голосом. Хафнер все точно описал: 4 марта 1933 года Отто Браун бежал в Швейцарию, где и прожил до 1955 года. В 1940 году вышли его мемуары «Von Weimar zu Hitler» («От Веймара до Гитлера»).

[1:50] 21 июня 1933 года распоряжением министра внутренних дел Вильгельма Фрика СДПГ была запрещена как «подрывная и враждебная государству». В этот же день штурмовики захватили помещения и редакции газет Немецкой народной национальной партии. 29 июня ННПП сообщила о своем самороспуске. Это было сигналом для других ненацистских партий. 4 июля 1933 года сообщили о своем самороспуске католическая Партия Центра и Немецкая народная партия. А следом за ними и совсем уж мелкие партии прежней Веймарской республики.

[131]С голосованием социал-демократов 19 мая 1933 года все не так просто. 10 мая 1933 года помещения их пар-

тии и редакции их газет были захвачены штурмовиками. Но дело не только в этом. 17 мая 1933 года Гитлер выступил в рейхстаге со своей внешнеполитической программой. Эта речь была вызвана обращением американского президента Франклина Делано Рузвельта к главам 44 государств. Рузвельт призывал правительства этих стран отказаться от тяжелого наступательного вооружения, не производить бомбардировщики, танки, подвижную тяжелую артиллерию. В ответ на это Адольф произнес самую мирную свою речь: «Предложение, внесенное президентом Рузвельтом, о котором я узнал вчера вечером, заслуживает самых теплых слов благодарности германского правительства. Оно

готово одобрить такой способ преодоления международного кризиса... Предложение президента—это луч надежды для каждого, кто желает сотрудничать в деле сохранения мира... Германия целиком и полностью за запрещение всякого наступательного оружия, если вооруженные страны, в свою очередь, уничтожат наступательное оружие... Германия также готова ликвидировать все свои вооруженные силы и уничтожить те небольшие запасы оружия, которые у нас еще имеются, если также поступят соседние государства... Германия готова пойти на любой торжественный договор о ненападении, ибо думает она не о нападении, а о собственной безопасности... Война—это безграничное безумие. Нам, немцам, чужд образ мыслей, характерный для людей прошлого столетия, которые полагали, что из поляка или француза можно сделать немца... Французы, поляки и другие народы — наши соседи, и мы осознаем, что никакие исторически мыслимые обстоятельства не могут изменить эту реальность...» После чего Гитлер предупредил, что Германия хочет равенства в вооружениях с другими странами. Если этого равенства не будет, Германия оставляет за собой право выйти из Лиги Наций и Комиссии по разоружению. Почему бы1 и не проголосовать за доверие такому внешнеполитическому курсу?

132 «Рот Фронт» (Roter Frontkampferbund, Союз красных фронтовиков) — военизированная организация КПГ. Создана в 1924 году в Тюрингии, после того как войска рейхсвера свергли законно избранное коммунистическое правительство земли Саксония. Первый председатель «Рот Фронта» — Вильгельм Пик, будущий президент ГДР; впоследствии им руководил Эрнст Тельман. «Рот Фронт» был запрещен в Германии 6 мая 1929 года после так называемого «красного мая» 1929 года. Берлинская первомайская демонстрация 1929-го, в которой участвовали «рот-фронтовцы», переросла в столкновения с полицией. Побоище продолжалось три дня. Погибло тридцать три человека, было ранено около двухсот. С 6 мая 1929 года «Рот Фронт» в Германии был на нелегальном положении. Широкое распространение получило символическое приветствие «ротфрон-товцев»: вскинутый вверх сжатый кулак правой руки. Это приветствие ввел в оборот руководитель гамбургского «Рот Фронта» Эдгар Андре.

133 «Рейхсбаннер» (Reidh > bcurner Schwarz-Rot-Gold. Bund deut-scher Kiegsteilnehmer und Republikaner; Имперский черно-красно-золотой. Союз германских участников войны и республиканцев)—межпартийная (но фактически руководимая социал-демократами) военизированная организация, созданная для защиты Веймарской республики от ее врагов — экстремистов

и радикалов. «Рейхсбаннер» был учрежден членами Социал-демократической партии Германии, Партии Центра, Немецкой демократической партии и профсоюзами 22 февраля 1924 года в Магдебурге в ответ на «Пивной путч» нацистов в Мюнхене и гамбургское восстание коммунистов

в 1923 году. являлся ветеранской орга

низацией, использовавшей военный опыт участников Первой мировой для защиты республики от национал-социалистов, монархистов и коммунистов. Отсюда и название организации (черно-красно-золотой — цвет флага Веймарской республики). К 1932 году по собственным данным организации, «Реейхсбаннер» насчитывал более трех миллионов человек. В марте 1933 года «Режсбаннер» запрещен.

[134] «Стальной шлем» отнюдь не сочувствовал нацистам.

Стычки между штурмовиками и «стальношлемцами» были достаточно серьезны, настолько, что в «Сттагьной шлем» стали вступать бывшие «ротфронтовцы». Следом за ними в «Сттшьной шлем» пошли и «рейхсбан-неровцы». Дело закончилось тем, что в Брауншвейге было достигнуто соглашение между бывшим руководством брауншвейгского «Рейхсбаннера», бывшим руководством брауншвейгского «Рот Фронта» и руководством «Стального шлема». Все бывшие боевики двух запрещенных организаций вступают в пока еще не запрещенный «Сттагьной шлем». Впрочем, этим дело не закончилось, этим оно началось. 27 марта 1933 года к зданию казармы «Стального шлема» пришло около четырех тысяч человек — записываться. Площадь перед казармой была окружена вооруженными штурмовиками, полицией и эсэсовцами. По сигналу нацисты принялись палить в толпу и избивать раненых дубинками. толпу, нацисты ворвались в казар

му «Стального шлема» и принялись за «стальношлем-цев». Все это происшествие получило название «Путча „Стального шлема“». 27 апреля 1933 года «Сттшьной шлем» был распущен.

[135] «Павшие в марте» («Marzgefallenen») —двойная ирония. Так в немецкой исторической и культурной традиции принято именовать погибших в Берлине в марте

1848-го, во время революции. Их похороны превратились в мощную революционную демонстрацию. «Павшим в марте» — так называется знаменитая картина (1849) Адольфа Менцеля, на которой изображены эти похороны.

[136] Бойкот еврейских магазинов и учреждений, евреев-врачей, евреев-адвокатов 1 апреля 1933 года был первым антиеврейским мероприятием нацистской власти. Он был проведен по инициативе нацистской общественной организации «Движение за

защиту родины» в ответ на организованные еврейскими организациями в Нью-Йорке в марте 1933 года антинацистские митинги и демонстрации. Выступавшие на этих митингах люди рассказывали о начинающемся нацистском терроре в Германии и предлагали правительству США ввести экономические санкции против «встающей с колен» Германии.

[137] Юлиус Штрайхер (1885-1846)—член нацистской партии с 1921 года. Во время «Пивного путча» шел вместе с Гитлером и Людендорфом в первой колонне путчистов. По профессии учитель. Ученики должны были приветствовать его криком: «Хайль Гитлер!» Уволен из школы в 1928 году. В 1923-м начал издание самой антисемитской газеты Германии «Der Sturmer» («Штурмовик»»). Газета печатала статьи о ритуальных убийствах, совершаемых евреями, о похотливости еврейских самцов, растлевающих арийских девушек, о всемирном еврейском заговоре и прочем подобном. Повешен по приговору Нюрнбергского суда в 1946 году.

18 «Сумерки человечества» («Menschheitsdammerung») — название антологии поэзии немецкого экспрессионизма, составленной в 1919 году журналистом и писателем Куртом Пинтусом.

19 Груневальд—район вилл и парков на западе Берлина. В 1880-е годы прусское правительство с подачи Бисмарка продало западные окраины города с лесным массивом Грюневальд банковскому консорциуму, каковой и построил в Грюневальде район вилл с общественными парками, водоемами для купания, прогулочными и велосипедными дорожками. Грюневальд должен быть хорошо известен современному русскому читателю благодаря роману «Дар» Владимира Набокова. Именно там, в Груневальде, происходит встреча полуголого Го/дшова-Чердынцева и наглухо запакованного в теплые одежды Кончеева.

[14]0 Ораниенбург — город в Бранденбурге, резиденция бранденбургских курфюрстов. 21 марта 1933 года в здании бывшей фабрики, захваченной штурмовиками, был организован концлагерь. Хафнер прав: это был первый нацистский концлагерь. Дахау под Мюнхеном был организован 22 марта 1933 года. Первыми заключенными Ораниенбурга были коммунисты, сорок человек. В июле 1934 года, после «Ночи длинных ножей», концлагерь Ораниенбург был закрыт. В этот момент в нем было три тысячи человек. В 1936 году на месте Ораниенбурга был построен огромный концлагерь Заксенхаузен.

[141] «Катакомба» — знаменитое берлинское кабаре, основанное в 1929 году Вернером Финком. В кабаре выступали Бертольт Брехт, Курт Вайль. Именно в этом кабаре была впервые

исполнена песня, ставшая позднее суперхитом — «Лили Марлен». В 1935 году «Катакомба» была закрыта по личному распоряжению Геббельса.

[142] Берлинская тюрьма Плётцензее основана в 18681879 годах. Во времена нацизма двор корпуса № 1 был главным местом казней приговоренных к смерти нацистской Народной судебной палатой. До 14 октября 1936 года осужденным отрубали головы топором. 14 октября 1936 года Гитлер распорядился доставить во

двор Плётцензее гильотину. С 1951 года функционирует музей тюрьмы Плётцензее.

[143] Веррер Финк (1992-1998) — знаменниый немецций кабаретист, актер, писатель. Личность и впрямь уникальная, замеченная весьма многими: от английского писателя Ишервуда до советского писателя Пииуля. Шутки Иниа по сию пору разгуливают по Интернету: «Стон— это мышь, сделанная по госзаказу»; «Госуудрсльенная экономика—та, при которой едят все, но посуду мыть не хочет ниито». В 1935 году не просто закрыли иаба-ре Иниа, самого Иниа отправили в конц лагерь Эстер-веген. Впрочем, Иини недолго пробыл в концлагере. Он был выпущен по личному распоряжению Геринга. Некоторое время был без работы. В1938 году ему разрешили открыть кабаре «Подвал комиков». Это кабаре любил посещать маршал Паулюс. Пикуль в «Площади павших борцов» пишет, что каждое свое выступление Иини начинал фашистским приветствием «Хшйль Гитлер»; вполне понятно, что он приделывал к этому приветствию такой хвостик, что в 1938 году кабаре было вновь закрыто, а Иинку угрожал новый арест. Чтобы избежать ареста, Иини пошел на фронт добровольцем. Иранция, Советский Союз, Италия. Железный крест, медаль «За зимнюю кампанию 1942 года». Сам Иини называл эту медаль «Медалью мороженого мяса». В 1942 году Иини был арестован и отправлен в следственную тюрьму вермахта в Берлине. В 1944 году из этой тюрьмы его отправили на фронт в Италию. Там он попал в американский плен. С 1946 года он устраивает концертные турне по Германии с «акустической автобиографией» — ««Am besten nichts neues» («На личном фронте — без перемен»; каламбур «Im Westen, на Западном фронте—am besten, лучше всего»). В1948 году Иини основал кабаре «Сирена» в Цюрихе и «Мьппелов-ка» в Штутгарте. Выступал с программой в мюнхен-

ских кабаре. Довольно много снимался в кино. Его, в частности, снимали Франсуа Трюффо в «Любви двадца-тилетник» (1962), Макс Офюльс в «Лоле Монтес» (1955), Фассбиндер в телесериале «Восемь часов не каждый день» (1972-1973). Самыми

известными фильмами с участием Финка были <«^<^;^;ы ддя господина прокурора» (1959) Вольфганга Штаудте и комедия «Ура! Школа горит» (1969) Вернера Якобса. В 1972 году вышла его автобиография «Что же дальше, старый шут?».

[144] Этт так. Ффикббыпппуяяен и любим всеми. В концлагере комендант попросил его провести концерт для заключенных и охранников. После концерта к нему подошел лауреат Нобелевской премии мира журналист Карл фон Осецкий, пожал руку и сказал: «Я жалею, что ни разу в Берлине не был в вашем кабаре». После первого построения в казарме вокруг Финка сгрудились солдаты с просьбой надписать открытки с его снимками. После автограф-сессии Финка был вызван в штаб к полковнику. Полковник предложил сесть, протянул сигару и поинтересовался, какие у Финка проблемы. Финк, которому (по словам его любимого героя Швейка) вовсе не улыбалось, наложив полные подштанники, под ураганным огнем идти в атаку «за родину за фюрера», сразу сказал, что проблема у него одна: он — не солдат, а артист. Полковник понял, куда клонит Вернер Финк, помрачнел и ответил: «Вы — гениальный артист, Финк, сыграйте хорошего солдата. У вас получится...» — и чтобы сгладить впечатление от ясно продемонстрированного — поблажек в военном смысле не будет никаких — полковник поинтересовался: «Почему вас так невзлюбил этот негодяй?» Финк понял, что речь идет о Геббельсе, и ответил вполне предсказуемо, мол, об этом лучше спрашивать у негодяя, а не у него. Хотя причину он знал. И эта причина свидетельствовала.: при всей доброте у Вернера

Финка хватало и жесткости, и храбрости. Однажды в его кабаре пришел Геббельс. После представления в гримерку к Финку пришли люди от министра культуры и передали, что доктор Геббельс хотел бы поговорить с артистом. Артист отрезал: «С доктором Геббельсом мне не о чем разговаривать..»»

[145] «Зеленая карета» — жаргонное обозначение полицейского фургона в Германии до 1945 года. Аналог советских «черных марусь».

[146] В Ветхом Завете про молодого царя Саула сказано, что среди народа он возвышался на целую голову «и не было никого из Израильтян красивее его» (1 Цар 9, 2).

[147] Ваннзее — район вилл, парков и островов в Берлине, вокруг озера Ваннзее. На одном из островов Ваннзее покончили с собой немецкий писатель Генрих фон Клейсг и его подруга Генриэтта Фогель. Но печально известен район Ваннзее не этим. 20 января 1942 года в Ваннзее на вилле Марпир прошло совещание нацистских главарей по поводу «окончательного решения еврейского вопроса». Именно после этого совещания

нацистская машина физического уничтожения евреев заработала на все обороты.

[148] «Атака» («»Aigriff») — нацистская газета. Основана Геббельсом в 1927 году. Девиз на первой странице: «Да здравствуют угнетенные! Долой эксплуататоров!» Считалась едва ли не личной газетой Геббельса, хотя он никогда не был ее главным редактором. Выходила до 1945 года. «Знак бури» — статья Геббельса.

[149] Рембрандт Харменс ван Рейн (1606-1669) — голландский художник. В последние годы жизни сблизился с христианскими сектантами (сощшианами и менно-нитами) и евреями. Переселился в еврейский квартал. Его другом стал видный еврейский теолог и общественный деятель, основатель первой еврейской типографии в Голландии, изгнанный из Испании, Ме-

наше бен Исраэль (1604-1657). В 1655 году Менаше ездил в Англию и добился от Кромвеля отмены указа Эдуарда I об изгнании евреев (1290) из Англии. Благодаря Менаше в Лондоне была построена первая синагога. Некоторые биографы Рембрандта полагают, что дочь Менаше была любовницей художника и именно ее он изобразил на своем знаменитом и таинственном полотне «Еврейская невеста». Рембрандт написал портрет старого Менаше бен Исраэля, кроме того, оставил очень много портретов еврейских стариков и старух, обитателей еврейского квартала в Амстердаме.

[150] Навуходоносор II (ок. 634-562 до н. э.) — царь Нововавилонского царства. В 586 году до н. э. захватил и сжег Иерусалим. Разрушил храм Соломона. Уцелевшие жители Иудеи были угнаны в рабство. Согласно Библии, в старости Навуходоносор сошел с ума, вообразил себя быком, ходил на четвереньках и ел траву. Любопытно, что Адольф Гитлер был вегетарианцем.

55 И Венгрия, и Чехия, и Словакия были до 1919 года частями федеративной Австро-Венгерской империи. После Первой мировой войны в соответствии с мирными послевоенными соглашениями были установлены новые границы новых государств, образовавшихся из прежней Австро-Вешерской империи.

12 На самом деле это очень важное место в книге, которое стоит прокомментировать очень тщательно. Хафнер перечисляет загадки прихода Гитлера к власти и установления нацистской диктатуры. Понятно, что между генералом фон Бломбергом и Гитлером были переговоры по поводу акции «Ночи длинных ножей». Понятно, что высшему офицеру рейхсвера ни к чему были такие военизированные соединения, как банды штурмовиков.

Понятно, что и Гитлеру его слишком самостоятельные, слишком вооруженные бойцы были

ни к чему Но в ходе акции были уничтожены не только штурмовики, но и... генерал рейхсвера, последний канцлер Веймарской республики Курт фон Шлейхер. Означает ли это, что Шлейхер, на дух не переносящий Гитлера и его банду, вел переговоры с руководством штурмовиков? Скорее всего, нет. Скорее всего, Бломберг просто сдал коллегу, а получил за это уничтожение экстремистов, затем собственную отставку, Вторую мировую и гибель своей страны. Кто поджег рейхстаг? До сих пор неизвестно. Но так или иначе, ван дер Люб-бе, желавший нанести удар нацистам, нанес вред и себе, и своей партии, и Германии, и мир)).. Эрнст Обер-форен (1869-1933)—немецкий политик, юрист. Лидер парламентской фракции Немецкой национальной народной партии, крайне правой, националистической, антисемитской организации Веймарской республики. 27 апреля 1933 года в английской газете Guardian» появился материал под заглавием «Меморандум Оберфорена». Проанализировав все известные ему факты, квалифицированный юрист Оберфорен пришел к выводу что никакого коммунистического заговора, связанного с поджогом рейхстага, не было. Поджог рейхстага — провокация нацистов с целью установить диктатуру. 7 мая Эрнст Оберфорен был найден убитым в своем доме. Официальная версия — самоубийство. Предсмертной записки не было. Все вопросы, заданные здесь Хафнером, имеют прямое отношение к теме его книги. Особенно последний: почему Отто Браун сбежал (см. примеч. 129), а Оберфорен застрелился? Потому что Браун испугался, а Оберфорен оказался смелым человеком. И дело тут совсем не в идеологии: Браун — социалист, а Оберхофен — монархист и реакционер. Дело в личности. Один—храбрый, другой—нет. Почему фон Бломберг договаривается с Гитлером, а Шлейхер с Рёмом — нет?

Оба монархически и националистически настроенные офицеры, но один—порядочный человек, а другой — нет. Почему гитлеровцам так везет с поджогом рейхстага? Потому, что находится человек (коммунистических убеждений), который действует так же, как они: по-бандитски, поджогом... Вот и все... Идеология, оказывается, не так уж и важна. Оберфорен и Шлейхер, казалось бы, идеологически мало чем отличаются от нацистов, но есть одно «но»: они — порядочные, храбрые люди. Вот и все...

1 Чан Кайши (1887-1975) — китайский военный и политический деятель. Председатель партии Гоминьдан, после смерти ее создателя, лидера Синьхайской революции (1911) Сунь

Ятсена. Президент Китайской Республики (Тайвань). Убежденный антикоммунист. В 19371945 годах — один из руководителей вооруженного сопротивления японским оккупантам. После поражения в гражданской войне против китайских коммунистов (1946-1949) смог закрепиться только на острове Тайвань. Несомненно, испытывал большие симпатии к фашизму, но в силу сложившихся исторических обстоятельств (война с Японией) никак не мог быть союзником Гитлера в начинающейся мировой войне.

[154] Франклин Делано Рузвельт (1882-1945) — американский политик. Единственный из американских президентов, избиравшийся более чем на два срока. «Новый курс» Рузвельта вывел страну из затяжного экономического кризиса (Ветгикой депрессии 1929-1933 годов). С самого появления Гитлера на политической арене Рузвельт занял резкую антинацистскую позицию. Принципиальный враг политики (««умиро

творения»»). Смерть Рузвельта 12 апреля 1945 года была отмечена ликованием в третьем рейхе.

[155]Артур Невилл Чемберлен (1869-1940) — английский политик. Лидер Консервативной партии Ветикобрита-нии. Премьер-министр (1937-1940). Идеолог и активный проводник политики «appeasement'a» («умиротворения»), высшим зенитом которой было Мюнхенское соглашение (1938), согласно которому гитлеровская Германия получала чешские Судеты, населенные по большей части немцами. Гитлер не удовлетворился Судетами, а вслед за тем взял всю Чехословакию. Чемберлен печально знаменит своей фразой, сказанной в лондонском аэропорту по прибытии из Мюнхена после подписания соглашения: «Я привез вам мир для целого поколения».

[156] Эдуард Даладье (1884-1970) — французский политик. Лидер Партии радикальных социалистов. Премьер-министр Франции в 1933,1934,1938-1940 годах. Участник Первой мировой войны. Военный министр в правительстве Народного фронта. В 1938 году участвовал в Мюнхенском соглашении. В 1943 году отправлен в концлагерь Бухенвальд, где находился до конца войны. Мэр Авиньона с 1953 по 1958 год.

[157] Фердинанд Фош (1851-1919) — французский военный деятель, маршал Франции (с 6 августа 1918). В начале Первой мировой войны командовал 20-м армейским корпусом, затем 9-й армией, участвовавшей в битве на Марне, после которой было остановлено немецкое наступление на Париж. В мае 1917 года — начальник Генерального штаба французской армии. В апреле 1918 года, после начала «весеннего наступления» немцев под руководством Людендорфа и Гивденбурга, —

главнокомандующий союзными войсками. Провал этого наступления был связан не только с несомненным полководческим талантом Фоша, но и с тем, что прибывшие после подписания Брестского мирного договора с Советской Россией на Западный фронт солдаты Восточного фронта совсем не хотели ни погибать, ни наступать. Они уже получили опыт братания и втыкания штыков в землю. 11 ноября 1918 года Фош в своем штабном вагоне в Компьене подписал перемирие с представителями германского командования, фактически завершившее Первую мировую войну 22 июня 1940 года по настоянию Гитлера в том же вагоне была подписана фактическая капитуляция Франции.

[158] Дуглас Хейг (1861-1928) — английский военный деятель. Фельдмаршал (1917). С1915 года—командующий британскими войсками во Франции. Руководил британскими войсками в битве на Сомме (1916) и Пашен-дейльском наступлении (1917). Все эти сражения были чрезвычайно неудачными для союзников. Ирония Хафнера заключается в том, что если Фош и в самом деле был талантливым полководцем, то о Дугласе Хейге этого сказать никак нельзя. Его стратегия и тактика ничем принципиально не отличалась от стратегии и тактики, противостоящих ему Гинденбурга и Людендорфа.

19 Выравнивание (Gleichschaltung) — нацистская политика, проводившаяся в 1933-1934 годах в полном согласии с их лозунгом «Ein Reich, ein Volk, eine Partei» (Юдин рейх, один народ, одна партия»»). Направлена она была не только на захват нацистами всех местных госучреждений, но и на полное разрушение федеративной системы Веймарской республики (да и Германской империи). Нет никаких саксонцев, баварцев, пруссаков, есть немцы, и руководят ими на местах не выбранные ими лидеры каких-то партий, а назначенные из центра опытные руководители, гауляйтеры.

[1б]ор$_{ечь}$ идет о знаменитом случае из прусской судебной практики, судебном процессе, выигранном голландским мельником ван дер Бошом (подданным Пруссии) у короля Пруссии, Фридриха II. Во время строительства своего «Версаля» (или «Петергофа») потсдамского парка Сан-Суси Фридрих II наткнулся на мельницу ван дер Боша. Предложил мельнику продать мельни-

цу и земельный участок. Мельник отказался. Король снес мельншу. Мельник подал в суд. И выиграл. Король выплатил штраф. Мельница была восстановлена и не включена в территорию парка. Фридриху II приписывают фразу брошенную им по окончании судебного процесса: «Есть еще судьи в Берлине».

[161] Национал-социалистический союз юристов (19281945) — организация, созданная в нацистской партии в 1928 году Гансом Франком (1900-1946). С 1936 года— общегосударственная организация юристов нацистского рейха. Каждый юрист с 1936 года должен был стать членом этой организации. В противном случае он не мог работать по своей специальности.

[162] Наполеоновски афоризм: ««Плох Тот солдат, что не носит в своем солдатском ранце маршальский жезл».

[163] То есть сторонник Веймарской республики, проклинаемой в это время со всех трибун.

[1M] Образованный человек демонстрирует другому образованному человеку, что он в материале. Слово «фашизм» было придумано Муссолини на основе латинского слова «фасция» — пучок крепко связанных прутьев, образующих ликторский жезл в Древнем Риме.

ˆОфициально этот список назывался «(Список лишенных гражданства Германии». Он был опубликован 25 августа 1933 года. Это был первый из числа таких списков. Всего за время нацистской диктатуры было опубликовано 359 списков лишенных гражданства. Последний был напечатан 7 апреля 1945 года. Первый список состоял из 33 фамилий, в числе лишенных гражданства были писатели Генрих Манн, Курт Тухольский, Эрнст Толлер, Альфред Керр, Лион Фейхтвангер; математик Эмиль ˆтмбель, педагог Фридрих Вильгельм Ферстер и многие другие. Младший брат Генриха Манна — Томас попал в третий список лишенных гражданства вместе с Брехтом и Эйнштейном. Эти списки

принимались на основании нацистского «Закона о лишении гражданства» от 14 июля 1933 года, согласно которому лишались гражданства люди, получившие его после Ноябрьской революции 1918 года, если они к этому времени были совершеннолетними, а также те граждане Германии, что, находясь за границей, позволяют себе антигосударственные высказывания. Имущество лишенных гражданства конфисковывалось. Первый список «предателей родины» быш вывешен в Немецком клубе в Лондоне с подписью: «Всфе-тите кого-нибудь из них, забейте насмерть».

[166]Иимется в виду ГансФлеш (1889—1995?) — ввач, оодн из создателей радио в Германии, рауиоуиксор и радиоактер. Участник Первой мировой войны. Вместе со своими друзьями, Куртом Магнусом (1887-1962) и Альфредом Брауном (1888-1978), создал первую радиокомпанию в Германии. Бытл заведующим культурные программ, в которых принимали участие Бертольт Брехт, Вальтер Беньямин, Теодор Адорно, Пауль Хиндемит. В августе 1933 года Ллеш быгл арестован и отправлен в концлагерь

Ораниенбург, затем в берлинскую тюрьму Моабит. В рамках политики «выравнивания» радиокомпания Магнуса, Брауна и Ллеша быгла национализирована в 1934 году, после проведения показательного, сфабрикованного нацистами процесса, на котором Магнус, Браун и Ллеш быгли обвинены в коррупции. Для этого спектакля Ллеш бытл привезен из Моабита. Вышел из заключения в 1936-м. Работал врачом. В1943 году призван в армию. Работал в госпитале в городе Кросен-ам-Одер (ныне Кросне на Одере, Польша). Эвакуировался с госпиталем. Госпиталь довезли до Берлина. Ллеш остался с солдатами. Оказыгвал помощь раненым. Последнее полученное его семьей письмо датировано 1 апреля 1945 года. Пропал без вести между Губеном и Берлином.

[167] Карола Неер (1900-1942) — немецкая артистка театра и кино. Любимая артистка молодого Брехта. Первая исполнительница роли Поли Пиччем в «Треехрошовой опере» Брехта. В 1931 году сыграла ту же роль в фильме Георга Пабста. В 1933 году эмигрировала из Германии вместе со своим мужем Анатолием Беккером. Сначала Беккер и Неер жили в Праге. В 1934 году эмигрировали в СССР. 25 июля 1936 года Беккер и Неер были арестованы. Беккер был приговорен к расстрелу. Карола Неер осуждена на десять лет лагерей. Умерла в Соль-Илецком лагере в 1942 году. Ее сын Георгий был отправлен в детдом.

[18] Ганс Отто (15^^0^1933) — немецкий артист. Первый герой-любовник тогдашней немецкой сцены. Он играл принца Гомбургского в одноименной трагедии Клей-ста. В «Фаусте» он играл вместе с Грюндгенсом (Мефистофель) и Вернером Краусом (Вагнер). Пришло время — и Грюндгенс стал первым артистом-наци, Вернер Краус — вторым. Грюндгенс пережил войну. Приезжал в Советский Союз со своим театром и своей коронной ролью — Мефистофелем. Грюндгенсу посвящен разоблачительный злой роман Клауса Манна «Мефисто» (1936). Грюндгенс многим помогал при нацистах. Это важно, когда излагаешь историю Ганса Отто. Отто был коммунистом. Создателем и председателем первого немецкого актерского профсоюза. Единственный фильм, в котором снялся Отто, назывался «Украденное лицо». Знаменитый австрийский режиссер Макс Рейнхардт в январе 1933 года предложил Гансу Отто ангажемент в Вене. Он отказался и остался вести подпольную работу Через неделю Ганс Отто был схвачен штурмовиками. Его избили на месте ареста, потом в пивной. Потом его повезли в грузовике вместе с другими арестованными. По дороге он утешал других, таких же и так же измолоченных бедолаг. Его до-

ставили в гестапо, потом в полицай-президиум. Полицейские вернули его штурмовикам. Те выбросили артиста из окна третьего этажа своей казармы. Геббельс запретил упоминать его имя в печати и сообщать о его смерти. Его похороны оплатил Грюндгенс. В Потсдаме существует театр его имени. В 2006 году там был поставлен спектакль памяти Анны Политковской.

169 Адальберт Матковский (1857-1909) — немецкий артист. Один из лучших на немецкой сцене исполнителей ролей Фиеско, Тассо, Франца Моора. Диапазон его ролей был очень широк. Ему удавались и комические роли. В истории немецкого театра он считается одним из значительных интерпретаторов шекспировских ролей. Его популярность была так велика, что он получил титул «королевского придворного артиста».

1˚ Это была казарма штурмовиков.

16 Очевидно, имеется в виду Вернер Финк, но это была ошибочная информация.

172 Сожжения книг, растлевающих немецкую молодежь, организовывались нацистским Немецким студенческим союзом и гитлерюгендом с марта 1933 года в рамках «Аещии по устранению негерманского духа». Самое масштабное сожжение книг было проведено 10 апреля 1933 года в Берлине на Опернплац. Было сожжено 25 000 томов. Писатель Оскар Мария Граф, чьи книги не только не были сожжены, но даже попали в список рекомендованной нацистами литературы, обратился с открытым письмом к нацистским властям Германии: «Я не заслужил такого бесчестья! Всей своей жизнью и всеми своими сочинениями я приобрел право требовать, чтобы мои книги были преданы чистому пламени костра, а не попали в кровавые руки и испорченные мозги коричневой банды убийц». После чего его книги попали в список сжигаемых, а сам он эмигрировал.

173 Идеология крови и почвы (Blut-und-Boden-Ideologie) — центральная, осевая идеология национал-социализма, прославляющая здоровые крестьянские, деревенские корни германского духа. Под стать этой идеологии была создана литература «крови и почвы», прославляющая здоровый крестьянский быт, патриархальные нравы, не затронутые тлетворным влиянием городской цивилизации.

174 Лион Фейхтвангер (1884-1958) — немецкий романист. Один из самых читаемых в мире немецких писателей. Работал в основном в жанре исторического романа. Кроме того, что он был левых убеждений, он был еще и евреем, что предопределило его помещение в первый список лишенных немецкого гражданства, предателей родины.

175 Йозеф Рот (1894-1939) — австрийский писатель. Самый

знаменитый его роман «Марш Радецкого» (1932). Еврей по происхождению, что автоматически лишало его права быть читаемым в нацистской Германии.

[176]Якоб Вассерман (1873-1934) — немецкий писатель. Один из самых популярных писателей Германии начала XX века. Еврей по происхождению, он не собирался эмигрировать из Германии, в которой запрещались и сжигались его книги.

i «Beellner Tageblatt» («Вершинский ежедневнике») — крупнейшая либеральная газета Германии (1872-1939). Неофициальный орган Немецкой демократической партии. Главный редактор Теодор Вольф был уволен на следующий день после выборов в рейхстаг 5 марта 1933 года. Предупрежден о грядущем аресте. Бежал в Швейцарию. Жил во Франции, где и был арестован нацистами в 1942 году. Погиб в концлагере. В 1934 году Геббельс разрешил «Beeliner Tageblatt» не печатать откровенно нацистские пропагандистские материалы. 27 января 1939 года газета была закрыта.

[178] «Vossische Zeitung»—старейшая немецкая газета (16171934). Во времена Веймарской республики — беспартийный орган либеральной буржуазии. В литературном приложении к этой газете впервые был напечатан самый ненавистный для нацистов роман немецкой литературы «На Западном фронте без перемен» (1928) Эриха Марии Ремарка. Закрыта 31 марта 1934 года.

[179] С журналом «Die Tat» («Дело», 1908-1944, с 1939 года «Das XX. Jahrhundert», «XX век») дело обстояло проще и сложнее, чем это описывает Хафнер. Идейной измены у сотрудников «]Die Tat» не было. С сентября 1929 года этот журнал действительно становится одним из самых влиятельных интеллектуальных периодических изданий Веймарской республики, известных за пределами Германии. Но это был орган неоконсервативных интеллигентов. По-нынешнему говоря, «краснокоричневых». Их объединяла критика капитализма, парламентской демократии, проповедь национальной автаркии, воспитание новой элиты, новой аристократии. Сотрудники этого журнала были стопроцентно уверены в гибели старого капиталистического мира, сомневались только в одном: кто придет ему на смену — фашисты или коммунисты? Ясно, что могильщиками этого мира будут или те, или другие. По таковой причине журнал вел политику казавшегося тогда странным союза крайне левых и крайне правых. В журнале печатались и марксист Вальтер Беньямин, и любимый писатель Гитлера Эрнст Юнгер (1895-1998). Нацистов журнал не привечал — это верно. Они были слишком тупыми и демагогичными для интеллектуалов из

«Die Tat», но переход их на сторону нацизма не должен казаться удивительным.

[18°] Главным редактором «Die Tat» до марта 1933 года был Ганс Церер (1899-1966). Главное, что он позволил себе, была женитьба на еврейке. Это закрывало в нацистской Германии путь к любой карьере. После ноябрьских погромов 1938 года Цереру удалось вывезти жену в Англию. В Англии он с ней развелся, вернулся в Германию, работал в издательствах. После 1945 года восстановил свой брак. С 1934 по 1938 год действительно писал приключенческие романы.

[181] Фердинанд Фрид (настоящее имя Фердинанд Фридрих Циммерман, 1898-1967) — немецкий журналист. Ведущий экономический публицист «Die Tat». С лета 1932 года — близкий друг руководителя SS Генриха Гиммлера. 2 сентября 1934 года принят в SS по рекомендации Гиммлера. В нацистскую партию вступил в 1936 году. В 1948-1953 годах работал в церковной газете в Гамбурге. С 1953 по '1967 год был ведущим экономическим публицистом газеты «Die Welt».

[1Ю] Эрнст Вильгельм Эшман (1904-1987) — немецкий журналист, социолог и философ. После отставки Церера вместе с Вирзингом руководил журналом «Die Tat». В нацистскую партию вступил в 1940 году. С 1941 по 1945 год — руководитель французского отделения Немецкого научного института за рубежом. После войны — профессор философии и социологии в вестфальском Вильгельмс-Уюиверситете в Мюнстере.

[1³] Гизельхерр Вирзинг (1907-1975) — немецкий журналист. С октября 1933 года главный редактор «Die Tat». В 1934 году вместе с Фридом вступает в SS. В том же году начинает работать в разведке рейха, SD (Sicher-heitsdienst des Reichsfiihrers SS; Служба безопасности рейхсфюрера SS). С 1938 года работает в Институте по изучению еврейского вопроса Альфреда Розенберга. С 1943 по 1944 год организует нацистскую пропаганду на оккупированной части СССР. В 1945 году в американском плену. Соглашается на сотрудничество с американской разведкой. В 1948 году выпущен на свободу Становится главным редактором церковной

газеты «Christ und Welt» («Христос и мир»), каковым и пребывает до самой своей смерти в 1975 году.

[184] Макбет — герой одноименной трагедии (1606) Шекспира. Тиран, достигший власти и держащийся у власти убийствами и предательствами. Его королевский пурпур — знак его власти и его преступлений.

[185] Людовик XVIII (1755-1824) — король Франции (18141824). Последовательный враг Великой французской революции. Брат казненного якобинцами Людовика XVI. С1791 года—в эмиграции.

В 1795 году объявил себя королем. Неустанно говорил о том, что якобинцы, а вслед за ними и Наполеон неизбежно потерпят поражение. После поражения Наполеона во Франции была восстановлена монархия, но именно в этот период Реставрации выяснилось, что революционные изменения во Франции невозможно перечеркнуть росчерком королевского пера.

18 Слова Макбета (V, 5) в переводе Бориса Пастернака. Хафнер приводит цитату из «Макбета» в классическом для немцев переводе Фридриха Шиллера.

17 «Живите опасно» — один из лозунгов нацистов. Взят из произведения философа, ставшего классиком третьего рейха, Фридриха Ницше «Утрешняя заря, или Мысли о моральных предрассудках;» (1881): «Бог умер. Живите опасно. Какое лучшее лекарство? Победа».

18 «Взгглши на них и мимо» — цитата «Божественной комедии» Данте Алигьери (Ад, III, 51). Слова относятся к обитателям преддверия ада. Души людей, которые вообще ничего не сделали в жизни, ни плохого, ни хорошего. Они не достойны ни ада, ни рая. Вергилий с презрением говорит о них Данте: «Они не стоят слов — взгляни на них и мимо».

19 Стендаль (настоящее имя Мари-Анри Бейль, 17831842) — французский писатель. Наполеоновский офицер весьма левых, чтобы не сказать—революционных,

убеждений, Стендаль ненавидел реставрационную Францию.

190 «Штюрмер» («Der Sturmer», «Штурмовик») — газета, основанная Юлиусом Штрайхером. Выходила с перерывами с 1923 по 1945 год. См. примеч. 137.

191 Курфюрсгендамм — знаменитый берлинский бульвар.

В годы Веймарской республики место многочисленных кафе, ресторанов, кабаре. Знак и символ богемной жизни Веймарской республики. Курфюрсгендамм в двадцатые годы называли самым большим кафе Европы. Здесь было «Ромштское кафе» («Romanisches Cafe»), где любили собираться писатели и художники Берлина, аналог парижских «Ротонды» или де Лила».

В годы Веймарской республики на Курфюрсгендамм поселилось довольно много евреев. Именно здесь 12 сентября 1931 года руководитель берлинских нацистов Йозеф Геббельс организовал первый в Германии еврейский погром.

192 Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791) — австрийский композитор и пианист-виртуоз. Псевдоним Раймунда Претцеля, Себастьян Хафнер, составлен из второго имени его любимого композитора Иоганна Себастьяна Баха и из названия 35-й симфонии другого любимого композитора, Моцарта, — «Хафнеровская». Бог Гёте и Моцарта — Аполлон, бог искусства.

19 Национал-сощгалистический мотомеханизированный корпус (1931—1945)—военизированная нацистская организация. До «Ночи длинных ножей» входила в состав штурмовых отрядов. После была подчинена непосредственно фюреру. В организацию принимались как автомобилисты, так и те, кто хотят научиться водить автомобиль. Во время Второй мировой войны подразделения этой организации занимались депортацией евреев.

г99 Такой эпизод есть в любимой книге Гитлера «В стальных грозах» (1920) Эрнста Юнгера. Автор описывает

милые посиделки у французского крестьянина, после которых крестьянин и его семья выгоняются на улицу, а дом взрывают саперы.

195 «Железный фронт» («Die Eiseme Front») — военизированная организация, созданная 96 декабря 9939 года по инициативе «Рейхсбаннера» на основе соглашения между Всегерманским профсоюзным объединением, Всегерманским свободным профсоюзом служащих, СДПГ и Рабочим гимнастическим и спортивным союзом для противодействия нацистской угрозе. Символом «Железного фронта» были три стрелы. Символ расшифровывался двояко: три стрелы направлены в трех врагов республики и демократии: монархистов, коммунистов и нацистов. Или: три силы рабочего движения — партия, профсоюзы и «Рейхсбаннер». 2 мая 9933 года «Железный фронт» был законодательно запрещен вместе с независимыми профсоюзами.

196 Каламбур Хафнера: «vogelfrei» (буквально, свободный как птица) по-немецки означает «вне закона».

197 «Нюрнбергские мейстерзингеры» — опера (1869-9867) Рихарда Вагнера (1893-9883), в которой весьма сильны националистические настроения композитора.

198 Перетолкованная первая строчка из «Песни немцев» (9849) Августа Генриха Гофмана фон Фаллерслебена: «Deutschland, Deutschland uber alles...»(«Германия, Германия превыше всего...»). Песня была написана на мелодию австрийского государственного гимна ««Императорская песня» (9797) Франца Йозефа Гайдна. В королевской Пруссии с 9849 по 9849 год публичное исполнение «Песни немцев» было запрещено, а ее автор уволен с государственной службы (библиотекарь в Королевской Прусской библиотеке). В 98-48-9849 годах «Песня немцев» стала чуть ли не гимном немецкой революции. После объединения Германии (1870-9879) — неофициальный народный гимн Германской империи.

С 11 августа 1922 года — официальный государственный гимн Веймарской республики. При нацистах исполнялась только

первая строфа, начинающаяся словами «Гермгания, Германия превыше всего», дальше пели «Хорста Весселя». После 1945 года «Песня немцев» в Германии запрещена. С 1952 года — официальный гимн ФРГ, но исполняется только третья строфа. После объединения Германии (1990) — официальный гимн. Исполняется только третья строфа.

199 Человек без тени—архетипический сюжет, воплощенный немецким писателем, путешественником и естествоиспытателем Адельбертом фон Шамиссо в знаменитой фантастической повести «Уддтовиетльная история Петера Шлемиля» (1814), о человеке, продавшем свою тень дьяволу.

200 Мк 9, 48.

201 Имеется в виду участие Пруссии в войне против Наполеона 1813-1815 годов, связанное с разжиганием националистических пангерманских настроений, формированием фрайкора, печатанием националистических стихов и брошюр, в общем, со всем тем, с чем само Королевство Пруссия по окончании Наполеоновских войн долго и безуспешно боролось.

202 Имеются в виду войны, которые вели министр-президент Прусского королевства Отто фон Бисмарк и король Пруссии Вильгельм I (будущие рейхсканцлер Германской империи и — соответственно — император) против Дании (1864), Австро-Вещрии (1866) и Франции (1870-1871). Итогом этих войн было объединение Германии под эгидой Пруссии и создание Германской империи (1870-1918).

203фр]идрих Ницше (1844-1900), которого нацисты провозгласили своим учителем, не был ни немецким националистом, ни антисемитом. Хафнер имеет в виду в данном случае вот какую цитату из поздней работы

Ницше «Сверки идолов, или Как философствуют молотом» (1887-1889): «Дорого стоит достигнуть могущества. Могущество одуряет.. Немцы — их называли некогда народом мыслителей,— мыслят ли они еще нынче вообще? Немцы скучают теперь от ума, немцы не доверяют теперь уму, политика поглощает всю серьезность, нужную для действительно духовных вещей — «Гермгшия, Германия превыше всего», я боюсь, что это было концом немецкой философии» (Пер. Н. По-лилова).

204 Имеется в виду католическая Партия Центра. Католики Германии, на которых обрушился бисмарковский удар «Культуркампфа» (1871-1878), никогда не обращались к внепарламентским методам борьбы. Действительно, «Центр» была самой парламентской партией и Германской империи, и Веймарской республики.

205 Имеется в виду речь ^^итл^^ра в рейхстаге 17 мая 1933

года в ответ на предложение Рузвельта об отказе от строительства танков и бомбардировочной авиации (см. примеч. 131).

20[6]«Закон о восстановлении профессионального чиновничества» был принят 7 апреля 1933 года. Первый из расистских законов нацистского рейха. Согласно параграфу 4: «(1) Увольняются чиновники, поступившие на государственную службу после 9 ноября 1918 г. и не имеющие соответствующей квалификации или способностей. Текущее жалованье им будет выплачиваться в течение трех месяцев после увольнения. (2) Эти чиновники лишаются права на временное пособие, пенсию, а также права сохранять за собой чин, форму, медали за выслугу лет». Согласно параграфу 6: «Р^решается увольнять чиновников, не доказавших своими действиями готовность непоколебимо в любой момент встать на защиту интересов государства». Согласно параграфу 3 с госслужбы увольняются все

служащие неарийского происхождения. Исключения делались (до 1938 года) для ветеранов Первой мировой, их детей или их родителей.

[207] Люстгартен (Lustgarten, букв, «парк утех») — крупнейший парк в центре Берлина, на Музейном острове у Городского дворца бранденбургских курфюрстов, прусских королей, германских императоров династии Гогенцоллернов. (^Г^!^<^/ц<^зкой дворец был разрушен во время войны. Его руины демонтированЫ по распоряжению правительства ГДР, на его месте теперь Дворец республики.) Во времена Веймарской республики Люсггартен быш местом проведения митингов и демонстраций, как правило, левых партий. Последний антинацистский митинг в Германии прошел в Люстгартене в феврале 1933 года. На митинг и демонстрацию вышли более 200 000 человек. Нацисты использовали Люстгартен для тех же целей. Именно там организовывались нацистские митинги после февраля 1933 года.

20[8] Роберт Лей (1890-1945) — нацистский профсоюзный деятель. Доктор наук (диссертация по искусственному каучуку). Участник Первой мировой войны. Летчик. В нацистской партии с 1923 года. В мае 1933 года уничтожил все независимые профсоюзы Германии, создал единый немецкий профсоюз «Германский трудовой фронт?», просуществовавший до 1945 года. Уничтожение профсоюзов сопровождалось арестами и убийствами профсоюзные лидеров. Лей быш организатором антиалкогольной кампании в Германии, что вызывало насмешки в кругах нацистской элиты. Сам Лей неоднократно лечился от алкогольной и наркотической зависимости. Покончил с собой в Нюрнберге по предъявлению ему обвинительного заключения. В предсмертной записке он сообщал, что не может справиться с

чувством стыда.

209 Международная организация труда (МОТ) — специализированная международная организация, ведающая вопросами трудовых отношений. Создана 11 апреля 1919 года как структурное подразделение Лиги Наций. Ныне является структурным подразделением ООН. Лей ездил в Женеву на заседание МОТ в конце мая 1933 года. Дело в том, что произошедший в Германии 10 мая 1933 года разгром независимого профсоюзного движения ознаменовался не только арестами и убийствами профлидеров, но и запретом на забастовки. «Германский трудовой фронт» отнял у своих членов право на забастовку, что и было позднее законодательно закреплено в третьем рейхе «Законом о порядке национального труда» от 20 января 1934 года. Вот этот запрет Лей и обсуждал в Женеве. Обсуждение закончилось выходом Германии из Международной организации труда.

2[1]0«Ввдишь зарю на востоке?..» («Siehst du im Osten das Morgenrot?..») — одна из наиболее частых исполнявшихся в рейхе массовых песен. Написана композитором-любителем, купцом и штурмовиком Арно Парду-ном в 1931 году, посвящена Йозефу Геббельсу.

211 «Брацденбургская пустошь» («Marldsche Heide») — неофициальный гимн Бранденбурга. Написан 10 мая 1923 композитором и поэтом Густавом Бюксеншют-цем, чрезвычайно близким к нацистскому движению. Первоначально предназначалась для молодежного туристического движения «Wandeivogel» («Перелетная птица»).

212 Вильмерсдорф — район Берлина. До 1871 года— пригородная деревня. Во второй половине XIX века—район вилл и парков. «Деревня миллионеров». Во время Веймарской республики — район общественных парков. В 1927-1929 годах профсоюз артистов (созданный Гансом Отто) и немецкий союз писателей арендовали

землю для строительства кооперативного дома. Дом был построен. В нем жили социалистически и коммунистически настроенные писатели, артисты и художники. В Берлине этот дом называли «IRoter Block» («Красный блок»). Там жили художник Георг (Джордж) Гросс, писатель Артур Кёстлер, философ Эрнст Блох, социолог Манес Шпербер и многие другие. 15 марта 1933 года нацистами был устроен погром в «колонии писателей». Реквизированные книги, рукописи и картины сожгли на площади перед домом.

213 Танненберг (ныне Стембарк, Польша) — городок в Восточной Пруссии. В августе-сентябре 1914 года здесь были

окружены и разгромлены два корпуса 2-й армии цод командованием генерала А. В. Самсонова (18591914). Так было остановлено наступление русских войск в Восточной Пруссии в начале Первой мировой войны.

214 По Версальскому договору Германия не имела права на военную авиацию. Нацисты добивались отмены этого постановления, как, впрочем, и всего Версальского договора. 16 апреля 1934 года нацистское правительство в ультимативной форме потребовало от Франции признать за Германией право иметь ВВС, равные 50% французских ВВС. 24 июня 1934 года Министерство пропаганды, руководимое Геббельсом, опубликовало сообщение о том, что над Берлином были замечены французские самолеты, которым удалось скрыться, поскольку у Германии нет авиации. После чего Германия, особо не скрывалась, принялась строить люфтваффе, поначалу под названием «полпщейские самолеты».

2[15] Министерство культуры (официально Имперское министерство науки, воспитания и народного образования) с 1934 по 1945 год возглавлял нацист с 1925 года Бернхард Руст. В 1934 году все учебные заведения Германии были огосударствлены. Не осталось ни частных, ни муниципальных школ и гимназий. Воспользовавшись «Звоном о восстановлении профессионального чиновничества», Руст увольнял тысячами учителей и директоров школ, ликвидировал университетскую автономию, изгнал из страны многих видных ученых, в том числе и нобелевских лауреатов. За шесть лет, с 1934 года по 1940 год, число студентов в Германии сократилось с 128 000 до 58 000, что было абсолютно правильно для нацистов, каковым ученые были не нужны—нужны были солдаты. Руст ведал и церковной политикой нацистов. Застрелился 8 мая 1945 года.

[216] Церровная политика нацдсств ччезвьыайно люббпы-на. Будучи убежденным яотихристияоином (хоть и мистиком), Гитлер совершенно правильно отдавал себе отчет в важности церкви как великолепного социального регулятора. Поэтому он старался опереться в церковных кругах на националистические, государ-ственнические силы, отсекая космополитов и гуманистов. Католики (за редкими исключениями, вроде Хойзера, или националистически настроенного като-личесовго духовенства Хорватии) оказывались вне его интересов и, как пряьтио, были оппозиционно настроены по отношению к нацистскому режиму: оставались национальные церкви: православные (в оккупированных областях, в Польше за переход в православие пиаттлт денежную премию) и, разумеется, протестанты. В протестантской церкви Германии было сформировано нацистское

церковное движение «Deutsche Christen» («Немецкие христиане»), призывавшее «ари-вирояаиь Евангелие» и (среди прочего) утверждавшее, что Христос был... арийцем, греком. Против них выступали представители «Исповедующей церкви» («Be-kenennden Kirche»), внесшие огромный вклад в разработку богословских проблем в XX веке. Многие из этих пасторов и богословов ооявялись в немногочисленном немецком Сопротивлении, например Мартин Нимел-

лер или Дитрих Бонхеффер, которому принадлежит знаменитый афоризм: «Долг христианина — броситься головой под колеса истории». Протестантизм предполагает участие мирян в выборах церковного руководства. 23 июля 1933 года в Германии прошли церковные выборы, на которых одержали победу «Немецкие христиане». Результатом было создание единой Имперской церкви с назначаемыми епископами и пасторами. Федералистская «Исповедующая церковь» осталась вне этой организации.

217 Людвиг Мюллер (1883-1945)—протестантский священник, с 1914 по 1918 год—капеллан на военном корабн ле. С 1926 по 1933 год — капеллан военного округа в Кёнигсберге (ныне Калининград). С 1931 года—член нацистской партии. Руководитель движения «Немецкие христиане». С1934 года активно сотрудничает с гестапо. Покончил с собой 31 июля 1945 года в Берлине.

218 Митинг в ознаменование победы «Немецких христиан» на церковных выборах и образования Имперской церкви состоялся в берлинском Дворце спорта 13 ноября 1933 года. Главным оратором был руководитель берлинской организации «Немецкие христиане» Рейнгольд Краузе. Его речь о необходимости «освободить немецкое христианство от еврейского духа» транслировалась по радио.

219 «Твердыня наша — вечный Бог!» («Eine feste Burg 1st unser Gott») — церковный гимн, текст и музыку которого сочинил в 1529 году основатель протестантизма Мартин Лютер (1483-1546). Фактически — гимн протестантов.

220 «Исповедующая церковь» («BBkemiende Kirche») — оппозиционное нацизму церковное движение в протестантизме. Организационно оформилось после принятия Барменской теологической декларации 31 мая 1934 года. Основной идеей этой декларации была:

протестантская церковь в Германии не может быть проводником языческих антихристианских идей нацизма, она должна исповедовать Христа. После создания Имперской церкви «Исповедующая церковь» создала свои церковные структуры,

действовавшие вполне легально. Нацисты арестовывали пасторов и диаконис этой церкви только в случае их активного участия в Сопротивлении (укрывательство евреев, распространение антинацистских листовок, сотрудничество с советской или английской разведкой или, как в случае Бонхёффера, участие в антигитлеровском заговоре офицеров, закончившемся покушением на Гитлера в июле 1944 года).

221 Цитата из 16-й сцены («Сад Марты») первой части «Фауста» Гёте. Фауст объясняется Маргарите в любви. Та спрашивает Фауста, как у него обстоят дела с церковью. Он отвечает: «Я чту ее». Маргарита продолжает: «Но не нуждаясь в ней».

222 Сионизм — политическое движение, ставящее своей целью объединение и возрождение еврейского народа на его исторической родине, в Израиле. Еврейская колонизация заброшенных земель Палестины началась в конце XIX века и завершилась созданием государства Израиль в 1948 году.

223 Эдуард Эррио (1872-1957) — французский политик, лидер партии радикалов. Премьер-министр Франции в 1924-1926 годах и 1932 году. Первый Кабинет Эррио отказался от французской оккупации Рура, вывел французские войска из Рурской области. Эррио был один из создателей Народного фронта, антифашистской коалиции социалистов, коммунистов и радикалов, не позволившей взять власть во Франции фашистам. Принципиальный противник Мюнхенского соглашения. В то время, которое описывает Хафнер, председатель палаты депутатов Франции. В 1942 году арестован колла-

борационистскими властями южной Франции, отправлен в Бухенвальд. Освобожден советскими войсками. С 1945 по 1947 год — мэр Лиона. С 1947 по 1957 год — председатель Национального собрания Франции.

224 Тиргартен (Tiergarten, зоосад) — берлинский район отдыха с большим парком и зоопарком.

22 Энгельберт Дольфус (1892-1934) — австрийский политический деятель. Диктатор Австрии в 1932-1934 годах. Вдохновлялся фашизмом Муссолини. Избран канцлером Австрии в 1932 году. Отказался от созыва парламента и установил в Австрии авторитарный режим. Поскольку Гитлер вел дело к тому, чтобы присоединить Австрию к Германии (аншлюс), третьей политической партией, запрещенной в Австрии, была нацистская партия. Первыми были коммунисты и социал-демократы.

226 Хафнер ошибается. Гитлеру, уроженцу Австрии, в 1913 году принявшему германское подданство, чтобы не служить в армии «недогосударства» Австро-Венгрии, всегда было дело до

Австрии. Одной из его геополитических идей было поглощение Австрии германским рейхом. Летом 1934 года была сделана первая попытка аншлюса (присоединения Австрии). В Австрии тогда установился диктаторский режим Дольфуса, разогнавшего парламент и разгромившего рабочие вооруженные отряды ««Щцбунда» в Вене и в Линце в феврале 1934 года. Вслед за коммунистической и социалистической партиями в Австрии диктатора Дольфуса была запрещена и нацистская партия Австрии, основной целью которой было уничтожение австрийского государства и присоединение Австрии к Германии. Многие нацисты были высланы из страны, многие бежали сами. Арест и высылка австрийского пресс-атташе были не единственным ответом Гитлера на действия Дольфуса. На фактически открытой границе с Австри-

ей в Баварии был создан «австрийский легион SS» из австрийских нацистов и немецких эсэсовцев. 25 июля 1934 года этот легион принял участие в попытке госпереворота в Австрии. Была захвачена резиденция Доль-фуса, сам Дольфус убит. О его гибели мюнхенское радио сообщило за несколько часов до того, как нацист Отто Планетта двумя выстрелами смертельно ранил канцлера Австрии. Мятеж был подавлен министром юстиции Австрии Куртом Шушнингом. Нацистское правительство заявило, что не имеет никакого отношения к происходящим в Австрии беспорядкам. В 1938 году, после присоединения Австрии к третьему рейху в Вене был установлен обелиск с надписью: «157 военнослужащим-немцам 89-го полка SS, сражавшимся 25 июля 1934 года за Германию». Но в 1933 году Гитлер только готовился к австрийскому «рывку».

227 Гедэхппискирхе (KaiserAVilhLelira-Gedachtniskirche; Церковь памяти императора Вильгельма) построена в неороманском стиле в 1891-1895 годах по проекту архитектора Франца Швехтена в честь первого германского императора Вильгельма I. Долгое время была самым высоким зданием Берлина — 113 м. Разрушена во время бомбежки 23 ноября 1943 года. Находилась на территории Западного Берлина. Ее руины были оставлены властями Западного Берлина как напоминание о войне. В развалинах церкви проводятся богослужение. Берлинцы называют эту церковь «Hohler Zahn» («Полый зуб»).

28 Весной и летом 1933 года в Германии собирали средства на помощь страдающим немецким братьям в «недогосударстве» Австрия.

22 Ютербог—городок в Бранденбурге (Пруссия). Первое упоминание — в немецкой хронике 1037 года. Тогда это было поселение сдавян-вендов Утробог (бог зари).

Завоеван немцами в 1157 году. Одним из первых городов в Пруссии получил Магдебургское право (право местного самоуправления). В годы Первой мировой войны здесь находился один из самых крупных военных аэродромов Германии. В 1933 году началось восстановление этого аэродрома, каковое и было закончено к 1935 году. После Второй мировой войны до 1994 года одно из мест дислокации советских (потом российских) войск в Восточной Германии. С 1933 по 1939 год в Ютербоге действовал лагерь военной подготовки референдариев, названный по имени прусского нацистского министра юстиции Ганса Керля (19001984), которой и придумал эту повинность для будущих юристов. В 1933 году Керль посетил лагерь военной подготовки своего имени. Сохранилась фотография: смеющийся Ганс Керль в компании будущих немецких юристов вешает на виселице огромный параграф закона. Через лагерь военной подготовки «Ганс Керль» с 1933 по 1939 год было пропущено около 20 000 референдариев, будущих офицеров вермахта или эмигрантов.

230 Хафнер прибыл одним из первых, когда лагерь еще не был назван именем Керля.

331 Согласно прусскому уставу в армии обязательно обращение на «вы» между всеми военнослужащими. Штурмовые отряды практиковали ««тыканье».

ззз Нацисты проводили языковую политику направленную на «освобождение немецкого языка от иностранных слов», поэтому не «радиосообщения», но «сообщения службы беспроводной связи» (««hcditlosen Dien^^^»). зз3 Благодаря усилиям Штреземана Веймарская республика была принята в Лигу Наций в 1926 году. В связи с начавшимся после прихода Гитлера к власти активным вооружением Германии представители Велико-

британии в Лиге наций поставили вопрос о международном контроле над оборонным (то есть, вообще-то, наступательным) потенциалом третьего рейха. В ответ Гитлер заявил о выходе страны из Лиги Наций, но поскольку вопрос о вступлении в Лигу Наций был в Германии законодательно оформлен рейхстагом, то Гитлер распустил рейхстаг, назначил новые выборы, одновременно со всенародным референдумом: «за» или «против» выхода из Лиги Наций и вооружения страны? Любопытно, что этот референдум проходил под лозунгом «С Гитлером против гонки вооружений». Список кандидатов в депутаты рейхстага составлялся МВД рейха. В результате выборов 12 ноября 1933 года нацисты получили 92,11% голосов. За выход Германии из Лиги Наций проголосовали соответственно 95,08%.

2 Герцогство (с 1525), курфюршество (с 1618), королевство (с

1701), Пруссия была объединительницей германских земель в Германскую империю. Любимая идея Хафнера — следующая: объединение Германии и создание империи убило прежде всего Пруссию. Герцогство (с 6 века), курфюршество (с 1623), королевство (с 1806 по 1918), Бавария дольше всех немецких земель, объединенных Пруссией, держалась за свою самобытность. До 1918 года Баварией пусть и номинально, но правили короли. Бавария ныне входит в состав земель Федеративной Республики Германия. Пруссия по решению Союзного контрольного совета в Германии от 25 февраля 1947 года ликвидирована, ее земли отошли к Польше, СССР (Восточная Пруссия), были поделены между другими областями Германии (Бранден6ург).

235 Относительно «свободы вооружения» для Германии и равенства в вооружениях с остальными странами Евро-

пы сходились все политические силы Веймарской республики, от Тельмана до Шейдемана.

236 Марциальные (от лат. marcialis) — военный, воинственный. Хафнер снова каламбурит, не только военные, но и мартовские. Напоминание о «павших в марте», издевательской кличке, которую нацисты давали вступавшим в их партию после выборов в рейхстаг в марте 1933 года.

227 флориан Гайер (1490-1525) — немецкий рыцарь и дипломат, один из предводителей Крестьянской войны в Германии (1524-1526). Был одним из наиболее почитаемых вождей Крестьянской войны. Наряду с помощью в организации армии и разработке стратегических планов повстанцев, на собственные средства вооружил сотню бойцов, составивших ядро крестьянского войска, известных как «Черный отряд». Целью его борьбы с князьями быыло желание при помощи крестьян и горожан провести реформы. Прежде всего устранить духовные и сословные привилегии. Местонахождение его могилы неизвестно. Герхарт Гауптман написал о Флориане Гайере одноименную драму в 1896 году. Фридрих Энгельс писал о нем в своей работе «Крестьянская война в Германии» как об одном из первых борцов за интересы пролетариата. Флориан Гайер вошел в пропагандистский круг крайне правых германских националистов. Во время Второй мировой войны его имя быыло присвоено 8-й кавалерийской дивизии SS. Песня Гайер», которую пели референдарии в

лагере военной подготовки, написана в 1885 году немецким поэтом, художником, лесничим и генерал-майором Генрихом фон Ренером, создателем мюнхенского объединения поэтов «Крокодил». В 1919 году музы1ку к ней написал Фриц Собке.

Одна из тех песен, что перешли от коммунистов к нацистам. Сначала ее пели

«ротфронтовцы», потом гитлерюгенд, потом эта песня стала гимном 8-й кавалерийской дивизии SS, на этом ее приключения не закончились: в ГДР ее пели пограничники — уже как свой гимн.

[238] В прусской армии обращение на «ты» было неуставным:.

[239] Такое высказывание Гитлера неизвестно. Известно высказывание любимого Гитлером немецкого писателя Эрнста Юнгера, несмотря на свой национализм и консерватизм очень критично относившегося к поклоннику своего творчества и его политике. «Я выбрал самый аристократичный вид эмиграции, — утверждал Юнгер, — в армию».

34 Версальский мирный договор, подписанный 28 июня 1919 года и официально завершивший Первую мировую войну, действительно был очень тяжелым для проигравшей Германии. Все ее колонии были поделены между странами-победительницами, часть территорий, бывших немецкими, отошли к Франции, Польше, Литве и Чехословакии. Германия выплачивала репарации. Ей запрещалось иметь боевую авиацию и современные виды вооружения. Армия должна была не превышать 100 000 человек, обязательная военная служба. «Порвать цепи Версаля» — призывали едва ли не все политические партии Веймарской республики, от коммунистов до нацистов.

[241] Битва на Марне — крупное сражение между немецкими и англо-французскими войсками, происшедшее 5-12 сентября 1914 года на реке Марне, закончившееся поражением немецкой армии. В результате битвы был сорван стратегический план наступления немецкой армии, ориентированный на быструю победу на Западном фронте и вывод Франции из войны. Битва на Марне — решающая битва Первой мировой, став-

шая основой легенд. Во Франции битву на Марне называют «чудо на Марне». В России принято считать, что немцам не удалось прорвать оборону французов и взять Париж из-за того, что с Западного фронта было снято несколько корпусов и отправлено в Восточную Пруссию, чтобы остановить продвижение армий А. В. Самсонова и П. К. Ренненкампфа. После битвы на Марне война приобрела позиционный, затяжной характер, гибельный для Германии, рассчитывавшей на блицкриг — молниеносную войну Любопытно, что та давняя лекция о битве на Марне, прочитанная лейтенантом в лагере военной подготовки в 1934 году, запомнилась Хафне-ру на всю жизнь. В конце шестидесятых годов он написал сценарий телефильма «Гнералы.

Битва на Марне», где как раз и пытался разобраться в перипетиях взаимоотношений немецких генералов на Марне.

[242] Жозеф Ссмон Гплиени (184991996) — франпузскии военачальник, зчактиик колониальных войн, военный комендант и организатор обороны Парижа в сентябре 8989 года, министр обороны в 8985-8986 годах, маршал Франции (1928, посмертно). С началом Первой мировой войны, 26 августа 8989 года, был призван в строй на пост военного губернатора Парижа. Формально подчинявшийся ставке Генерального штаба (Жоффру) и считавшийся преемником главкома в случае его гибели или плена, Гшллиени был низведен до роли тылового коменданта, ответственного за оборону Парижа, но не располагающего собственными войсками; резервные парижские части регулярно передавались на фронты по требованию ставки. 30 августа 8989 года правофланговая немецкая армия фон Клюка, двигавшаяся прямо на Париж, достигла Компьена; перед ней находились только слабые завесы отступавшего британского экспедиционного корпуса, дорога на Париж

была открыта. Однако 31 августа 1914 года по приказу немецкого командования фон Клюк приступил к маневру на юго-восток, в сторону от Парижа, с целью окружения главных французских сил. 1 сентября Жоффр распорядился перебросить войска из Вогезов в район Парижа для подготовки контрнаступления и подчинил командованию Гшллиени 6-ю армию генерала Монури.

2 сентября, в годовщину капитуляции при Седане, правительство покинуло Париж, предоставив Галтшени право на неограниченные военные действия в городе, и генерал оказался предоставлен самому себе. 3 сентября Галтшени вывесил в городе прокламации, заканчивающиеся словами «Я получил мандат защитить Париж от захватчиков. Я его выполню до конца». Вечером

3 сентября, получив разведданные о том, что фон Клюк действительно подставляет французам свой правый фланг, Галлиени отдал приказ на выдвижение своих войск на рубеж Марны, однако колебавшийся Жоффр назначил начало контрнаступления лишь на 7 сентября. Первая битва на Марне фактически началась 5 сентября, с безуспешной атаки 6-й армии Монури на превосходящие немецкие силы. 7 сентября 1914 года по приказу Галлиени на марнский фронт были переброшены последние парижские резервы (для этого Гшлшени реквизировал парижские такси). 9 сентября 1914 года армии фон Клюка и фон Бюлова, под угрозой окружения войсками Галлиени и пятой армией Д'Эспре, начали отступление на рубеж реки Эн, тем

самым похоронив план Шлиффена.

[243] Жозеф Жак Жоффр (1855-1993) — французский ввен-ный деятель, маршал Франции (1915), в 8988-8984 годах начальник Генерального штаба, во время Первой мировой войны главнокомандующий; официально считается, что он выиграл битву на Марне.

[244] Цитата из Второго Послания к коринфянам апостола Павла: «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносила!» (12, 7). Цитата насмешлива: воспоминание о почти выигранной битве на Марне дано немцам «как жало в плоть», чтобы они «не превозносились».

[245] Статья 231 Версальского мирного договора возлагала всю вину за развязывание войны на кайзеровскую Германию и Австро-Венгерскую империю.

226 «Удар кинжалом в спину» («Dolchstop») — теория, получившая хождение среди немецких националистов: весной 1918 года Германия была близка к победе, и только предательство либералов, демократов, социалистов нанесло Германии удар в спину. Впервые эта теория была озвучена маршалом Гивденбургом в 1919 году на заседании рейхстага, посвященном вине военных, развязавших войну и проигравших ее. См. примеч. 6.

227 «14 пунктов Вудро Вильсона» — проект мирного договора, завершающего Первую мировую войну, предложенный победителям-союзникам американским президентом Вудро Вильсоном. Вудро Вильсон с трудом добился от конгресса объявления войны с Германией в феврале 1917 года. Прибытие американских войск на Западный фронт во многом помогло союзникам весной 1918 года. Четырнадцать пунктов Вильсона включали в себя: отказ от тайной дипломатии, сокращение вооружений во всех странах, вывод немецких войск из оккупированной ими в начале войны Бельгии, создание национальных государств, Польши и Чехословакии, вывод австро-венгерских и турецких войск с территории Сербии, Черногории и Румынии, возврат Франции Эльзаса и Лотарингии, создание международ-

ной организации в целях гарантии мира, территориальной целости и независимости государств. Были взяты за основу в выработке Версальского мирного договора, но к ним были добавлены репарационные выплаты, отнятые территории, помимо Эльзаса и Лотарингии, и закрепленная в договоре вина Германии и ее союзников в развязывании войны.

[248] Хельмут Йоганн Людвиг фон Мольтке (1848-1916)—не

мецкий военный деятель, генерал-полковник. С1880 года в армии; с 1891 года — адъютант императора Вильгельма П. Затем на различных командных должностях. Командовал пехотными бригадой и дивизией. В1906 году назначен начальником Генерального штаба. Был сторонником войн за мировой порядок». Активно

участвовал в разработке операций предстоящей войны, в основу своего плана Мольтке положил так называемый план Шлиффена, внезапный удар по Франции через нейтральную Бельгию. С началом Первой мировой войны Мольтке — один из главных немецких стратегов. При развертывании армий во Франции он изменил первоначально разработанный план, ослабив правый фланг армии. В то же время увеличил германские силы в Восточной Пруссии, где велись активные боевые действия против русской армии. Являясь фактически главнокомандующим, Мольтке оказался не способен руководить армиями. В сражении на Марне потерял управление войсками. Пз-за этой неудачи снят с занимаемой должности и отправлен в отставку.

249 Рихард Фридрих Генрих Хенч (1869-1918) — немецкий военный деятель. Пз старинной прусской военной семьи. В чине подполковника был начальником отдела Генерального штаба. Во время битвы на Марне Молотке направил Хенча в действующую армию в качестве представителя генштаба. Хенчу, согласно официально-

му разъяснению, опубликованному в 1917 году, было дано полномочие «решать на месте вопрос о продолжении сражения или об отступлении, после чего отдать соответствующие приказания именем Верховного командования». После совещания в штабе 2-й армии с генералом Бюловом Хенч пришел к вышоду, что единственным выходом из создавшегося положения будет отход 1-й и 2-й армий к северу Прибы1в в штаб 1-й армии, Хенч, несмотря на возражения генерала фон Клюка, отдал приказ об отводе войск, предъявив полномочия Верховного командования. Результатом приказа Хенча стала остановка наступления германской армии во Франции и переход войны в позиционную стадию.

250 Карр Ввильельм Пауул фон Бюлоо (1846-1992) — германский военачальник, генеррьlфельдмрршрь. В битве на Марне Бюлов использовал основные силы своей армии в попытке прорвать расположение французских сил в районе Сен-Говдских болот, это потребовало концентрации немецких корпусов, что явилось одной из причин возникновения почти пятидесятикилометрового разрыва в линии фронта между левым флангом соседней 1-й армии и правытм флангом 2-й армии.

Именно в это разрыв вклинилась 5-я французская армия, которой удалось взять реванш за поражение. Несмотря на тактические успехи 9 сентября на левом фланге, французское наступление заставило Бюлова начать отвод корпусов правого фланга Со своей стороны, союзное командование ввело в бой на участке прорытва также Британские экспедиционные силы. В этой ситуации Бюлов не стал возражать, когда быгла высказана идея отвода германских войск за Марну и к 13 сентября отвел свои войска до 50 километров в северном направлении. После войны жил в Берлине. В 1920 году издал мемуары «Мои записки о наступлении на Марне».

[251] Имеется в виду Хельмут фон Мольтке. В 1914-м ему было шестьдесят шесть лет.

[222] Александр фон Клюк (1846-1934) — немецкий военачальник. Участник Франко-прусской войны (1870-1871). В 1913 году — генерал-инспектор области 7-й армии. Со 2 августа 1914 по 28 марта 1915 года — командующий 1-й германской армией на Западном фронте. Во время сражения на Марне армия Клюка была атакована во фланг 6-й французской армией, поддержанной войсками гарнизона Парижа. Клюк быстро переменил фронт и отбросил французов, но при этом между его армией и 2-й армией образовался разрыв в 30 километров, прикрытый лишь кавалерией. В ночь на 9 сентября английская армия и часть 5-й французской армии вклинились в образовавшуюся брешь. 9 сентября командующий 2-й армией генерал Бюлов отдал приказ об отходе на Марну В тот же день Клюк начал успешное наступление правым флангом на Нантейль, а его левый фланг ввязался в затяжные бои с англо-французскими войсками между Шато-Тьерри и устьем Урка. В связи с этим Клюк загнул левый фланг фронтом на юг. В это время к Клюку прибыл эмиссар фон Мольтке полковник Хенч, отдавший приказ к отступлению. Клюк пытался убедить Хенча, что создавшаяся обстановка не создает необходимости к отступлению, но Хенч настоял на своем мнении, сославшись на свои полномочия, кроме того, он охарактеризовал соседнюю 2-ю армию как измотанную до крайней степени. В середине дня армия начала отход на Суассон. Клюк считался одним из самых удачливых и талантливых военачальников германской армии. 12-13 сентября Клюк закрепился на правом берегу Эны на участке Нампсель-Вайн. В сражении на Эне (13-15 сентября) остановил наступление английских и французских армий. В конце 1914 — начале 1915 года фронт на Западе стабилизировался, и война перешла в позиционную стадию. В 1915 году армия Клюка занимала фронт Нуайон-Карон. В марте 1915-го Клюк был ранен. Награжден

орденом «Pour le Merite» и отстранен от командования армией, а в октябре 1916-го переведен в резерв. Автор воспоминаний «Марш на Париж и битва на Марне» (1920).

252(Бертольт Брехт (1898-1956)—немецкий поэт, прозаик, драматург, режиссер, теоретик и реформатор театра XX века, создатель театра ««^^е^.л^:нер Ансамбль». Хафнер цитирует финал первой части двухчастной школьной оперы Бертольта Брехта и Курта Вайля «Der Jasa-ger und der Neinsager» («Гоооршщий „да“ и говорящий ,,нет“», 1929-1930). Премьера оперы состоялась 23 июня 1930 года. Опера написана по мотивам японской пьесы театра «Но» — «Тшнико». Брехт значительно переработал эту пьесу Из ритуальной драмы об инициации он сделал оперу для школьной самодеятельности. После ее представления в школах, как правило, проводились диспуты. К сожалению, Хафнер несколько превратно истолковал Брехта. Дело в том, что опера эта как раз обличение конформизма или «товарищества». «Говорящий „да“» (Jasager) — герой первой части оперы— оказывается не прав. Прав оказывается как раз герой второй части оперы, нонконформист, тот, кто говорит «нет» (Neinsager). Соответственно, и финал второй, итоговой, части оперы такой:

Потом друзья подняли друга И создали этим новый закон И новый обычай,

Они понесли мальчика назад в селение, Плечом к плечу они шли вниз,

Они закрыли глаза на поношение,

Презрение и насмешки:

Никто не трусливее соседа.

Брехт оговаривал, что две эти коротенькие пьески нельзя ставить одну без другой. Он был много сложнее и коммунистической, и нацистской, и даже либеральной идеологии. Об этой опере философ Теодор Адорно писал: «Когда после дискуссии с учениками Брехт позволил из коллективистского кредо говорящих „да“ выгвести противоположную логику говорящего „нет“, он вопреки своей официальной позиции способствовал краху установки на коллективистское „да“». Кстати, при всей своей близости к коммунистам в компартию Брехт так и не вступил.

254 Хафнер перефразирует известное гегелевское положение: «Истина — такая сила, что кроется даже в неверном суждении, надо только правильно понять это суждение».

54 Вильгельм Фуртвенглер (1889-1954) — великий немецкий дирижер и композитор Знаменит своим исполнением Бетховена. Работал в Германии во времена нацизма. Дистанцировался от нацистов, вступал с ними в конфликты, отказывался вскидывать

руку в нацистском приветствии, пытался поставить оперу лишенного гражданства нацистами эмигранта, композитора Пауля Хиндемита «Художник Матисс» (1934-1935; постановка была запрещена), однако поддерживал бойкот евреев и был для нацистского режима фигурой номер один в музыкальной жизни страны. После войны в американской зоне оккупации прошел процесс Фуртвенглера. В сотрудничестве с нацистами его печатно обвинял, например, такой писатель, как Томас Манн. В ходе процесса Фуртвенглер был оправдан. В 1995 году

британский драматург Рональд Харвуд написал пьесу об этом судебном процессе «Мнения сторон». В 2001 году пьеса была экранизирована венгерским драматургом и кинорежиссером Иштваном Сабо. В роли американского майора, арестовавшего Фуртвенглера, снялся Харви Кейтель. Фуртвенглера сыграл Стеллан Скарсгорд. В роли защитника Фуртвенглера — представителя советского командования полковника А. Л. Дымшица (1910-1975), литературоведа по гражданской профессии, — снялся О. П. Табаков.

Никита Елисеев

Хафнер и его книга

Имя тоже кое-что значит. Немецкий эмигрант Раймунд Претцель назвал себя Себастьяном Хафнером. Себастьяном—в честь Иоганна Себастьяна Баха. Хафнером — в честь своей любимой 35-й симфонии Моцарта, Хафнеровской. Но Себастьян все ж таки еще и святой, проткнутый стрелами. Стало быть, Себастьян Хафнер обрек себя на некую пронзенность, правда, не стрелами, но историей или политикой. То есть выбранным именем присягнул на верность музыке истории. Русскому читателю он должен быть известен как автор переведенной в позднесоветское время «Ноябрьской революции» и «Комментариев к Гитлеру», выпущенных на русском языке уже после перестройки. Четыре главки' из его посмертно изданной книги «История одного немца» печатались в 2002 году в «Иностранной литературе» в переводе Евгения Колесова. Труд о Ноябрьской революции в Германии пришелся по душе Михаилу Гефтеру, одному из самых интересных и плодотворных мыслителей России XX века. Он с удовольствием цитировал оттуда: «В Германии Бисмарка царила удушливая атмосфера. Вильгельм II распахнул окна». Фраза, конечно, требует продолжения: и тут потянуло таким сквознячком...

Не будем шутить и дразниться. Хафнер, подобно Гефтеру, был парадоксалистом по самой своей природе. Достаточно парадоксально уже хотя бы то, что он, убежденный консерватор, пруссак по рождению, воспитанию и едва ли не убеждениям, с сочувственным уважением пишет о спартаковцах Розе Люксембург и Карле Либкнехте. Столь же парадоксален он и в самой своей знаменитой книге «Комментарии к Гитлеру». Убежденный антифашист и враг Гитлера, он строит свою книгу как описание побед и удач диктатора, которые все как один приводят к преступлениям, неудачам и в конечном счете к катастрофе.

Парадокс этот Хафнер обнаружил давным-давно. Он зафиксировал его в «Истории одного немца»: «После того, как стало невозможно, несмотря на все судорожные усилия, удерживаться на позиции профессионального превосходства, эти люди (профессионалы. — Н. Е.) капитулировали безоговорочно. Они оказались не способны понять, что как раз успехи нацистов и были самым страшным в их диктатуре. „Но ведь Гитлеру удалось то, что до сих пор не удавалось ни одному немецкому политику!" — „Как раз это-то и есть самое страшное!" — „А, ну вы — известный парадоксалист" (разговор 1938 года)».

Уже из этой записи видно, что парадоксалистом Хафнер стал не от хорошей жизни. Совсем не хорошая жизнь загнала его, немецкого патриота, пруссака, консерватора, аполитичного эстета, поклонника Рильке и Стефана Георге, в Англию, страну, воюющую с Германией, в газеты, где надо было печатать политические тексты. Ситуация, сами понимаете, вынуждавшая быть парадоксалистом.

Он родился в 1907 году, умер в 1999-м. Его отец Карл Луи Альберт Претцель был видным педагогом в кайзеровской Германии, в Веймарской республике он работал в Министерстве культуры. Брат, Ульрих Прет-цель, —довольно крупный германист. Отец Претцелей был директором 105-й народной школы на Пленцлау-эр-Аллее в Берлине; ныне культурно-образовательный комплекс на территории означенной школы носит имя Себастьяна Хафнера, поскольку Себастьян Хафнер, то есть Раймунд Претцель, с 1911 по 1924 год жил здесь, в доме своего отца, школьного директора. Однако учился Раймунд Претцель, то бишь Себастьян Хафнер, не в народной школе, а в классической Кёниг-штадтише-гимназии на центральной площади Берлина Александерплац, но даже в этой школе сама судьба поместила его между двумя экстремистами. Его соучениками были Хорст Вессель, поэт, будущий нацистский штурмовик, погибший в стычке с коммунистами, чья песня сделалась гимном нацистской партии и нацистского государства, и Эрих Мильке, будущий коммунист, первый министр госбезопасности ГДЕ Правда, и Хорста, и Эриха выгнали из гимназии, им было не до учебы. До учебы было Себастьяну Хафнеру Даже внешне он напоминал русского писателя-эмигранта Набокова. И это внешнее сходство свидетельствует о внутреннем родстве. Ибо и Набоков, и Хафнер принадлежали к одному слою европейских антифашистских интеллигентов, выдернутых социальным катаклизмом из условий привычного существования.

После школы Хафнер изучал право и поступил на государственную службу, в В<^^;^<^:в:ный апелляционный суд Пруссии. Он уволился оттуда после 1933 года в знак протеста против бойкота евреев в госучреждениях нацистской Германии. До середины 1936 года работал консультантом в судах, часто замещал адвокатов. В это время он познакомился со своей будущей женой Эрикой Ландри, еврейкой. С лета 1936 года Хафнер начал заниматься журналистикой. Он довольно долго вынашивал мысли об эмиграции, пока наконец в августе 1938 года не уехал в Англию, где его уже ждала Эрика Ландри. Здесь он написал свою первую книгу на английском языке: «(Germany:

Jekyll and Hyde» («Германия: Джекил и Хайд»). В британских политических кругах весьма высоко оценили его анализ внутригерманской ситуации. После этого он начал сотрудничать с немецкой эмигрантской газетой «Die Zeitung», покуда в 1942 году не перешел на работу в «Observer». Несмотря на уважение, которым пользовался Хафнер в Англии, он, как немец, все же не избежал длительного интернирования в начале войны. Под руководством своего друга и наставника в журналистике Дэвида Астора Хафнер проработал в «Observer» девятнадцать лет. Время от времени ему случалось замещать Астора на посту главного редактора. С 1948 года Астор становится издателем и владельцем «Observer». В его газете печатались Джордж Оруэлл и (из песни слова не выкинешь) Ким Филби. С этого же времени у Хафнера и Астора начинаются разногласия, связанные с германским вопросом. С 1954 года Хафнер живет в Западном Берлине и работает корреспондентом «Observer» в Германии. После строительства Берлинской стены в 1963 году Хафнер покидает «Observer». С 1962 по 1975 год работает в «Die Welt». С 1975-го — колумнист в «Stem». В журнале «konkret» ведет рубрику «Ежемесячные чтения». В 1968 году Хафнер занял сочувственную по отношению к бунтующим студентам позицию. Хафнер был постоянным гостем радио и телепередач «Internationaler Fruhschoppen» («Международные утренние посиделки») Вернера Хефера. Кроме того, у него была собственная аналитическая телепрограмма на SFB.

Хафнер был одним из самых успешных авторов исторической литературы для широкого читателя. Он был одним из самых значительных и в то же время вызывающих наибольшие споры немецких публицистов послевоенного времени. Его главными болезненными темами были: Гитлер и прусская история; неродственность Гитлера Германии, родство Гитлера с европейской революцией, но никак не с прусской традицией. Он умел делать понятными для самой широкой публики сложнейшие исторические проблемы и в то же время никогда не опускался до обыкновенного популяризаторства. Его книги всегда отличались острым анализом и неожиданным парадоксальным подходом к самым известным историческим событиям. В политическим отношении его довольно трудно ‘привязать к сколько-нибудь определенному партийному и идеологическому направлению, одно в нем было постоянно — антифашизм. В пятидесятые годы он был скорее консерватором с сильным антикоммунистическим акцентом. В шестидесятые приближался к левому спектру общественных движений, от каковых снова начал дистанцироваться в конце жизни.

Несколько слов о странной судьбе той книги, перевод которой вы сейчас прочтете или уже прочли. «Иссгория одного немца» — самая первая немецкая книга Хафнера, которая стала самой последней его книгой. Вернемся назад в 1938 год. Итак, молодой юрист Раймунд Претцель эмигрировал в Англию. Он не был ни коммунистом, ни социал-демократом, ни евреем, ни гомосексуалистом, ни католиком, ни протестантским сектантом, он не принадлежал к тем, кого нацисты преследовали раг excellence. Сын прусского высокопоставленного педагога и чиновника, он принадлежал к тем, к кому нацисты относились не без симпатий. Ему просто надоело нацистское хамство.

Василий Яновский в «Полях Елисейских» рассуждал о том, почему Бунину не поглянулась нацистская Германия: «По своему характеру, воспитанию и общим влечениям Бунин мог бы склониться в сторону фашизма, но он этого никогда не делал, и свою ненависть к большевикам он не подкреплял симпатией к Гитлеру. Считается, что от обоих режимов Бунина отталкивало их хамство. Когда Бунин ездил в Германию проведать Кузнецову, его на границе обыскали эсэсовцы, и даже залезали пальцем в анус. Позднее Бунин с бешенством про это рассказывал»

Пожалуй, это хамство и было наиважнейшей причиной эмиграции, наиважнейшей причиной отрицательного отношения Хафнера к нацистам. В ночь поджога рейхстага он беседовал со своими друзьями о грядущих выборах, не подозревая, что на следующий день выборы будут фактически аннулированы. «Я возбудил легкое недовольство легкомысленным замечанием, что голосовать против нацистов — значит проявлять хороший вкус независимо от твоих политических взглядов». Похоже на то, как спустя много лет другой эстет, загнанный в политику, — Андрей Синявский вызовет легкое недовольство своим легкомысленным замечанием: «У меня с советской властью эстетические разногласют».

Так или иначе, но Хафнер оказался в Англии в 1938 году с молодой женой, которую он отбил у своего друга Гаральда Ландри (Эндрюс в «Истории одного немца»), без знания языка, а значит, без денег и работы. Он попытал счастья в качестве фотографа. Снимки не удавались. Есть, очевидно, закон равновесия: кто хорошо говорит и пишет, не слишком хорошо «видит». Знакомый издатель, Фредерик Варбург, предложил Хафнеру: «Напиши воспоминания». Хафнер удивился: о чем таком особенном может вспомнить тридцатилетний безработный эмигрант? Издатель настаивал, дескать, вспомни детство, отрочество, юность. Ты, понятное дело, не Лев Толстой, зато время твоего детства, отрочества, юности не то, что у Льва

Толстого, значительно интереснее: война, революция, мятежи, путчи, инфляция, наконец, нацизм. Напиши, как вы, немцы, дошли до жизни такой. Присовокупи свои рассуждения. Неглупый все ж таки человек, образованный, на юридическом учился, Рильке читал, в Верховном апелляционном суде Пруссии служил.

Хафнер взялся за работу Поначалу он хотел назвать свою книжку «Mein Zweikampf» («Моя дуэль»), но вскоре отказался от этого заглавия, поскольку ««дуэльного» в книге было очень мало. Гораздо больше в книге было горького, пораженческого. Дуэль в ней заканчивалась, не начавшись. С вызывающей уважение самокритичностью Хафнер пишет книгу о конформисте, о навозе истории, на котором произрастают розы фашизма. Он, конечно, ругается с нацистами и около-

нацистами, но всякий раз, попадая в соответствующую обстановку, ведет себя соответствующе. В тот момент, когда он понимает, какой поганец может вылупиться из него в предстоящей ему, наступающей на него среде, как хрустнет фарфоровая, хрупкая, белая, ровная поверхность аполитичного, индивидуалистического, эстетского яйца и на свет божий выползет нацистская «пеограя лента», — в этот самый момент он меняет среду. Эмигрирует. Какой же это «поединок», какая же это ««дуэль», если лучшее, что можно сделать, — зашвырнуть пистолет в близлежащие кусты и со скоростью пули покинуть место сражения! В книга Хафнер абсолютно безжалостен по отношению к самому себе. Более того, если бы она была напечатана тогда, когда была написана, то пафос ее был таким же, как и пафос английской книжки Хафнера «Германия: Джекил и Хайд». «Не надейтесь на внутреннее сопротивление немцев. Его не будет. Только военное поражение избавит Германию от фашизма».

Горечь этой книги и ее соотносимость с темой «Дже-кила и Хайда» была уже в первом, предполагаемом заглавии «Mein Zweikampf», которое должно было вызвать в памяти библию нацизма «Mein Kampf». У Гитлера — «Моя борьба», а у Хафнера получалась буквально «Моя двойная борьба», поскольку это была еще и борьба с самим собой, с тем, что в нем было полезного, выгодного нацизму. Еще и поэтому Хафнер отказался от этого заглавия. Горечь была бы нарочитой. Ведь эта книга о поражении. Парня учат разбираться в государстве, в управлении людьми, в праве. Парень доучивается до Верховного апелляционного суда Пруссии. Но в историческом-то плане он доучивается до

того, что проигрывает в политике уголовнику, разнуздывающему низменные инстинкты не то что в толпе, в массе, но и в образованном юристе, в эстете и парадоксалисте.

Именно таков финал книги: на вершине власти — шпана, а в лагере военной подготовки—элита, те, из которых должны были получиться политики. Они и сами начинают превращаться в шпану Самые последние слова книги — строчка из любимого Хафнером Гёльдерлина: «frostig, beschamt und befreit» («зябко, стыдно и освобожденно»). Вот Хафнер (тогда еще Раймунд Претцель), погуляв с «однополчанами», с теми, с кем был в лагере военной подготовки, готов скиснуть, бежать, потому что сейчас ему становится не то что понятно, а ощутимо кожей: путь у него — один. В вермахт. В «аристократическую эмиграцию», как этот путь, пижоня, назвал Эрнст Юнгер. Это значит, что ему придется завоевывать для нацистов чужие земли. Может быть и другой путь — в концлагерь. Если ни туда, ни туда не хочется, надо эмигрировать. Он кидается в автобус, домой, домой. Он отъезжает, видит оставшуюся у пивной компанию, исчезающую, уменьшающуюся, истаивающую. Ему делается зябко, поскольку он понимает: он их больше не увидит. Ему делается стыдно, поскольку он понимает, как ни крути, а он — беглец, дезертир. Кто-то из тех, кто стоит на остановке, погибнет в концлагере, кто-то погибнет на фронте, а он уцелеет, поскольку уже принял решение уехать отсюда. Он чувствует себя «освобожденно», поскольку знает, что эмигрирует, вырвется из казармы нацистской Германии. Я покидаю поле боя, я прерываю борьбу. Здесь я или погибну или (если останусь жив) буду уже не «Я», не образованный интеллигентный человек (юрист, историк, журналист), но жлоб и хам, орущий похабень под пиво. Чтобы не погибнуть, чтобы не перестать быть «Я», я покидаю эту страну мою страну Перестаю быть немцем, чтобы не перестать быть самим собой. Вот поэтому мне зябко, стыдно, освобожденно.

Так что он отказался от названия «Моя дуэль». Назвал книгу скромно «История одного немца. Воспоминания 1914-1933 годов». Здесь надо учитывать, что это не совсем воспоминания, и даже совсем не воспоминания. В Германии оставались его родные и близкие, поэтому он не только не называл имена, он менял профессии. Так, своего отца, видного педагога, директора гимназии, в которой он учился, он превратил в прусского чиновника. Создал запоминающийся художественный образ прусского бюрократа-либерала, книгочея и мудреца. Свою любимую женщшу, Эрику Ландри, он и вовсе весьма умело «расщепил» на лихую Тэдци богемной интеллигентной берлинской компании и милую еврейскую девушку Чарли. Пока Хафнер писал эту книгу на немецком, он совершенствовался в английском и досовершенствовался до того, что стал колумнистом в «Observer». Кстати, это очень благотворно

повлияло на его стиль. Журналистская работа вообще полезна для эстетов. Она заставляет быть кратким и понятным. А журналистская работа на чужом языке полезна вдвойне. Пишущий привыкает воспринимать язык как тот материал, который надо преодолевать, а не подчиняться ему.

В результате стиль эстета, не теряя ни изысканности, ни многословия, приобретает ясность, четкость, афористичность. Переводить Хафнера — одно удовольствие. Чего стоят одни только его определения, например относящиеся к коммунистам после поджога рейхстага: «овцы в волчьей шкуре». А блистательная характеристика Вальтера Ратенау, немецкого министра иностранных дел, экономиста и философа, убитого в 1922 году националистами: «Он был аристократическим революционером, идеалистическим коммерсантом; евреем и немецким патриотом; немецким патриотом и либеральным космополитом; либеральным космополитом и строгим служителем закона (то есть, в единственно возможном, строгом смысле этого слова, он был евреем). <...>

Меня могут спросить: неужели народный вождь может быть таким? Представьте себе, да! Масса—причем я говорю не о пролетариате, но о том анонимном коллективном существе, в которое все мы, бедные и богатые, в определенный, очень важный момент сливаемся, — эта масса наиболее сильно реагирует на то, что меньше всего на нее похоже. Заурядность в паре с добросовестным отношением к делу могут принести политику популярность; но последняя любовь и последняя ненависть, обожествление и демонизация достаются только незаурядной личности; тому, кто недостижим для массы, а выше он или ниже среднего уровня — не так важно. Уж что-что, а этот вывод я уверенно делаю из своего немецкого опыта. Ратенау и Гитлер как раз и были аномальными явлениями, которые до крайности возбудили фантазию немецкой народной массы: один — своей необъятной культурой, другой—своей необъятной пошлостью. Оба, и это главное, происходят из недоступных средней массе областей, из каких-то потусторонних миров. Один— из той сферы высшей духовности, где симпосион, пир культур трех тысячелетий и двух частей света творится; другой — из джунглей, из грязи и тьмы бульварной философии и бульварного чтива; из подземного, подпочвенного мира, где в мутном вареве роятся бесы мещанских чуланов, ночлежек, казарменных сортиров и застенков. Благодаря своей «потусторонности», оба, и Ратенау, и Гитлер, обладали настоящей магической, волшебной силой, безразличной к тому, какую политику каждый из них вел».

Он хорошо писал. И научился так же хорошо писать по-

английски, как и по-немецки. Он не окончил воспоминания. Вместо воспоминаний он написал по-английски книгу «Германия: Джекил и Хайд». Стал колумнистом солидной газеты. Тогда-то он и выдумал себе псевдоним Себастьян Хафнер, чтобы не ставить под удар родителей и брата, оставшихся в Германии. Он жил в Англии до своего переезда в Западную Германию в 1954 году. В Германии он написал немало книг. В числе прочих — «Пруссия без легенд», «В тени истории», «Ушксгон Черчилль». Написал сценарий телефильма «Генералы. Битва на Марне» и снялся в телевизионной комедии с таким длинным названием, что лучше привести его по-немецки, прежде чем перевести на русский: «Arnoncentheater. Ein Abendprogramm des deut-schen Femsehen im Jahre 1776» (<«Агнонсентеатр. Вечерняя программа для немецкого телевидения 1776 года»). Умер Хафнер в 1999 году. Он часто говорил своему сыну Оливеру, что в Англии написал роман. Разбирая архив, сын обнаружил «Историю одного немца» и опубликовал. Так это и есть тот «роман», о котором ему говорил его отец. Это — роман поневоле. Хафнер писал таким образом, чтобы не навредить тем людям, что остались в Германии. Значит, он писал не прямо о себе и своих знакомых, а шифруя их, то есть типизируя. Результат — фантастический. Он написал реалистический роман. Он написал не о себе, но о типичном молодом интеллигенте эпохи наступающего тоталитаризма. Реализм, рождающийся из духа конспирации, — одно из любопытнейших порождений эпохи. Точное и правдивое изображение страны, времени, социального слоя соединяется в «Истории одного немца» с преобразованным личным прошлым. Хафнер хотел продолжить свою книгу. В архиве сохранился план продолжения воспоминаний. Он хотел описать Берлин в «Ночь длинных ножей» и Париж во время фашистского путча 9 октября 1934 года, но не стал. По-видимому решил, что все самое главное он сказал последними тремя, гёльдерлиновскими словами: зябко, стыдно, освобожденно.

СОДЕРЖАНИЕ

По вопросам, связанным с приобретением книг Издательства Ивана Лимбаха, обращайтесь к нашим торговым партнерам:

ООО «Торговый Дом БММ» 141011, Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 26, корп. 2, оф. III тел.: (495) 984-35-23 e-mail: ofice@bmm.ru

КНИЖНЫЕ МАГАЗИНЫ

Санкт-Петербург

Санкт-Петербургский Дом Книги (Дом Зингера)

Невский пр., д. 28, тел.: (812) 448-23-55

Сеть книжных магазинов «Буквоед» Единый справочный

телефон: (812) 601-06-01 «Порядок слов»

Наб. реки Фонтанки, д. 15, тел.: (812) 310-50-36

Магазин «Все свободны»

Наб. реки Мойки, д. 28, второй двор; Волынский пер., д. 4 (вход через арку), моб. тел.: +8 911 977-40-47

Магазин книг «Фаренгейт 451» ул. Московского, 25 (вход во дворе), тел.. +7 911 136-05-66

Книжная ярмарка в ДК им. Крупской ИП Полевик, павильон № 27, тел.: (812)412-07-26

Москва

«Фаланстер»

Малый Гнездниковский пер., д. 12/27, тел.: (495) 749-57-21

«Фаланстер» филиал 4-й Сыромятнический пер., д. 1, стр. 6, тел.: (495) 926-30-42

«Книжный магазин «PRIMUS VERSUS УМНЫЕ КНИГИ» ул. Покровка, д. 27, стр. 1, пом. III,

тел.: (495) 223-58-10 «Книжный Клуб»

Воронеж, ул. 20-летия ВЛКСМ, д. 54а,

ТЦ «Петровский Пассаж», тел.: (4732) 55-11-98

Книжные магазины «Аристотеля»:

«Плиний Старший»

Новосибирск, Красный проспект, 17, тел.: (383) 325-75-90, 325-75-91 «Марк Аврелий»

Новосибирск, Красный проспект, 153 «Сократ»

Новосибирск, ул. Военная 5 (ТРЦ «Аура, 4 этаж), тел.: (383) 230-20-31, 230-20-41

«BOOK-LOOK» («Академкнига») Новосибирск, Морской проспект, 22, тел.: (383) 330-09-22 «BOOK-LOOK»

Новосибирск, ул. Ильича, 6 (ТЦ Академгородка), тел.: (383) 217-44-30 «Платон»

Кемерово, пр. Кузнецкий, 33 (ТРЦ «Я»)

«Декарт»

Кемерово, пр. Ленина, 85 «BOOK'ля»

Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 35, тел.: (3843) 39-05-49

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ www.labirint-shop.ru www.ozon.ru www.hmbakh.ru На Украине: www.hbrabook.com.ua

Себастьян хафнер

ИСТОРИЯ ОДНОГО НЕМЦА

ЧАСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕГО РЕЙХА

16+

Редакторы И. В. Булатовский, Г. В. Снежинская Корректор Л. А Самойлова Компьютерная верстка Н. Ю. Травкин

Подписано к печати 27.04.2016 г. Формат 84 хЮБ), Печать офсетная. Бумага офсетная.

Тираж 2000 экз. Заказ № 3511. Издательство Ивана Лимбаха.

197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 28А. E-mail: limbakh@limbakh.ru www.limbakh.ru

Отпечатано с готовых файлов заказчика в АО «Первая Образцовая типография», филиал «УЛ ЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»

432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

ISBN 978-5-89059-256-9

9 785890 592569

История, которую я собираюсь рассказать здесь, - история своеобразной дуэли.

Зто дуэль между двумя совсем не равными противниками: невероятно мощным, безжалостным государством и маленьким, безымянным, неизвестным частным человеком. Она разыгрывается не на поле брани, каким принято считать политику; частный человек отнюдь не политик, тем более не заговорщик и не «враг государства». Частный человек все время в обороне. Он ничего не хочет, кроме как сберечь то, что он считает своей личностью, своей собственной личной жизнью и своей личной честью. Все это постоянно подвергается невообразимо брутальным, хотя и довольно неуклюжим атакам со стороны государства, в котором частного человека угораздило жить и с которым ему поэтому приходится иметь дело. Жесточайшими угрозами государство добивается от частного человека, чтобы он предал своих друзей, покинул свою любимую, отказался от своих убеждений и принял бы другие, предписанные сверху; чтобы здоровался не так, как он привык, ел бы и пил не то, что ему нравится; посвящал бы свой досуг занятиям, которые ему отвратительны; позволял бы использовать себя, свою личность в авантюрах, которые он не приемлет; наконец, чтобы он отринул свое прошлое и свое «Я» и при всем этом выказывал бы неуемный восторг и бесконечную благодарность. Ничего этого частный человек не хочет. Вот поэтому он решается на дуэль - без какого бы то ни было воодушевления, скорее уж недоуменно пожимая плечами, но с тайной решимостью не сдаваться.

&и ИСТОРИЯ ОДНОГО НЕМЦА

notes

1

Германия — ничто, но каждый отдельный немец — многое (нем.).

2

Наконец важнейшее: чем заняты / вы, собственно, в это великое время? / Я говорю «великое», потому что все времена кажутся / мне великими, в которых человек, в конечном счете, / может опираться только на собственные ноги, / причем, загнанный до полусмерти, до дрожи в пятках, / он вынужден волей или неволей / рассчитывать только на самого СЕБЯ! / Мига передышки / ему порой хватает — вы меня понимаете (ˆем.).

3

Бизнес как обыгано (англ.).

4

Ужас пустоты (лат.).

5

За неимением лучшего (фр).

Прусскому королю (фр.).
по

7

Что примеры поучают (лат.).

8

Ценности или неценности (фр.).

Здесь: сторонник, апологет (англ.).

Здесь: общих представлений (англ.).

SA—штурмовые отряды (сокр. от нем. Sturmabteilung).

SS — отряды охраны (сокр. от нем. Schutzstaffel).

13

Истории (англ.).

14

Жид, сдохни! (нем.)

15

Любовной истории (англ.).

16

Поневоле (фр.).

17

Тем хуже (< Др.).

18

Бешеном темпе (итал., музыкальный термин).

19

Человеком без родины, апатридом (фр.).

20

Мой бедный старина (фр.).

21

Но вперед и назад мы не хотим / Смотреть. Отдаемся качанию, как / В утлой лодке на морской волне. Фридрих Гельдерлин. Мнемозина (Третий вариант) (нем.).

22

В тридцать третьем / Закончилось борьба... / В тридцать третьем / Изящный мужчина / Пошел к военному портному, / Купил себе самую лучшую форму, / А теперь эта задница еще и задается... (нем.).

23

Мы хотим заявить Богу на небесах, / Хайа хохо! / Что мы собираемся убивать попов, / Хайа хохо! / Вали на штурм! / Воин за воином! / Пустим красного петуха под монастырские крыши! (нем.)

24

Дерьмо (нем).

25

По случаю (лат.).